



Детские
радости
и горести

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ



издательство
МАМАТОВ®

Санкт-Петербург
2019

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2=411.2)6
Ч65

*Партнер проекта – АО НПП «Салют-27»
Генеральный директор А. А. Быкадоров*

Составители:
М. В. Михайлова, А. В. Назарова

Чириков, Е. Н.
Ч65 Детские радости и горести: рассказы и сказки / Евгений Чириков;
сост. Михайлова М. В., Назарова А. В. – СПб.: Маматов, 2019. – 400 с.

ISBN 978-5-91076-200-2

© Михайлова М. В., Назарова А. В., вступление
© Чириков Е. Н., текст, 2019
© ООО «Маматов», оформление, 2019



Евгений Николаевич Чириков

Евгений Чириков — поэт страны детства

Произведения для детей составляют значительную часть наследия замечательного русского писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864—1932), творчество которого сравнительно недавно стало возвращаться к отечественному читателю после долгих десятилетий забвения.

Уже самое первое произведение молодого автора, с которым он вступил в литературу, было посвящено судьбе ребёнка: героем рассказа «Рыжий» (1886) стал никому не нужный мальчуган, чья трагическая судьба (он замерзает на улице) никого не оставила равнодушным. Потом этот мотив в усложнённом виде писатель повторил в рассказе «Бродячий мальчик», ставшем поистине эпопеей жизни всех заброшенных детей. Чириков быстро заслужил в писательских кругах репутацию знатока детской души. Лучшие его рассказы о детях, несомненно, могут быть поставлены рядом с чеховскими «Ванькой Жуковым», «Степью», «Детворой», повестью В. Г. Короленко «В дурном обществе», рассказом Д. В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», произведениями о детях А. И. Куприна, И. С. Шмелёва и других русских писателей конца XIX — начала XX века. И это неудивительно. Многие в творчестве писателя питались детскими впечатлениями. Выросший в семье, где помимо него было ещё трое братьев и сестра, а позже ставший отцом двух сыновей и трёх дочерей, он, как никто другой, умел находить общий язык с ребёнком, знал и понимал причины детских радостей и слёз — то есть обладал теми подлинными интересом и сочувствием к маленькому человеку, без которых невозможно заслужить его внимание и доверие и которых так не хватает в современном мире. Чирикову же удалось сохранить эти качества на протяжении всей жизни, несмотря на многочисленные испытания, выпавшие на его долю. Он за политические убеждения подвергался преследованию со стороны царских, а затем и большевистских властей,



побывал на фронтах Балканской и Первой мировой войн, как и миллионы соотечественников, стал свидетелем небывалой по размаху жестокости Гражданской войны, был вынужден покинуть Россию в 1920 году, переживать все тяготы эмиграции. Не была благосклонна к нему критика, и коллеги по писательскому цеху оказывались не всегда справедливы. Но даже вдали от родины писатель продолжал создавать добрые и трогательные истории, которые будили детскую фантазию и в то же время неназойливо учили милосердию, состраданию, любви и человечности — именно тем чувствам, которые, как справедливо казалось Чирикову, были утрачены людьми в годы революционного лихолетья.

И сегодняшние дети, думается, нуждаются в подобных «уроках» ничуть не меньше, а, может быть, даже больше своих ровесников, живших в первой четверти XX столетия. Рождённые в век цифровых технологий и Интернета, они обладают возможностями, недоступными прошлым поколениям, но платой за это становятся такие «душевные недуги», как апатия и равнодушие, отсутствие любопытства и эмоциональная отчуждённость от мира и людей, что взрослыми зачастую принимается за эгоизм. Вот почему сегодня так нужны авторы, способные растрогать ребёнка, развить утраченную им чувствительность, заставить увидеть тех, кого надо поддержать. И Чирикову это оказывается под силу, несмотря на то что «возраст» его произведений насчитывает более ста лет. Писатель мастерски использует целый арсенал средств «воздействия» на детское воображение, будь то авантюрно-приключенческая или сказочная фабула, запоминающиеся, даже гротескные черты внешности и характера персонажей, динамичные и непредсказуемые повороты сюжета и многое другое, что мгновенно приковывает внимание ребёнка к развитию истории и рождает у него яркие и сильные переживания. Так происходит «приращение» эмоций, открываются «клапаны» души.

При этом проблемы, составляющие основу того или иного сюжета произведений писателя, близки и понятны юным читателям любой эпохи: отношения с родителями, конфликты со сверстниками, трудности роста, поиск своего места в окружающем мире и т. п. Выбор между добром и злом, искушением и долгом — всегда в центре повествования. А победа над собственными слабостями, готовность к самопожертвованию в безвыходных ситуациях — нравственный итог и пример отзывчивости и чуткости



к судьбе любого живого существа (неважно, человека или представителя «братьев наших меньших»). Подобная модель поведения не востребована и даже порицается сегодня, поскольку противоречит повсеместно тиражируемому образу успешного человека, презирающего слабость, думающего исключительно о личной выгоде и удовольствиях. А достижение оных неизбежно ведёт к компромиссам и требует притворства.

Чуждость и враждебность рассудочного и прагматичного мира взрослых миру детства, полному искренности и непосредственности, — один из постоянных мотивов в творчестве Чирикова. В одной из его пьес сказочный персонаж произносит: «Люди в очках и с книгами... Они прогнали нас с родины... Это чародеи, перед которыми пропадают все тайны гор, лесов и морей...» «Люди в очках и с книгами» — это лишённые душевной теплоты и способности к выдумке взрослые, а подлинные чародеи — дети, сохраняющие наивное, неиспорченное восприятие всех явлений окружающего мира в их первозданной прелести, живущие по волшебным законам истины. Поэтому, например, для взрослых Хаврюша в одноимённом рассказе — это просто поросёнок, которого следует зажарить, чтобы насладиться вкусной и сытной едой. А для маленьких героев рассказа он существо со своими интересами, пристрастиями, привычками, с забавным хвостиком-закорючкой и носиком-пяточком. И спасение Хаврюши от кухаркиного ножа вырастает в целую героическую эпопею освобождения и защиты беспомощного, страдающего, слабого. В ход идут все средства — лесть, увещевание, беззлобный обман, молитва. Но всё оказывается тщетно. И вот на столе дымится жаркое из поросёнка с гречневой кашей, а в душе у мальчиков поселяется пустота и отчаяние. Так взрослые, сами того, возможно, не подозревая, своими требованиями «разумного» поведения и наказанием за непослушание нарушают изначальное нравственное равновесие детской души, лишают ребёнка веры в справедливость, согласно которой и поросёнок обладает «душой», и о нём можно тосковать и печалиться. Такие крамольные с точки зрения ортодоксальной христианской религии рассуждения о «душе» животного часто встречаются в детских рассказах Чирикова, убежденного христианина. Столкновение детского незамутнённого сознания и логически выверенного расчёта взрослых создаёт драматическое напряжение в рассказе «Лошадка», где главный приз рождественской ёлки — железная



дорога — в обход всяких правил достаётся краснощёкому самоуверенному мальчику, очевидно, отпрыску какого-то важного лица, а сынишка акцизного чиновника должен довольствоваться палкой с головой лошади и колёсиком вместо хвоста. И эта убогая игрушка, призванная заменить живую лошадь, становится символом бездушия, царящего в мире, в который суждено вступить ребёнку.

Не менее часто в произведениях Чирикова роль нравственного ориентира наравне с детьми играют животные. История «Моей жизни» имеет неожиданное начало: «Отца своего я не помню, но отлично помню мать. Она была рослая и красивая блондинка с карими глазами...» Может показаться, что речь далее пойдёт о внебрачном ребёнке или малыше, потерявшем отца. И только когда читатель узнаёт, что у красавицы-матери — пушистый хвост и ошейник, то понимает, что историю своей жизни рассказывает щенок, который вскоре превратится в охотничью собаку с прекрасным нюхом по кличке Верный. Этот пёс вполне оправдывает своё имя, одарив преданной дружбой кухарку Прасковью и её сына Ваню, став товарищем по играм господских детей Мити и Кати, выполняя охотничьи задания своего владельца, их старшего брата Миши. Он будет последним утешением для умирающего на цепи старого пса Руслана и приятелем живущего в сарае поросёнка. Но такая преданность, верность, высокая, подлинная, как это ни странно прозвучит по отношению к собаке, человечность никак не вознаграждаются: потерявшего после болезни обоняние Верного, по сути, выбрасывают на улицу. И ему не остаётся ничего другого, как искать новых хозяев, которых он, к счастью, находит. Верному доступны те чувства, что испокон веков считались исключительно достоянием людей: доверчивость, восхищение красотой мира, способность к любви, благородство, постоянство. Но людьми-то они почти утрачены, ведь от пса отказывается не только охотник Миша, для которого он потерял ценность, стал совершенно бесполезен, но и Катя, и Митя. Лишь Прасковья испытывает к нему жалость, однако она и сама пришлось в итоге не ко двору и вынуждена искать новое пристанище. И подобные несправедливость и бесправное положение героев не могут не возмутить читателя, не вызвать в его душе протеста, который, в свою очередь, заставляет его задуматься о собственном сходстве с избалованными и безответственными «господами» и своей вине перед теми, кого



он хотя бы раз, мимоходом, «использовал» и обидел. Так исподволь наивные и простые, на первый взгляд, детские произведения Чирикова формируют крепкий нравственный стержень, который поможет в будущем не сломаться и остаться хорошим человеком в бурном море житейских проблем.

В предлагаемой читателям книге «Детские радости и горести» собраны наиболее яркие и интересные тексты писателя для детей, ряд из которых публикуется в России впервые. Книга имеет четыре раздела, в каждом из которых собраны тексты, объединённые общей тематикой. Первый раздел «Сказочное путешествие» включает увлекательную повесть «В царстве сказок», написанную Чириковым специально для сыновей, сказку «Мильда и Зойла», пьесу «Лесные тайны», которая так и просится на сцену, и рассказ «Зимняя сказка». Читатель начинает постигать законы детства как самого таинственного и заповедного места на свете. Второй раздел посвящён животным. «Белая роза» представляет собой переделку сказки О. Уайльда на русский лад, в «Моей жизни», «Храброе воробье» и «Хаврюше» звери действуют наравне с людьми и наделяются замечательными душевными качествами. Третья часть озаглавлена «Детские радости» и содержит произведения, повествующие о безмятежной и счастливой поре детства, о тех играх, шалостях и забавах, которые являются его неизменными спутниками. Повесть «На пороге жизни», рассказы «Единица», «Предатель», «Лошадка», «Рыжий», «Коля и Колька» и стихотворный рассказ «Про Олю и Колю» помещены в раздел «Детские слёзы». Они рисуют соприкосновение детей с жестоким миром взрослых, обрекающих ребёнка на незащитность и одиночество, и в то же время показывают его тонкое нравственное чутьё, любовь ко всему живому и готовность к сопротивлению.

Издание представляет собой уникальное сочетание книги и мультимедийного проекта. В конце книги расположены несколько QR-кодов, позволяющих читателям с помощью мобильных устройств получить информацию о произведениях, а также услышать их в исполнении правнука писателя Михаила Александровича Чирикова.

Мария Михайлова, Анастасия Назарова

I
Сказочное
путешествие





В ЦАРСТВЕ СКАЗОК

Приключения маленького путешественника

*Милым деткам, Жене и
Гоге, эту книгу посвящает*

Папа

Побег из родного дома

Няня часто рассказывала нам сказки про Некоторое Царство, Некоторое Государство, и всегда в этом Царстве-Государстве происходило много чудесного, непонятного, удивительного. Всё в этом Царстве-Государстве было необыкновенное: цветы, деревья, люди, звери, река и озёра. Но всего более меня интересовали ведьмы, колдуны, добрые и злые волшебницы, лешие и разная нечистая сила, о которых много рассказывалось в каждой няниной сказке.

Однажды я спросил няню:

— Скажи мне, няня, где находится это удивительное Царство-Государство?

Няня ответила мне:

— Далеко. Очень далеко.

— А можно до него дойти?

— Можно, только надо очень долго идти.

— Сколько дней?

— Много лет, а не дней.

— Кто-нибудь был там?

— Многие пошли туда, но никто не вернулся назад.

— Почему?

— Не знаю. Верно, не дошли и умерли в дороге.

Няня вздохнула и опустила голову, а я стал думать о том, как хорошо было бы побывать в волшебном Царстве-Государстве, потом вернуться назад и всем рассказать, что там делается.



— Вот если бы ты, няня, согласилась идти со мной! — сказал я, заглядывая в доброе лицо няни.

— Я не дойду, потому что старая, а ты не дойдёшь, потому что ты — малый...

— Я дойду — давай спорить! — сказал я няне, но она покачала головой и ответила:

— Сперва спроси у матери, пустит ли ещё тебя она!

— Можно без спроса... Я маленький — мне жить ещё долго: сходил бы и вернулся...

— Если бы и вернулся, то разве только стареньким старичком, — улыбнувшись, сказала няня.

— А в какую сторону надо идти?

— В ту, где садится солнце... Иногда после заката солнца бывает видно это Царство-Государство. Не всё видно, а только краешек... А вот есть за морем высокая-превысокая гора, так с той горы один раз в год всё Царство-Государство можно увидеть...

Однажды под вечер я залез на подволоку нашей дачи, оттуда вылез на крышу и стал ждать, когда закатится солнце, чтобы хорошенько заметить то место и потом смотреть в ту сторону, где находится чудесное Царство-Государство. С крыши было видно очень далеко. Сперва тянулись засеянные поля, словно разрезанные на длинные разноцветные полосы, потом зеленели сочной травой луга, и среди них серебряной лентой извивалась наша река Черемшанка, а потом опять поднимались поля с хлебом, и на горизонте слева синел лес, а справа выглядывала мельница. Мельница махала крыльями, и казалось, будто это не мельница, а какая-то громадная птица хочет улететь и не может... Между лесом и мельницей была зелёная ложбина, которая уходила далеко-далеко, и синий туман соединял её с голубым небом.

Вот как раз в этом месте и опускалось солнце. До заката оставалось недолго. Солнце делалось всё больше и краснее и всё ниже припадало к земле. Вот уже осталась только половина солнца. Синий туман в ложбине стал смешиваться с розовым, и засверкали на синем небе крылья мельницы... А потом солнце стало прятаться быстрее и вдруг пропало, точно провалилось под землю.

Я уселся поудобнее на крыше, упёрся ногой в щель, чтобы не скатиться, и начал неотступно смотреть, что делается в том месте, где опустилось солнце. Ведь там находилось чудесное Царство-Государство!..

Вот если бы добрая Волшебница сделала так, чтобы я увидал хоть маленький уголок Некоторого Царства-Государства!..



— Милая Волшебница! Сделай так, чтобы я увидал! — шептал я, придерживаясь за трубу, и старался не мигать, чтобы не пропустить момента, когда появится чудесное видение. И там, где спряталось солнышко, стало делаться что-то особенное... Вот появилось длинное розовое озеро с белоснежными лебедями, потом поднялись перламутровые горы с золотыми вершинами, на горах появились зеленоватая стена и синий замок с серебряной крышей; за замком встал густой фиолетовый лес, кудрявый такой и немного пасмурный; лес уходил прямо в тучи, а в тучах были настежь открыты весёлые, радостные такие ворота в небеса...

Вздрыгнуло от радости моё сердце, и я чуть-чуть не скатился с крыши. Хорошо, что моя рубашка зацепилась за гвоздь, а то я упал бы и разбился. Может быть, это добрая Волшебница зацепила мою рубашку за гвоздь?..

«Благодарю тебя, милая Волшебница!» — подумал я и начал снова ползти по крыше, чтобы ухватиться за трубу. Но тут случилась беда: из трубы пошёл вдруг густой дым, и ветер погнал его прямо мне в лицо. Я перебрался на другую сторону трубы, но и ветер стал дуть в другую...

«Должно быть, злая Волшебница не хочет, чтобы я видел Некоторое Царство-Государство. Верно, она сама толкнула меня с крыши!..» — подумал я и уже боялся смотреть в ту сторону, где появилось чудесное видение...

— Не буду смотреть, не буду... — ворчал я и стал по лестнице слезать с крыши. И опять чуть было не сорвался. Слава Богу, что вовремя ухватился за дождевую трубу. Но когда я слез и почувствовал себя в безопасности, я не удержался и посмотрел. Всё уже пропало. Осталась только длинная пунцовая дорога, которая идёт с конца земли в Некоторое Царство-Государство...

— Чего смотришь? — спросила няня, и когда я ей объяснил, почему смотрю, она сказала: — Не увидишь. Ночь вылезает из того места, куда упало солнышко, и закрывает от людей синим покрывалом волшебное царство!..

— А я всё-таки успел увидеть! Честное слово, няня, я видел кусочек Некоторого Царства-Государства!..

— Врёшь всё...

— Ей-богу, видел!..

За ужином я рассказал про это всем: и маме с папой, и Володе, и кухарке, но никто мне не верил... Володя сказал, что никакого такого Царства-Государства нет на свете, папа не хотел слушать, а мама сказала:



— Будет врать! Ешь кашу!..

Не хотелось мне есть кашу. Размазывал я ложкой кашу по тарелке, а сам думал про перламутровые горы с золотыми вершинами и про розовое озеро с белыми лебедями, про синий замок и пасмурный лес, про радостные ворота в небеса... Попробовал я вырезать в размазанной по тарелке каше такие ворота и сделать горы, но увидела это мама, рассердилась, схватила меня за руку и сдёрнула со стула.

— Всё озорничаешь! Пошёл спать!..

Мама шлёпнула меня не больно, но я заплакал, потому что было очень обидно. Я поссорился с мамой, назвал её драчуньей, а она меня — скверным мальчишкой...

— Не прощайся со мной, не хочу с тобой прощаться! — сказала мама.

— И не надо! Я убегу от вас в Некоторое Царство-Государство. Не хочу с тобой, драчуньей, жить... Лучше буду жить с доброй Волшебницей...

Так и ушёл я спать с обидой в душе и долго плакал в подушку.

Пришла няня, стала ласкать меня и уговаривать не плакать.

— О чём ревёшь, и сам не знаешь! — говорила няня.

— Нет, знаю... Мама бьёт меня, и пусть! Я убегу от вас и никогда не вернусь... И даже стариком не вернусь, а останусь в Некотором Царстве-Государстве... А добрая Волшебница будет моей мамой...

— Вон ведь какой ты сердитый, — сказала няня, погладила меня по спинке и спросила: — А кто же будет у тебя отцом? Леший, что ли?

— И пусть — Леший!.. Бывают и Лешие добрые...

Няня долго что-то шептала, и я заснул под её шёпот крепким сном.

Ночью я проснулся и сейчас же вспомнил, что поссорился с мамой. А как вспомнил, так уже не мог больше заснуть. Опять мне сделалось обидно и хотелось досадить чем-нибудь маме... «Вот возьму и убегу в Некоторое Царство-Государство!» — думал я, лёжа с открытыми глазами... Потом я вспомнил про розовое озеро с белыми лебедями, про белоснежные горы с золотыми вершинами и спустил с кровати ноги. Подойдя к окну, я приподнял занавеску и посмотрел. Ночь была лунная и такая светлая, что на клумбе под окном можно было рассмотреть каждый цветок... С синих небес смотрели на меня звёзды, от деревьев падали на траву тени, в траве валялось забытое Володино ружьё...



Вот и отлично: возьму ружьё и пойду в ту сторону, где спряталось солнце!..

Потихоньку я оделся, только башмаки взял в руки, чтобы не топтать ногами и не разбудить кого-нибудь. Отыскал свою шапочку, помолился Богу на икону и пошёл. Проходя мимо маминой спальни, я постоял у двери и послушал. Жалко мне стало маму. Может быть, и ей жалко меня и она плачет о том, что обидела меня? Нет, не плачет, а храпит себе... Ну и пусть себе храпит, потом раскается...

Осторожно, чтобы не скрипнула, отворил я дверь на террасу и вышел. Обошёл кругом дома, поднял Володино ружьё — пистолеты были у меня в кармане, — повесил ружьё за спину, как делают охотники, и взглянул на мамино окошко. Окошко было занавешено и как-то сердито смотрело на меня холодными стёклами.

— Прощай, драчунья! Больше никогда не увидимся! — тихо проговорил я и пошёл прочь.

Когда я прошёл поле, луга, перебрался по узеньким мосточкам через речку и вышел на гору к мельнице, я ещё раз оглянулся. Из сада, окружавшего дачу, выглядывала только крыша с трубой, за которую я держался, глядя на Некоторое Царство-Государство; капнули у меня из глаз две слезинки, и, махнув рукой, я отвернулся к мельнице...

«Пусть добрая Волшебница будет теперь моей мамой!» — подумал я.

Старый Колдун

Уже раньше, когда я не думал ещё о бегстве из дому, деревенские мальчишки говорили мне, что на ветряной мельнице живёт старик — Колдун. Не верил я деревенским ребятам, а теперь немного боялся. А вдруг правда, что мельник — Колдун?.. Днём не верилось, а вот теперь ночью, когда я приблизился к мельнице и заглянул в маленькое окошечко, — я начал сомневаться. Мельница не работала, и кругом неё было тихо. Вдруг залаяла маленькая чёрненькая собачонка, которая выползла из-под запертых широких дверей мельницы. Я сбросил с плеч ружьё и приготовился к обороне. Заскрипела вдруг сбоку мельницы маленькая дверка, и из неё вынырнул высокий-превысокий старик с большой бородой, весь белый от муки, которой он был обсыпан.



— Кто тут ночью бродит? — спросил сердитый голос.

— Это я! — испуганно ответил я, оглядывая страшную фигуру громадного старика.

— Что тебе надо? Кто ты такой?

— Прохожий. А вы — мельник? — спросил я, чтобы не так было страшно.

Старик не ответил. Луна обливала его серебристым блеском; глаза у него были чёрные, а борода и голова совсем белые, словно были сделаны из серебряной ваты. Я вспомнил «ёлочного деда» — у них такие же бороды — и стал ещё больше верить, что это не простой старик.

— А зачем тебе ружьё?

— На всякий случай...

— Может быть, ты — маленький разбойник?..

— Нет, ей-богу, не разбойник, я — дачник!..

— Куда же ты идёшь один в полночь?

— Я убежал из дому... Поссорился с мамой и убежал.

— Вон что! Иди-ка, брат, ко мне, а завтра я тебя отведу домой...

Я понял хитрость старого Колдуна и хотел убежать. Но было поздно: Колдун уже схватил меня за руку и потащил в своё жилище. Конечно, я заплакал и стал просить, чтобы он отпустил меня домой, но Колдун не слушал. Пихнул ногой маленькую дверку и строго сказал:

— Полезай!

Нечего было делать — я послушался и шагнул в какую-то тёмную дыру. Старик нагнулся очень низко и тоже влез за мной. И тут я убедился, что попал действительно к Колдуну, потому что в такой маленькой избушке с такой крошечной дверкой и с крошечным окошечком не мог бы жить такой огромный старик, если бы он не был Колдуном.

— Ложись!..

— Зачем?

— Спи, а то побью!..

Я лёг на покрытые мукой кульки и притих, а Колдун присел к огромному пню, который служил ему столом, и начал что-то делать. Не было видно, что он там делает, но было слышно, как он брякнул чем-то железным.

— А ты что там делаешь? — спросил я, дрожа от страха.

— Топор уронил.

— А зачем тебе топор?

— Спи! Завтра скажу...

Вспомнил я про сестрицу Алёнушку и про братца Иванушку, которые попали к Бабе-яге, вспомнил, как точили ножи булатные, чтобы Иванушку зарезать, и потихоньку заплакал. Громко заплакать я боялся: услышит Колдун и стукнет топором по голове. Прижался я в самый угол. Мучная пыль лезла мне в рот и в нос, пахло мукой и мышами. Кругом было темно, только в крохотном окошечке синел кусочек неба со звёздочкой... Притих я, а Колдун всё ворочался, вздыхал и бормотал какие-то странные слова... И вдруг — какой ужас!.. — вижу, что один пустой куль из-под муки поднимается, встаёт и идёт к Колдуну.

— Колдун! Спишь? — спрашивает Куль.

— Ась? Кто это? — тихо спросил старик.

— Ведьма из-под колеса!..

— А-а! Милости просим!

И они начали потихоньку шептаться между собой. О чём они говорят? Я стал прислушиваться. Ведьма звала Колдуна к Лешему в гости. Колдун пошептал ей что-то и показал рукой в тот угол, где лежал я. Со страху я поджал ноги, спрятал голову под кулёк и начал просить в мыслях добрую Волшебницу спасти меня от смерти. И вдруг с шумом раскрылась маленькая дверка, и вся в лунном свете появилась похожая на белого ангела добрая Волшебница... Колдун захрапел, притворился спящим, а Ведьма моментально превратилась опять в пустой кулёк из-под муки. Тихо вошла добрая Волшебница в маленькую избушку, и в ней стало вдруг светло, словно много-много свечей зажгли чьи-то невидимые руки...

Ласково улыбнулась мне синеглазая Волшебница и молча протянула свою красивую, точно из мрамора сделанную, руку. Я поднялся на ноги, отряхнулся от мучной пыли и подал ей руку. Когда мы выходили из маленькой двери, я посмотрел на лежавшего Колдуна: один глаз у него был крепко закрыт, а другой со злобою смотрел в нашу сторону.

— Садись ко мне на спину! — ласково сказала добрая Волшебница и помогла мне устроиться на её спине. Ногами я обвил её стан, а руками обнял мягкую тёплую шею.

— Тебе будет тяжело! — сказал я.

— Держись крепче! — сказала добрая Волшебница и вдруг побежала по лужку всё быстрее и быстрее. Серебристая пелена, перекинутая через её плечи, стала развеиваться от ветра, быстрые ноги Волшебницы едва касались земли, золотистые волосы рассыпались по плечам и щекотали мне лицо. Мне было и страшно, и приятно, дух



замирал у меня, как это бывает, когда очень высоко качаешься на качелях... Я оглянулся назад и обмер от ужаса: крыша ветряной мельницы отделилась от неё и, махая своими крыльями, летела следом за нами. А на крыше сидел, держась за шпиль, Колдун рядом с кулём из-под муки... Я закричал от ужаса и крепко сжал ноги и руки.

— Колдун летит за нами! — шепнул я в розовое ушко Волшебницы.

— Держись крепче! — крикнула она, и вдруг серебристое покрывало, трепавшееся за её плечами, превратилось в крылья, которые начали рассекать воздух с такой силой, что с каждым взмахом слышался резкий свист... Под руками я почувствовал вдруг мягкие перья и только теперь увидел, что лечу на дивном белом лебеде...

— Гоу-гоу! — кричал белый лебедь с синими глазами и всё дальше улетал от махавшей крыльями крыши мельницы... От встречного ветра у меня свалилась шапка; я посмотрел вниз, как она падала, и сердце у меня сжалось от страха, а голова стала кружиться... Я закрыл глаза и прижался к мягким белым перьям лебеда...

— Гоу-гоу! — жалобно звучал крик его в небесах и отдавался в молчаливых лесах на земле...

Волшебный лес

Должно быть, я заснул на мягкой спине летящего лебеда, потому что не помню, когда и куда улетел он. Раскрыв глаза, я увидел хмурые корявые ветки огромных сосен, через которые синели маленькие кусочки неба. Должно быть, было уже утро, потому что кое-где на бледно-зелёном мягком мху золотились солнечные пятна... Присев и оглядевшись вокруг, я убедился, что лежу в каком-то необыкновенном лесу: деревья такие высокие, что не видно вершин их, а стволы у них такие толстые, что пять человек, схватившись за руки, не могли бы обнять одного, самого тоненького из деревьев. И мох был необыкновенный: местами розовый, местами бледно-зелёный, а местами золотистый. И такой пышный, что на него можно было с разбегу падать, как в мягкую пуховую постель. Были сосны с жёлтыми стволами и янтарной смолой, были старые дуплистые берёзы, ветви которых, как зелёная бахрома, опускались почти до земли, образуя просторные шатры, были и такие деревья, которых я никогда до сей поры не видал: в два ствола, похожих на огромные вверх поднятые человеческие ноги, или в один толстый ствол,

разделяющийся вверху на два более тонких, похожие на человека с поднятыми к небу руками.

Тихо пошёл я в глубь леса, пугливо озираясь по сторонам. Неожиданно под самыми ногами у меня захлопала крыльями какая-то птица и полетела прочь с пронзительным криком.

— Ой-ой! — закричала эта птица и скрылась в чаще переплетающихся ветвей.

Я успел заметить, что ножки у ней были золотые, шейка пунцовая, крылья прозрачные, как у коромысла, а головка совсем круглая с причёской, какую делает себе мама... И тут я догадался, что попал в Некоторое Царство-Государство, о котором так много рассказывала нам старая няня.

Я так взволновался от этого, что вдруг почувствовал голод и вспомнил, что не пил утром чаю. «Верно, теперь наши сидят на террасе и пьют чай с хлебом и маслом!» — подумал я и загрустил, потому что соскучился по маме, папе, по Володе, по террасе, по своей кроватке... Присел я под огромным деревом и заплакал... Опустил голову и вижу сквозь слёзы, что под большим зелёным листом прячется преогромная красная ягода. Я радостно улыбнулся и протянул руку... Вот так ягода! Величиной с грецкий орех! Сорвал, понюхал: земляника! Никогда не видел такой земляники... Откусил и засмеялся: так вкусно и приятно сделалось во рту. Вытер рукавом глаза и нос и стал ползать на коленях по мху и траве, отыскивая дивную землянику. Вот если бы набрать такой земляники и принести домой маме! Все удивились бы и похвалили... Земляники было не особенно много, но зато каждая ягода равнялась целой горсти наших. Одна попалась величиной с куриное яйцо... Выскочил из кустов какой-то зверь. Сперва я думал, что это телёнок, но по ушам и прыжкам его догадался, что это заяц. Такой большой, а трус, как и наши зайцы!.. Захлопал я в ладоши и закричал: «Держи его!» — и со всех сторон ответило мне: «Держи его!», деревья зашумели листьями, словно рассердились, полетели в разные стороны диковинные птицы, наполнив весь лес своими криками, и вдруг потемнело вокруг. Постоял я тихо на месте, потом взглянул вперёд и вижу, что идёт большой Белый гриб в коричневой шляпе и машет саблей, сделанной из острой осоки, и сердитым старческим голосом кричит:

— К оружию!

И вот прятавшиеся прежде в траве и мху грибы забежали во все стороны в лесу; на бугорках и на муравейниках под соснами



появлялись грибы Красноголовики, сидящие верхом на зелёных лягушках, и трубили в соломинки с вставленными в концы их венчиками-гвоздиками. Там и сям появлялись под начальством разноцветных Мухоморов марширующие куда-то тонкие Опёнки. Где-то заиграли марш комары-музыканты и послышались воинственные клики, какие я слышал иногда на городской площади, — когда там солдаты встречали генерала.

Это было такое удивительное зрелище, что я стоял как вкопанный около дерева, похожего на человека с поднятыми вверх ногами, и с жадным любопытством смотрел на происходящее, не подозревая никакой опасности. Прямо передо мною тянулась и пропадала меж деревьев узенькая укатанная дорожка, и вот со всех сторон на неё выходили полки грибов, пешие и конные, — на лягушках. Впереди шёл огромный Белый гриб в коричневой шляпе и в мундире, сшитом из прошлогодних листьев, с саблей из осоки. Рой комаров кружился впереди войска.

— Смирно! — скомандовал Белый гриб, и все разноцветные Мухоморы повторили эту команду. Потом Белый гриб махнул саблей, комары заиграли марш, и всё войско двинулось под музыку по дорожке прямо на меня.

Случайно оглянувшись, я увидел, что и сзади на меня наступает несметная грибная сила... Не успел я обдумать, как мне поступить, как со всех сторон закричали грибы «ура!» и бросились на меня... Сперва мне было это только забавно. Я уничтожал неприятелей целыми десятками, притоптывая обеими ногами, но, к моему ужасу, количество грибной армии не уменьшалось, а увеличивалось: со всех сторон подходили новые грибные полки и смело шли мне под ноги. Скоро у меня под ногами образовалось месиво из раздавленных грибов, и ноги стали скользить, как по льду, а главное — они заметно уставали, и меня тянуло сесть.

— Уже устаёт! — закричали со всех сторон, и кто-то из грибных генералов, проскакав на зелёной лягушке, скомандовал:

— Огонь из всех орудий!

Грибы-артиллеристы хватали высохшие Дождевики и, хлопая ими, бросали в меня со всех сторон... Скоро весь воздух около меня наполнился похожей на жёлтый дым пылью лопающихся Дождевиков; эта пыль лезла мне в горло, в нос и в глаза. Я начал чихать, из глаз потекли слёзы, начал одолевать кашель. А ноги так устали, что отказывались работать... Целые миллионы крупных, как чёрные

пуговицы, муравьёв подходили грибам на помощь, а длинные тощие и голодные комары-музыканты, трубя победу, ринулись на меня в атаку... Ах, как я жалел теперь, что второпях оставил своё ружьё у Колдуна на мельнице!

Дело принимало скверный оборот. Теперь я уже сознавал всю опасность своего положения: ноги скользили, разъезжались в стороны, и я каждый момент мог упасть; муравьи окружали снизу, комары — сверху. Бежать было опасно, потому что легко было поскользнуться и упасть. А этого только и добивался бесчисленный неприятель, потому что как только я свалился бы наземь, грибы тысячами полезли бы мне в рот, нос и всё лицо, пыля вонючей пылью Дождевиков, а муравьи с комарами стали бы наносить мне тысячи ран по всему телу, пока я не потерял бы сознания и не был бы на смерть замучен соединёнными силами неприятеля.

— Сдаюсь!.. — закричал я и, привязав на палку носовой платок, замахал белым флагом.

— Ложись! — потребовали сотни вражеских голосов, и лягушки затрещали в барабаны.

Но я понял коварство неприятеля и не лёг. Напротив, мне сейчас же пришла мысль подняться вверх, а не опуститься вниз. Быстро обернувшись к дереву, я ухватился за сучок и начал карабкаться по стволу. Много смельчаков из муравьиной армии и из отряда комаров-музыкантов ринулось следом за мной, но я чувствовал, что теперь не погибну, и эта надежда увеличила мои ослабшие силы. Я с ловкостью кошки карабкался всё выше и выше, пока не достиг вершины одного из стволов... Отсюда я уже спокойно взглянул вниз и мог видеть ту суматоху, которая поднялась среди обманутого неприятеля. Доползающих до меня муравьёв я сбрасывал щелчками вниз, а самоотверженных комаров давил без всякой жалости прямо на своё лицо...

Вплоть до ночи отсиживался я на дереве, похожем на поставленного вверх ногами человека, и, обламывая сухие ветки, бросал ими в отступающего в страшном беспорядке неприятеля. Скоро вокруг всё стихло. Только сторожевые огоньки из ивановых червячков указывали на местоположение неприятельских войск...

— Что же делать? Милая, добрая Волшебница! Помоги мне!.. — шептал я.

И вдруг тёмный страшный лес огласился грустным звонким криком лебедя:

— Гоу-гоу!..



Зашумели над моей головою сильные крылья, и белый лебедь опустился на траву около того самого дерева, на котором я отсиживался. Но когда я опустил радостный взор на землю, там вместо лебедя стояла знакомая, похожая на белого ангела девушка, моя добрая и милая Волшебница. Как только в лесу прозвучал крик лебедя, все сторожевые огни неприятеля сразу потухли...

— Бедный мальчик! Где ты? — раздался нежный голос озирающейся вокруг Белой девушки.

— Я здесь! — радостно закричал я и начал торопливо спускаться по стволу дерева на землю.

Ещё обламывая сухие ветки, чтобы кидать их в неприятеля, я слышал какие-то слабые стоны, но, занятый своим спасением, не обратил на эти стоны никакого внимания. Теперь, слезая второпях, я обломал живую ветку и ясно расслышал, как простонало моё дерево, и почувствовал на своей руке тёплую клейкую влагу. При свете, который исходил из белых одежд доброй Волшебницы, я увидел на своей руке кровь... Сперва я думал, что я поранил себе руку до крови, но потом убедился, что кровь текла из обломанной мною ветки... Я весь задрожал от испуга и изумления и, спрыгнув раньше времени на землю, подбежал и прижался к Белой девушке...

— Не бойся, милый мальчик! Теперь я не дам тебя в обиду! — сказала она, глядя меня по голове и ласково заглядывая в мои глаза.

Я молча показал ей на дерево и сказал:

— Из него течёт кровь!.. Оно стонет...

Добрая Волшебница приблизилась к этому дереву, поцеловала его и сказала:

— Встань, бедный Великан, на ноги!..

И совершилось такое, чему, конечно, никто не поверит. И я не поверил бы, если бы не видал этого своими глазами. Дерево, похожее на перевёрнутого вверх ногами человека, стало тихо опускать свои похожие на ноги стволы; когда обе вершины стволов, перегнувшись, коснулись земли, вдруг вырвался из земли общий ствол с мохнатым корнем, и пред нами предстал Великан с всколоченной, давно не чесанной головою, стоявший на двух широко расставленных ногах. Великан ещё напоминал немного дерево, потому что вместо одежды его покрывала древесная кора, а вместо двух рук были две толстые ветки. Но вот Белая девушка дотронулась до этих ветвей, и они быстро превратились в руки.

С радостным смехом, гулко разносившимся по молчаливому лесу, Великан сдирал с себя древесную кору, и там, где отрывалась кора, показывалось голое тело... Когда Великан сделался совершенно человеком, он упал на колени перед доброй Белой девушкой и поцеловал ей ногу. А потом он со смехом посмотрел на меня и сказал:

— Шалун! Погляди, что ты сделал с моей рукой!

Я взглянул и увидел, что на левой руке Великана не хватает одного пальца и алая кровь струится из того места, где он должен был расти.

— Я тебя не трогал! — испуганно оправдывался я, опустив глаза в землю.

— Никогда не ломай у деревьев свежих веток! Ты сломал мне палец!.. А впрочем, тебе было не до меня, и поэтому я тебя прощаю...

Добрый Великан

Береги его! — сказала Белая девушка, упала на траву, пока- тилась и, обратившись в белого лебедя, громко взметнула крыльями и скрылась из виду. Только долго ещё с высоты падал на землю и носился по лесу грустный крик лебедя: — Го-у! Го-у!..

Проходила ночь — красным светом выходящего солнца озарились вершины деревьев.

Оставшись с глазу на глаз с Великаном, я так оробел, что начал плакать и кричать:

— Ма-а-ма!

Великан был страшный. Всё тело его обросло зелёными волосами, и только на груди и лице оставались чистенькие местечки, да на локтях и коленках волосы обтёрлись и вылезли. Кое-где в волосах ещё болтались куски древесной коры, а на спине ещё сохранились небольшие обломанные ветки с листочками. Особенно страшна была голова Великана: волосы на ней ещё перемешивались с длинными древесными корнями, и от этого голова была похожа на только что выдернутую из грядки огромную круглую редьку. Так как голова и плечи Великана были долго в земле, то кое-где на них остались мох, песок и гнилые листочки с ползающими на них червяками.

— Ма-а-ма! — кричал я.



Вдруг раздался такой гул в лесу, словно кто-то выстрелил из ружья, и множество листьев посыпалось со всех деревьев, а с некоторых упали на землю прятавшиеся в ветках птицы. Я упал в мох, словно меня сшиб с ног могучий порыв ветра, и не сразу понял, что случилось... Раздался вторично такой же гул, и тут я увидел, отчего этот гул происходит: это чихал Великан!..

— Будьте здоровы! — робко пискнул я, лёжа во мху.

— Спасибо! — сказал Великан, утирая приятные слёзы от чихания.

— Больше не будете чихать?..

— Прочихался, голубчик!.. Есть что-то хочется...

— Вы меня съедите?!

— Тебя?.. Я ведь не людоед, а такой же человек, как и ты, только очень большой!.. Не бойся! Первым делом давай выберем место для костра и испечём каштанов... Ты ведь, наверно, любишь каштаны?

— Очень! Я воевал с грибами, муравьями, лягушками и комарами и очень устал и проголодался...

— Вот и отлично!

Мы пошли отыскивать лужайку для костра. По дороге Великан остановился под огромным деревом, схватил его обеими руками за ствол и начал трясти. Каштаны величиной с хороший апельсин посыпались, как дождь с неба. Один попал мне в голову, и я вскрикнул от боли. На моей голове вскочила шишка не меньше самого каштана, что очень рассмешило Великана. Когда он смеялся, я чувствовал, как в моём животе всё трясётся... Словно я ехал в телеге по мёрзлым кочкам...

— Перестань смеяться! У меня начинает болеть живот! — попросил я Великана.

Начал я собирать по дороге обломки сухих веток для костра, но Великан улыбнулся и велел бросить это занятие. Попалась высохшая сосна, Великан подошёл, выдернул её и, взяв в руку, пошёл с ней, как с тросточкой. Нашли широкий лужок, весь усеянный пурпуровыми цветами, и здесь уселись на мягкой, словно бархатной, траве, залитой радостным солнцем. Солнце здесь казалось вдвое больше, и вдвое ярче светило оно, а поэтому и радость от солнечного света была вдвое сильнее той, которую мы обыкновенно испытываем... Мне хотелось прыгать, хохотать, кувыркаться, петь и кричать...

Великан взял сухую сосну и о колено наломал из неё дров. Потом взял два полена и так сильно ударил их друг о друга, что оба они

загорелись. Зажгли костёр. Напекли каштанов и плотно покушали. Великан съел не меньше сотни каштанов, а я съел три и был сыт по горло.

— Теперь я сосну, — сказал Великан, — а ты побегай и поиграй!

Сладко потянулся он и лёг на спину, опершись согнутой ногой в землю. Заснул Великан и начал храпеть... Боже мой, как он храпел! Помню, были мы в зверинце, и там я слышал, как рычит лев. Вот так же, если не сильнее, храпел спящий Великан. С ужасом и удивлением из кустов выглядывали голубые олени, белые как снег, зайцы с телёнка величиной, волки, равные по росту лошади, — и в испуге бежали прочь... С деревьев валились листья и еловые шишки, сотрясалась сама земля около нас, и в безумном испуге разлетались по лесу сороки с серебряными хвостами... Сперва было неприятно и хотелось уйти. Об этом я уже подумывал, но обилие всяких зверей в лесу останавливало меня от побега. С Великаном было спокойно. Добрая Волшебница велела ему беречь меня... Привык я к храпу Великана, только в ушах стоял звон, словно туда залезли надоедливые комары-музыканты. Я сидел, смотрел, как спит Великан и как при каждом дыхании у него высоко вздымается живот...

«Точно морская волна!..» — подумал я, и мне захотелось покачаться на животе у Великана.

Недолго думая, я вскарабкался по ноге на живот Великана, прилёг и начал приятно покачиваться. Было здесь мягко и тепло, потому что живот у Великана был мохнатый, и скоро я задремал. И приснился мне сон, будто бы я плыву один в лодке по морю, а на море начинается буря, и лодку высоко подбрасывает на сердитых зелёных волнах, похожих на бегущие друг за другом горы... Не знаю, долго ли я спал. Проснулся я от страшного толчка, и когда открыл глаза, то лежал в мягком мхе шагах в десяти от Великана... Великан кашлял. Очевидно, от этого кашля меня и сбросило с живота на землю.

Огромное солнце пылало на небе, и свет его был в лесу необыкновенный: проникая через вершины и сплётшиеся вверху ветки деревьев с разноцветными листьями, этот свет ложился на траву и мхи разноцветными пятнами: синими, как небо, красными, как малина, жёлтыми, как лимон... Местами эти пятна перемешивались друг с другом, и тогда казалось, что с неба упала на землю и разбилась на неровные куски яркая радуга.

Становилось жарко, хотелось пить.



— Пойдём к Розовому озеру! — сказал Великан, протирая глаза спросонья.

— Далеко оно, это озеро?

— Сто вёрст отсюда.

— Не скоро дойдём. А хочется очень пить...

— Через час дойдём! — сказал Великан и поднялся на ноги.

— Я могу пройти в час только три версты. А сто вёрст я даже не могу пройти в месяц!..

— Ты сядешь ко мне на плечо! Ну-ка! Иди скорей!

Я подошёл. Великан засунул мизинец мне за пояс и поднял меня.

— Держись за бороду! — сказал он и зашагал огромными шагами по лесу.

Я сидел на плече, словно на крыше нашей дачи, и держался за шею Великана, как держался когда-то за трубу. Приподняв правую руку, Великан обламывал мешавшие нам коряги и толстые ветки деревьев и швырял их в сторону. Позади нас оставалась дорога, похожая на просеку, какие делают в наших лесах. Шёл он так быстро, что в глазах рябило от бегущих мимо деревьев, лужков и оврагов. Словно я сидел не на плече, а в вагоне мчавшегося на всех парах поезда, и смотрел в окошко.

Раздавил Великан нечаянно зайца величиной с телёнка и наступил на гнездо какой-то птицы с тремя зелёными яйцами величиной с дыню... Только один раз до самого озера мы делали привал, и то потому лишь, что Великан занозил ногу. Присев, он вытащил из-под ногтя занозу, оказавшуюся еловой шишкой, и мы двинулись дальше. Чем больше мы углублялись в лес, тем выше и гуще становился он, и тем меньше было в нём свету. Несуразные ветви, как огромные извивающиеся змеи, сплетались друг с другом, разноцветные листья величиною в наш лопух совершенно закрывали небо, и в цветных сумерках мы пробирались под крышей листвы, как по крытым цветными стёклами коридорам...

Много чудесного встречалось нам по дороге, но за быстротой движения трудно было разглядеть что-нибудь. Только один раз, когда дорога пошла в гору и Великан замедлил шаги, — я успел увидеть две диковины. Четыре зелёных лягушки величиной с добрую кошку, выпучив жёлтые глаза, танцевали около болота кадрили в то время, как старички белые грибы в больших коричневых шляпах, опираясь на палочки, стояли толпой и с улыбкой смотрели на лягушачий танец. Это — одна диковинка, а другая ещё интереснее. Она меня заставила хохотать до слёз. Старый хромой чёрт

и старушка-чертовка сидели на кочке и с любовью смотрели, как их дети, шестеро маленьких бойких чертенят, играли в чехарду... Старый чёрт был с клюкой, с жёлтой сединой на голове и плечах, а старушка-чертовка — в белом чепчике, подвязанном под острым подбородком тесёмочками, и в круглых очках из слюды вместо стёкол. Старый чёрт, положив себе на колени облезший уже хвост своей жены, искал в нём блох, а та беспокоилась за детей и хрипло кричала:

— Берегите хвосты! Бесхвостый чёрт — неприличная вещь!

А чертенята, визжа и кувыркаясь, высоко подпрыгивали и скакали друг через друга, причём тот, через которого прыгали, старался схватить прыгающего за хвост...

Как только чёртово семейство заметило нас, тотчас же каждый член семейства высоко подпрыгнул, ударился об землю и пропал. Только один скверно пахнувший дымок взвивался тонкими струйками с того места, где падали черти...

Да, забыл ещё одну диковину! Одно время около нас вились бабочки величиной с большой поднос каждая. Брюшко у них было белое, мохнатое и блестящее, словно сделанное из шёлкового плюша, крылья, как фигурные окна с разноцветными стёклышками, а усики похожи на выкрашенные в синий цвет руки молодой девушки.

Этими усиками они распоряжались, как люди — руками. А глаза у них были карие с чёрными бровями и с веками, окаймлёнными чёрными ресницами, и они моргали глазами и щурились, разглядывая нас с Великаном. Прощаясь с нами, они посылали нам своими усиками воздушные поцелуи и махали крылышками, как цветными платками.

— Не наткнуться бы нам на злую Волшебницу! — проговорил Великан, остановился и огляделся вокруг.

— Разве ты её боишься? — спросил я не без удивления.

— А то как же?..

— А ещё Великан! Разве злая Волшебница ещё больше тебя?

— Она маленькая, не выше тебя, только злобы в ней столько, что её хватило бы на всех великанов! Мы с ней поссорились из-за её дочки. Злая Волшебница хотела, чтобы я женился на её дочке и сделался злым Великаном, а я не пожелал, потому что имею от природы доброе сердце...

— Ну!

— Озлобилась злая Волшебница и поступила со мной, как со многими другими. Схватила, перевернула меня вверх ногами

и воткнула головой в землю. И превратился я в дерево, и рос в земле сто лет...

— Сто лет! Сколько же тебе теперь лет?

— Воткнула в землю меня она ещё мальчиком: мне было всего пятьдесят лет... Ну, а теперь...

Я быстро сложил в уме сто с пятьюдесятью и сказал:

— Теперь, значит, тебе полтораста лет?

— Верно...

Постояли и пошли в сторону. Всё темнее становилось в лесу, и всё труднее было пробираться через гущу ветвей и кустарников. Несколько раз мы застревали в колючем шиповнике, иглы которого были похожи на настоящие стальные иголки. Исцарапал Великан руки и ноги, сел и печально сказал:

— Запутались мы, голубчик... Не миновать теперь нам злой Волшебницы.

Вздригнуло у меня сердце, и стал я просить Великана вернуться назад.

— Теперь уже нельзя. В этом лесу можно ходить только вперёд, пока не побываешь в царстве доброй Волшебницы и не искупаешься в Розовом озере...

Снял меня с плеча и загрузил. Вздохнул и потихоньку, отвернувшись в сторону, заплакал, как маленький мальчик. Не хотелось мне конфузить бедного Великана, и я сделал вид, что не вижу его слёз. А он плакал. Слышно было, как падали из его глаз слёзы величиной с лесной орех на сухие листья и как потом зажурчал ручеёк слёз, пробираясь меж корнями деревьев под горку... Целое болото слёз наплакал Великан. Чтобы не промочить ноги и потом не ходить в мокрых чулках и башмаках, я разулся и встал на упавшее дерево... Уже в разные стороны текли ручьи слёз из болота, и весь лес наполнился приятным журчанием... Попробовал я пойти назад — ноги сами поворачиваются носками вперёд, хочу шагнуть назад — шагаю вперёд... Точно кто-то поворачивает меня сильной невидимой рукою.

— Вот видишь! — плаксиво сказал Великан и начал хныкать и сопеть носом.

Совсем стемнело. Постояв ещё немного, Великан опять пошёл вперёд...

— А я? А меня?! — закричал я, вприпрыжку помчавшись за удаляющимся Великаном. Но Великан не обернулся, он только махнул рукой и скоро пропал в тёмной чаще страшного леса...

У злой Волшебницы

Невозможно описать то отчаяние, которое овладело мной, когда Великан пропал из виду... Кругом было темно, как в закрытой печке, под ногами хлюпало болото из великановых слёз. Назад идти было нельзя, а вперёд... Но где тут вперёд?.. Ничего не поймёшь. Перекрестившись, я пошёл как попало и шёл ощупью, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь...

Вспомнились танцующие лягушки и играющие в чехарду чертенята, и насколько это показалось днём смешным, теперь одно воспоминание об этом приводило меня в трепет. Раза два-три я крикнул:
— Великан!

Встрепенулся уснувший лес от моих криков, и подозрительно зашептались вокруг меня хмурые деревья. Где-то зловеющий филин заплакал, как маленький ребёнок, и чьи-то огненно-синие глаза блеснули в дрожащей листве кустарника. Лучше уж не кричать, а идти как можно тише, не привлекая внимания зверей, чудовищ и всякой погани, которой, как рассказывала няня, битком набито всё царство злой Волшебницы.

Доберусь ли я когда-нибудь до Розового озера светлой доброй девушки, которая уже два раза выручала меня из беды? Едва ли. Только чудо могло спасти меня от гибели. Из рассказов няни я знал, что Некоторое Царство-Государство принадлежит двум сёстрам-волшебницам, злой и доброй, которые хотя и родные сёстры, но живут как кошка с собакой — ненавидят друг друга и стараются мешать друг другу: злая доброй — делать добро, а добрая злой — делать зло. Владения сестёр-волшебниц разделяются рекой Ненависти, в которой вода так черна, что ею можно писать, как чернилами. Таким образом, я знал только одно: чтобы попасть к Розовому озеру, надо отыскать чёрную реку Ненависти и переправиться на другой берег. Больше я ничего не знал... Но как отыскать чёрную реку Ненависти? А потом вот ещё одна беда: вблизи этой реки стоит избушка, в которой живёт злая Волшебница... Можно, отыскивая чёрную реку, наткнуться на эту избушку и попасть в руки злой Волшебницы... О, я отдал бы половину жизни, даже три четверти жизни, если бы кто-нибудь помог мне вернуться домой! Давно уже перестал я сердиться на маму и теперь думал как о великом счастье посидеть около неё и поцеловать её пальчики... Ведь по правде-то говоря, едва ли есть на свете человек добрее мамы!.. Должно быть, в моё сердце каким-нибудь неведомым путём попала капелька воды из чёрной реки



Ненависти, и потому я рассердился на милую мамочку за то, что она шлёпнула меня и притом совсем не больно, а я обругал её драчуньей и решил убежать из дому...

Так я думал, пробираясь неизвестно куда... Какой это ужас — идти неизвестно куда!.. До сих пор я всегда знал, куда я иду, а теперь не знал этого. Может быть, с каждым шагом я приближался к своей смерти... Неужели я никогда не увижу больше мамы, папы и Володи? Хоть бы старичком вернуться домой и посмотреть на мамочку!.. Не узнает она меня старичком, потому что и сама она, если не умрёт к тому времени, сделается глухой и слепой старухой, как наша бабушка...

Господи! Куда я зашёл?.. Шиповник рвал своими колючками мою одежду и царапал руки и ноги. С трудом пряча своё лицо, пробирался я через густой кустарник, когда вдруг впереди приветливо мигнул огонёк...

Только заблудившийся путник поймёт ту радость, которая охватывает человека, когда глубокой ночью среди мрака и отчаяния вдруг мигнёт впереди приветливый огонёк!..

Сперва я так обрадовался, что потихоньку засмеялся, но потом я вспомнил, что иногда над болотами вспыхивают блуждающие огоньки, и радость сразу пропала. Если и этот огонёк блуждающий, то вместо жилья я попаду в болото и увязну там...

Но что же делать? Будь что будет! Надо идти... Может быть, впереди я найду жилище людей, а может быть, погибну...

Отдохнув немного, я с новой силой пошёл вперёд по направлению приветливого огонька и спустя полчаса стоял около маленького домика с одним окошечком, в котором светился огонёк... Кто бы мог там жить, в этом крохотном домике? Неужели в нём-то и живёт злая Волшебница?.. Не может быть. Если Волшебницы могут совершать всякие невероятные вещи, то им ничего не стоит устроить себе великолепный замок!.. Бабы-яги действительно живут в плохоньких избушках на куриных ножках, но ведь Баба-яга совсем другое дело... Чтобы не сделать ошибки, я подошёл и осторожно заглянул в окошечко...

В углу за столиком сидела красивая молодая девушка и пряла пряжу. Глаза у неё были заплаканы, а личико печальное-препечальное... Чёрный кот тёрся около неё на лавке и, казалось, хотел утешить её в горе. Никого больше в домике не было...

Может ли быть, чтобы злая Волшебница была такая молоденькая и красивая?.. Никогда!

Я стукнул в светлое окошечко. Девушка вздрогнула, торопливо вытерла фартуком слёзы и выглянула:

- Ты, мать? – спросила она.
- Нет. Это – я!.. Заблудившийся прохожий!
- Что тебе надо?
- Я заблудился и прошу позволения переночевать у вас...
- Матери нет дома...
- Вы дочь лесника?
- Нет...

Девушка смутилась. Почувствовал и я себя немного неловко. Чтобы не было неловкого молчания, я спросил:

- Не проходил здесь Великан? Мой друг Великан?
- А как его зовут?
- Великаном Великановичем!

Девушка покраснела, заторопилась и пригласила меня войти в комнату. Когда я вошёл, она стала расспрашивать меня, где я встретился с Великаном Великановичем и давно ли с ним вожу дружбу. Как только я рассказал ей о превращении Великана в дерево и из дерева снова в Великана, девушка стала торопить меня:

- Уходи, милый мальчик, поскорее и подальше!.. И если снова встретишься со своим другом, скажи ему, что я по-прежнему люблю его и готова убежать от злой матери в царство доброй Волшебницы.
- Я так устал, что не могу идти...
- Но скоро вернётся моя мать, и тогда...

В этот момент под окном послышались чьи-то голоса. Я посмотрел в окно и отшатнулся от ужаса: маленькая старушка с злобным морщинистым личиком ростом не больше меня говорила со старой Чертовкой в белом чепчике, с той самой Чертовкой, которую я видел и про которую уже рассказывал. И тут я понял, что попал прямо в руки к злой Волшебнице.

- Вы дочь злой Волшебницы? – спросил я шёпотом девушку. Она молча кивнула мне головой и шепнула на ухо:
- Но я хочу быть доброй!

С этими словами она надела мне на голову конфорку от самовара.

- Подбодришься! – шепнула она.

Я повиновался: упёрся руками в бока, как делают, когда танцуют казачка.

Девушка схватила меня за приподнятые локти и поставила на стол...



Вы уже, конечно, догадались, что я превратился в самовар... Стою на столе, говорить не могу, но всё вижу, слышу и понимаю. Я даже чувствую, как горят во мне угли, как идёт из меня пар и как льётся из меня горячая вода...

— Ах, доченька! Умница! Догадалась, что мы чайку хотим!

Это говорила вошедшая в комнату злая Волшебница, вместе с которой вошла и старая Чертовка. Девушка приготовила посуду и села разливать чай. Не успели они присесть, как кто-то постучал в окошко палкой. Посмотрела в окно злая Волшебница и улыбнулась, разинув свой рот с гнилыми зубами.

— Заходите! — сказала она кому-то в окошко.

— Кто там? — спросила старая Чертовка.

— Леший с женой... — ответила злая Волшебница и пошла встречать новых гостей.

— Не люблю я этого грубого мужика Лешего! — сказала старая Чертовка, когда хозяйка вышла в сени. — Свистит и хохочет в лесу, как дурак!

Но тут вошёл Леший с Бабой-ягой, и старая Чертовка, привстав, сделала им поклон с реверансом. Лешего и Бабу-ягу я сразу узнал: Ягу по костяной ноге, а Лешего по лаптям на ногах и поясу из лычка... Леший был похож на самого обыкновенного мужика, и только когда он хохотал, становилось ясно, что это Леший, а Баба-яга была так омерзительна, что трудно придумать безобразнее этой старухи. Впрочем, всякий видал на картинках и Лешего, и Бабу-ягу, так что я не буду описывать их в подробностях.

Долго они цедили из меня воду, а когда выпили всю, меня подогрели и опять поставили на стол. Потом злая Волшебница вынула из печки большую плошку с жареным мясом и сказала:

— Закусите-ка молоденькой человечинкой!..

Я взглянул в плошку и сейчас же отвернулся краном в другую сторону: из плошки торчала полуобгоревшая ручка маленького ребёночка. Гости жеманились и отказывались. По их словам выходило так, что все они только что пообедали.

— Сегодня у нас были жареные лягушки с кашей, и мы так наелись, что и смотреть не хочется! — хвасталась старая Чертовка.

— А вы? — обратилась хозяйка к Лешему и Бабе-яге...

— Много благодарим! — сказал Леший. — Мы только что от обеда: я съел полпуда картошки и высосал трёх коров в стаде...

— Пожалуй, я ручку или ножку съем!.. — заметила Баба-яга, искося взглянув на плошку, и подобрала языком слюни с отвислой губы.

Я не видал, как она ела, но отлично слышал, как похрустывали у неё на зубах косточки: точь-в-точь, как хрустели косточки от телятины на зубах у нашей цепной собаки...

— Сегодня мы наткнулись на большую неприятность, — заговорила старая Чертовка.

Когда хозяйка спросила, какая неприятность, старая Чертовка рассказала о встрече в лесу с Великаном и с маленьким мальчиком...

— Если бы не дети, я поймала бы мальчишку: в нём было больше пуда хорошего мяса!..

Речь шла обо мне, и потому, хотя я и был теперь самоваром, я всё-таки вздрогнул и с меня слетела и покатила на пол конфорка... Гости подозрительно переглянулись между собой, но девушка меня выручила:

— Это я нечаянно толкнула самовар локтем...

И все засмеялись...

Потом начали говорить про Великана. Злая Волшебница подробно расспрашивала, какой он из себя, откуда мы шли и куда направлялись...

— Это уже, наверно, моя сестрица устроила, потому что я всех Великанов воткнула в землю, кого головой, а кого ногами... Надо обойти лес... — злобно говорила Волшебница, а её дочка вздохнула и опустила голову. Ничего интересного больше не было. Гости говорили о всяких пустяках, как и наши гости, и под их разговор я начал жалобно гудеть своей трубой...

— Погас... — тихо сказала дочка и унесла меня в сени. — Стой здесь! Когда все уйдут, а моя мать уснёт, я провожу тебя до чёрной речки! — шепнула она мне в трубу и ушла в комнату...

Скоро гости разошлись, и в комнате стихло. Долго я ждал, когда наконец отворится дверь и подойдёт ко мне моя избавительница. Время шло, а я стоял в углу самоваром. Пропел первый петух, потом второй, и когда пропел третий, тихо скрипнула дверь и слышались осторожные шаги. Подошла дочка злой Волшебницы, взяла меня за ручки и вынесла на двор; потом она вытряхнула из меня золу и угли, вылила оставшуюся воду и поставила на землю. Вынув из кармана баночку с какой-то мазью, она стала натирать меня этой мазью, потом обернулась к лесу, пошептала и плюнула — и я снова превратился в мальчика. Второпях девушка позабыла помазать чудесной мазью конфорку, и поэтому у меня на шее остался медный с дырочками воротничок, словно у собаки ошейник...

Заметив свою ошибку, девушка всплеснула руками. Больше не было у неё мази, и нельзя было избавить меня от этого ошейника. Да и время было дорого: чёрную речку Ненависти можно было переходить только до восхода солнца, до восхода же оставалось не более часа.

— Прости меня!.. Теперь уже всю жизнь тебе придётся ходить с медным обручем на шее. Когда придёшь к моей тёте, доброй Волшебнице, попроси её помочь этой беде, если она может. А теперь надо торопиться. Давай руку!

Я хотел подать ей левую руку, но она не двигалась. Пощупал я её правой рукой и понял, что вместо руки у меня осталась самоварная ручка. Я чуть было не заплакал. Если когда-нибудь я вернусь домой с медным ошейником и с самоварной ручкой на боку, надо мной будут смеяться все люди... Но закричал вдруг под крышей домика филин, и девушка, схватив меня за уцелевшую руку, повлекла за собою... Когда избушка осталась далеко позади, девушка остановилась и сказала:

— Тебе будет очень страшно, поэтому я завяжу тебе платком глаза... По пути нам встретятся семь Страхов, и ты можешь умереть от испуга...

Я согласился, дал завязать глаза, и мы, взявшись за руки, быстро пошли куда-то...

— Нехорошо, что у тебя болтается и бренчит самоварная ручка... Надо привязать её, чтобы не стучала...

Привязали ручку и опять пошли. Когда мы проходили мимо Страхов, я, ничего не видя, семь раз тряся, как в лихорадке, и с каждым разом всё сильнее. Девушка крепко сжимала мне руку и тихо шептала:

— Страх-Страх! Пропусти слепого!..

Проходя мимо последнего, седьмого Страх, я потерял сознание, а когда очнулся, мы стояли на берегу чёрной реки Ненависти, по обоим берегам которой наклонились к воде ядовитые деревья...

Переправа через реку Ненависти

Со страшным шумом скатывалась река Ненависти с неведомой горы и злобно бурлила чёрной водою, прыгая со скалы на скалу и вздымая чёрную водяную пыль на высоту не менее десяти сажен. Оба берега отвесно опускались к воде, и потому река имела вид чёрной клокочущей

бездны. Большие звёзды, отражаясь в воде, прыгали синими огнями в этой страшной бездне, а ядовитые деревья с живыми извиляющимися змеями вместо ветвей всё время были в движении, и потому казалось, что по обоим берегам сверкающей синими огнями чёрной бешеной реки стоят не деревья, а чудовища, похожие на морских осьминогов, старающиеся схватить кого-то своими щупальцами.

— Не приближайся к деревьям! — сказала девушка, отстраняя меня дальше от берега. — Деревья подхватят тебя и швырнут в реку... Опасен также сок, каплями разбрасываемый похожими на змей ветвями деревьев: от одной капельки, попавшей на человека, он сгорает от ненависти ко всему миру или задыхается от злобы!

— Но как же мы переправимся на другую сторону? — со страхом спросил я девушку.

— Надо отыскать живущую здесь около чёрной реки Ненависть и, обманув её, получить пропуск через узенький мостик, охраняемый Человеком без сердца... Когда кто-нибудь пробирается по этому мостику без пропуска от Ненависти, Человек без сердца с хохотом сталкивает идущего в реку.

— Но как же мы обманем Ненависть?

— Об этом надо подумать. Садись рядом со мной на этот зелёный камень!

Мы сели рядышком на большой зелёный камень и опустили головы. Над нами кружились огромные чёрные совы и летучие мыши и, рассаживаясь на соседних камнях, с любопытством смотрели в нашу сторону. Несколько чёрных кошек, изгибая спины и медленно ворочая хвостами, крадучись ходили кругом нас и сверкали жёлтыми глазами...

— Почему всё здесь чёрное? — робко спросил я у девушки, но она так задумалась, что не слышала моего вопроса. А чёрная река клочотала своими водопадами и подбрасывала миллионы брызг на огромную высоту.

— Слушай, милый мальчик! Я придумала, — сказала наконец девушка и тронула меня за плечо.

— Говори!

— Скажи, что ты ненавидишь добрую Волшебницу и хочешь напоить её чёрной водой из реки Ненависти. Если Ненависть спросит, почему ты ненавидишь её, — ты солги так: скажи, что у тебя папа ненавидит маму, а мама — папу и что поэтому ты родился с желанием всем и всегда делать одно только зло. Если ты будешь

лгать и не покраснеешь, Ненависть поверит и даст тебе пропуск на ту сторону...

— Я боюсь, что покраснею... — сказал я и уже покраснел при одной мысли, что я так подло оболгу папу и мамочку.

— Тогда вот что: положи себе в карман вот этот зуб. Он выпал у одного из семи Страхов. Как только ты дотронешься до этого зуба, так сейчас же тобой овладеет Страх, и ты поблднеешь. Теперь иди вдоль берега и не обращай внимания на чёрных сов, летучих мышей и кошек. Не забывай ещё, что нельзя приближаться к прибрежным деревьям. Недалеко отсюда ты найдёшь жилище Ненависти.

— А ты со мной разве не пойдёшь?

— Нет. Это погубит нас обоих. Ненависть знает, что когда я полюбила доброго Великана, то потеряла прежнюю злость.

— Один я боюсь... — сказал я, ощупывая в кармане данный мне девушкой зуб.

— Помни только всё, что я тебе говорила, и не бойся. Должно быть, ты сейчас трогаешь зуб Страху? До поры до времени не трогай его, а сделай это лишь тогда, когда почувствуешь, что краснеешь от стыда!.. Иди, иначе скоро взойдёт солнце, и тогда уйдёт Ненависть в ту страну, где наступает ночь... А если не получишь от Ненависти пропуска, ты не перейдёшь реки и попадёшься в руки моей матери... Прощай! Мне надо торопиться, чтобы не хватилась мать и не примчалась в погоню...

Девушка кивнула мне головой и пошла прочь. Взлетели все чёрные совы и чёрные летучие мыши и стали кружиться надо мною. И пока я шёл, они не отставали от меня и, свистя крыльями, падали стремглав вниз с явным намерением сесть мне на голову...

Не прошло получаса, как я увидел перед собою в тёмной скале чёрную дверь. Жёлтый змеиный глаз был вделан в эту дверь и чуть-чуть светился жёлтым блеском, озирая окрестности. Когда он встретил мой взгляд, то закрылся, и со скрипом отворилась тяжёлая дверь на ржавых петлях. С трепетом я вошёл в жилище Ненависти. Два жёлтых змеиных глаза были вставлены в стоявшие на столе подсвечники и едва-едва окрашивали чёрный мрак слабым желтоватым отблеском. При этом желтоватом мерцании я с трудом различил тёмный силуэт худой женщины с горящими в глубоких впадинах глазами. По этим глазам я сейчас же почувствовал, что это и есть Ненависть, потому что эти глаза горели ненасытной злобою. Ненависть ела змеиное мясо и, заметив меня, отвернулась. И потом она ни разу

не взглянула мне в глаза и всё время косилась и скрипела острыми зубами.

— Что тебе надо? По глупости или обдуманно ты забрёл в моё жилище, и как тебя пропустили ядовитые деревья? — прошипела Ненависть.

— Обдуманно. Я так зол, что, если бы мог, растерзал бы самого себя!.. — сказал я, низко кланяясь Ненависти.

Ненависть усмехнулась от радости и спросила:

— Почему же ты носишь в себе так много похвальной злобы?

Я вспомнил, как научила меня ответить на этот вопрос девушка, и не успел ещё обогатить папу с мамой, как Ненависть крикнула:

— Ты, кажется, врёшь, потому что краснеешь? Ну-ка, поди сюда, поближе к свету, я посмотрю на твои щёки!

Я нащупал в кармане зуб Страху и побледнел, как белая бумага.

— Я не вру... Посмотри, если не веришь...

Ненависть приблизила ко мне своё лицо, и от её дыхания я стал сильно злиться. Злым голосом я обогал папу с мамой, и Ненависть, погладив меня по голове своей костлявой рукою, спросила:

— Что же ты от меня хочешь? Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя научила, как сделать, чтобы у твоей матери лопнуло сердце от радости?

— Нет. Я хочу, чтобы не было на свете добра, а потому хочу напоить добрую Волшебницу чёрной водой из твоей прекрасной реки... Но я не знаю, как мне пробраться на другой берег, и пришёл просить твоего разрешения пройти через узенький мостик...

— Отлично. Я тебе дам пропуск и пузырёк с чёрной водой. Притворишься добрым и постарайся обмануть мою сестру, которая портит мне жизнь своим добром...

С этими словами Ненависть встала, порылась в темноте и подала мне две вещи: пузырёк, завернутый в чёрную бумагу, и чёрное колечко с змеиным глазом.

— Теперь иди!.. Если напоишь мою сестру чёрной водою, то вернись назад. Я тебя поцелую, и тогда ты будешь самым злым мальчиком на земле...

— А как же я найду мост через чёрную реку?

— Сова! Проводи этого мальчика к мосту!

Я вышел из мрачного подземелья, и, захлопав крыльями, чёрная сова села ко мне на плечо. Когда я шёл не туда, куда надо, сова слетала с моего плеча и садилась на землю, указывая мне направление, а когда я шёл верно, она снова садилась на моё плечо...

Должно быть, близко мост, потому что сова визгливо закричала и полетела к берегу реки. Так и есть. Приблизившись к берегу, я увидел узенький мостик, на большой высоте перекинутый через kloкочущую и брызгающую бездну. Сова, радостно крикнув три раза, полетела назад, а передо мною появился Человек в чёрной маске. Молча протянул он руку и, когда я положил в неё кольцо с руки Ненависти, пропустил меня на мост и скрылся.

Тихо, шаг за шагом ступал я по узенькому мосту и, чувствуя под собой kloкочущую водопадами и водоворотами чёрную реку, замирал от ужаса и закрывал глаза, придерживаясь за перила. Мостик качался, и казалось, что вот-вот он треснет и обрушится, унося меня с собою в чёрную реку Ненависти.

Ветер покачивал мост; внизу под мостом прыгали в чёрной кипящей воде отражённые огни звёзд; чёрные кошки злобно мяукали, сидя на перилах моста... Где-то кричал зловеющий филин...

Я испытывал такой ужас, что мои ноги дрожали и подгибались в коленях; сердце стучало так сильно, словно кто-то сидел у меня за пазухой и постукивал мягким молоточком; глаза закрывались, чтобы не смотреть под ноги. Как только я подходил к одной из рассевавшихся на перилах кошек, она перед самым моим носом подпрыгивала и кувырком летела в бездну... Я слышал, как у меня на голове шевелились и вставали дыбом волосы и как дрожали все пальцы на руках... Медленно продвигался я по мосту, то и дело приостанавливаясь, чтобы перевести дух, и мне казалось, что я никогда не перейду моста... Приходило в голову кинуться в бездну, чтобы погибнуть и не испытывать больше этого ужаса...

Когда мне оставалось пройти по мосту ещё несколько сажен, я собрал последние силы, набрал побольше воздуха в грудь и, закрыв глаза, побежал... Выскочив на другой берег, я упал в мягкую траву, засмеялся от радости и заснул крепким сном...

Ужасное пробуждение

Спал я долго и крепко. Во сне я видел, будто после долгого путешествия я наконец вернулся домой. Тихо вошёл на террасу, заглянул в окно и вижу: папа, мама, Володя и няня сидят в комнате с платочками в руках и все плачут. Я понял, что они плачут обо мне, и так жалко стало мне всех их, что я не вытерпел и закричал:

— Здравствуйте!..

Все посмотрели на окно, но не узнали, потому что я был грязный, ободраный и босой, похожий на маленького нищего. Встала няня, отворила дверь на террасу и подала мне ломоть чёрного хлеба.

— Прими, Христа ради! — сказала она и затворила дверь.

— Няня! — закричал я, и тут мама сразу узнала мой голос и кинулась на террасу.

— Милый! Ненаглядный! Родной мальчик! Бедненький сыночек! — закричала мама, схватила меня на руки и стала целовать и плакать.

Папа стоял в изумлении, а няня всплеснула руками и сказала:

— Что с вами, барыня? Это нищий!..

— Нет, не нищий! — закричал я. — Папочка! Я твой сын!.. Ей-богу!..

Но папа не верил. Он стоял и строго смотрел на меня. Потом сказал:

— Если ты наш сын, то скажи, как зовут твою маму?.. И как зовут тебя?

А я всё позабыл: не знаю, как зовут мамочку и как зовут меня самого. Стараюсь вспомнить, но не могу. Тогда будто бы мама сбросила меня с рук, вытолкнула за дверь и сказала:

— Негодный обманщик!

Я стоял на террасе, а мама у окна. Она грозила мне пальцем и кричала:

— Убирайся вон!..

Володя будто бы тоже не желал считать меня братом и, стоя у окна, показывал мне кулак. Наконец вышла няня и ткнула меня ногой с террасы.

И тут я проснулся весь в слезах и долго не мог перестать плакать.

Я всё ещё думал, что мой сон — правда, и теперь с изумлением озирался вокруг себя. А кругом было непонятно и удивительно: в то время как на этой стороне реки было светло, на другом берегу по-прежнему была ночь. Над рекой клубился зловещий жёлтый туман, и в этом тумане смутно рисовались силуэты страшных деревьев.

Значит, всё это был сон!..

Было жалко, что я не дома около милой мамочки и папочки, но зато было и приятно, что меня не выгоняли из дому, как чужую собаку.

Что-то мне нездоровилось: ноги и руки тряслись, не было силы встать и болела голова. Протёр я мокрые от слёз глаза и закашлял...

Закашлял и испугался этого кашля: будто бы кашляю не я, а кто-то другой. Зачесался подбородок, хотел я его почесать и почувствовал в руке волосы... Опустил вниз глаза, вижу — борода, длинная седая борода!.. Сперва я подумал, что это не моя борода, но, дёрнув за неё, убедился, что — моя. Смотрю на руки — они худые, с синими жилами и все в морщинах, как у нашего старого сторожа на даче... Встал, попробовал ходить: ноги трясутся, одна рука дрожит, а другая — самоварная ручка — бренчит. Увидел впереди маленькое озеро, пошёл к нему, чтобы напиться, наклонился над водой и отскочил: в тихой воде отражался не я, а дряхленький старичок, плешивый, — как дедушка, с длинной седой бородой и с какими-то желтоватыми, словно из пакли сделанными, усами...

— Это не я! — зашамкал я беззубым ртом и закашлял: — Кхе! Кхе! Кхе!..

Из камыша, которым заросло озеро на середине, выглянула красивая русалка с зелёными волосами, посмотрела на меня насмешливыми зелёными глазами и звонко расхохоталась.

— Я думала, что мальчик, — а это дряхлый старик! — звонко закричала она, хлестнула рыбьим хвостом по воде и исчезла. Только камыш шевелился в том месте, где она пропала...

— Чего же ты, дура, смеёшься? — раздался вдруг позади меня знакомый голос.

Я оглянулся и очень обрадовался: там стоял знакомый Великан и ласково улыбался мне.

— Здравствуй, друг! — сказал я. Но Великан меня не узнал.

— Старичок! Давай купаться! — весело сказал он и сбросил с себя оленью шкуру.

Я хотел сказать ему, что мы знакомы, но он уже прыгнул в воду и начал нырять и весело смеяться. «Чему он смеётся?» — подумал я, но скоро понял, увидев мелькнувший рыбий хвост, и догадался, что Великан ловит русалку. Русалка не поддавалась. Выглянув на одно мгновение из воды, она с звонким смехом сверкала на воде хвостом и пропадала, а Великан показывался из воды, отдувался и выжимал рукой свою мокрую голову, стараясь поскорей отдышаться и осмотреться вокруг себя. И вот, в то время как Великан нырнул, русалка плеснулась под самым берегом почти у моих ног и прыгнула в прибрежный камыш. Когда Великан выглянул из воды и стал озираться, я молча показал ему рукою на то место, где качался камыш. Тогда он осторожно подплыл к камышу и вдруг бросился в него и радостно закричал. Завизжала русалка. Потом Великан появился в камы-

ше и полез на берег. Перекинув хвост русалки за спину, он нёс её на плече, крепко держа за обе руки одной левой рукою... Захватив на берегу свою шкуру, Великан пошёл в гору и скоро исчез за деревьями. Я долго стоял, опершись на палочку подбородком, и думал, как всё это удивительно! Но вдруг я услышал детский плач: в камыше плакала маленькая русалочка...

— Старичок! Не видал ли, где моя мама? — утирая зелёные глазки маленьким кулачком, сквозь слёзы спросила меня русалочка.

Жалко мне было маленькую русалочку, и я обманул её:

— Она нырнула в другой конец озера! — сказал я и тихо побрёл прочь.

Я шёл, а позади меня долго ещё раздавался детский крик:

— Мама! Где ты?..

Лесное эхо спрашивало: «Где ты?» — и потом слышался детский плач. И тогда казалось, что в лесу плачет маленькая заблудившаяся девочка.

Опираясь на палку, я медленно поднимался в гору, но быстро уставал и останавливался... Куда девались мои прежние сила и ловкость? Давно ли я бегал целые дни без усталости и приходил домой, только чтобы наскоро пообедать и выпить чаю? А теперь еле иду, спотыкаюсь и охаю... Давно ли я звонко смеялся, кричал так, что было слышно за версту, хохотал до слёз и кувыркался на траве от веселья и радости вместе с нашей собакой Нормой?.. А теперь смотрю хмуро, голос у меня слабый, кашляю, иду, подпираясь палкой, и задыхаюсь, и всё хочется прилечь и поспать...

— Эх, старость — не радость! — сказал я, как, бывало, говорила няня, и, усевшись на пенёк, тихо заплакал... Я плакал, и у меня тряслась голова и побрякивала самоварная ручка. И мне было так грустно, что приходила мысль о смерти.

«Умру я здесь в чужом краю и буду валяться где-нибудь в траве, — думал я, — и не будет у меня могилки... Никто не придёт ко мне с цветами поплакать: ни папа, ни мама, ни Володя... Только звери и птицы будут собираться около меня, пока не останутся от меня одни сухие кости... А потом и кости — сгниют и рассыплются серой пылью...»

Вспомнился мне родной дом и, упав лицом в траву, я начал рыдать от отчаяния и тоски.

— Да не хочу же я быть стариком! Не хочу! — бессильно шамкал я беззубым ртом и вдруг испугался и перестал плакать: кто-то позади меня весело смеялся и говорил:



— Старик, а ревёшь, как маленький мальчишка!..

Я вытер нос, глаза и оглянулся: передо мной стоял маленький мужичок в сапогах и в синей рубашке, с русой бородкой и с усами и покачивал головой. Ростом он был вдвое ниже меня, имел приятное лицо и добродушно ухмылялся. «Должно быть, это — Мальчик-с-пальчик», — подумал я.

— Жена! — закричал мужичок. — Поди-ка погляди, какой тут огромный человек сидит!

Появилась такая же маленькая баба в красном платочке, подошла к мужу и тоже покачала головой.

— Смотри, это не здешний! — сказала она, разглядывая меня.

— Чей ты, старик? Чего это у тебя заместо руки-то?.. О чём плачешь?.. У нас здесь народ не плачет... Откуда ты явился?.. — спрашивали они.

— Я мальчик, а не старик... — начал я говорить, но они весело расхохотались, не дав мне закончить.

— Полоумный, должно быть... — сказала баба.

— Не полоумный, а умный! — сердито крикнул я и начал объяснять, как я, проходя через мост из страны Ненависти, поседел и обратился в старика от ужаса, который пережил... — А вы кто такие? — спросил я.

— Мы жители... — сказала баба. — Мелюзгой называемся...

— Из деревни Весёленькой, — добавил мужичок и спросил: — А куда же ты пробираешься?

— К Розовому озеру!

— Вон что!.. Не дойдёшь: далеко!

— Кабы ты помоложе был, а то ведь тебе не меньше ста лет... Где уж тебе пешком ходить, тебе пора на печку! — сказала баба, потрогала мою самоварную ручку и заметила: — Ну и рука!.. На гвоздь тебя можно вешать за эту ручку!

Поговорили ещё немного. Я хотел есть и спросил, нет ли у них хлеба. Они дали мне кусок розового хлеба и немного розового мёду.

Я помазал хлеб мёдом и начал есть. И так было вкусно есть, что я засмеялся.

— Словно маленький! — сказала баба и стала ещё намазывать мне хлеб мёдом.

— Старый — что малый! — сказал мужик.

Когда я поел и подкрепился силами, мужик с бабой предложили мне идти вместе:

— Тебе всё равно надо идти через деревню Весёленькую! Пойдём, веселее будет!

— Кхе! Кхе! Кхе!..

— Ну покашляй, мы повременим...

Когда я покашлял, мы двинулись на гору. Тяжело было мне, старому, идти в гору, и баба пожалела меня:

— Ну-ка я тебя подержу за ручку-то!

И, схватив меня за самоварную ручку, баба тянула меня в гору.

Гора поросла маленькими деревьями, и меж них пробиралась наезженная узенькая дорога. Кое-где деревья были с дуплами, а кое-где торчали пеньки и было видно, что лесок рубили.

— Такой молоденький лесок, а его рубят, — сказал я.

— Какой молоденький: это старый лес!

— Такой низенький?

— Как низенький?

Странный лес: сосны и берёзы не более сажени высоты, а похожи на наши старые-престарые деревья. Впрочем, когда я взглянул на своих спутников, то понял, что лес вполне подходил к их росту: Мелюзге этот лес, конечно, представлялся огромным, таким, какой у нас называется дремучим...

Когда мы взобрались на гору, лес стал редеть, и скоро мы вышли на зелёную полянку...

— А вот и наша деревня Весёленькая! — сказал мужичок и показал рукой влево. Я посмотрел туда и увидел весело блестящие на солнышке новенькие домики...

Деревня Весёленькая

Удивительная деревня! Только во сне могла бы присниться такая деревня... Домики её были сложены из чисто обструганных сосновых брёвнышек и напоминали раскладные избушки, какие дарят детям на ёлках... Все домики были крыты тёсом, имели по два окошечка, по крылечку и воротам, украшенным замысловатой резьбой... Смотрелись эти домики до того весело, что при взгляде на них хотелось радостно засмеяться... И все пахли смолой, янтарной смолой, которая маленькими жёлтенькими капельками сверкала там и сям на крышах... Вот из таких-то весёленьких домиков и состояла деревня Весёленькая... В ней было три длинных улицы и несколько проулков; позади избушек, около узенькой речки, которую Мелюзга называла рекой Радостной, стояли маленькие бани и тянулись огороды с капустой, морковью, репой и прочим... Всё здесь было

так же, как в наших деревнях, только всё в уменьшенном виде и всё очень новенькое и весёленькое. Мелюзга ходила по улицам с улыбающимися лицами; ребятишки, как куклы, одни сидели на лужке, другие играли в ямки, третьи скакали верхом на палочках... Кое-где на завалинках сидели старушки с грудными детьми, которые никогда здесь не плакали, а как только рождались, так сейчас же начинали смеяться. Никто здесь никогда не плакал и не горевал, и нельзя было увидеть в деревне ни одного печального лица...

— Зайдём в избу, поглядишь, как мы живём, — предложил мужичок.

Я согласился, и мы пошли вдоль улицы.

С удивлением я посматривал на эту улицу и сам начинал веселиться и улыбаться. В пыли под тенью сидели курицы, в траве под заборами спали свиньи, на лужке щипали траву белые лошадки... Если бы все они не шевелились, можно было бы подумать, что всё это не настоящее, а принесено из хорошего игрушечного магазина... Или было похоже на то, словно смотришь на обыкновенную деревню в бинокль не тем концом.

Скоро мои спутники повернули к своему дому, и мы поднялись на крылечко. Мне приходилось нагибаться в дверях, потому что я был почти вдвое выше Мелюзги, и это обстоятельство, конечно, успело обратить на себя внимание здешних жителей. Первыми заметили это игравшие на улице ребятишки.

— Ух, какой огромный старичище! — кричали они и сбегались со всех сторон, так что, когда мы вошли в домик, под его окнами уже толпилась масса детворы. Понемногу собирались к дому и взрослые, особенно бабёнки.

Меня, как гостя, посадили в передний угол. Встать во весь рост мне было нельзя, но сидеть было вполне возможно. Хозяйка, которую звали Смехуньей, хлопотала об угощении, а хозяин, которого звали Улыбой, занимал меня разговорами. За перегородкой висела люлька с ребёнком, и оттуда всё время нёсся детский смех, словно там щекотали живую куколку. Смехунья принесла розового творогу, розового молока с устоявшимися сливками, розовую булку...

— Что это всё розовое у вас? — спросил я хозяев.

Смехунья переглянулась с Улыбой, и оба начали весело хохотать.

— Всё-то вы смеётесь! — сказал я.

— Плакать мы не умеем, — ответил Улыба.

— А как же, когда кто-нибудь у вас умрёт, — тоже не плачете?

— Зачем? У нас умирают весело: посмеётся старичок с вечера, ляжет спать, заснёт крепко и не проснётся.

— Не хвораете?

— Никогда...

Вдруг в избе раздался старческий смех. Я оглянулся и увидел свесившуюся с печки седую голову с бородой. Старик весело смотрел с печки и хохотал.

— Насмешил меня ты! — проговорил он. — Теперь долго буду смеяться, к утру, Бог даст, и помру!

Старик спрятался, но с печки всё время слышался его смех, то тихий, то погромче...

Пока я ел творог, сметану и пил сливки, Смехунья стояла с ребёнком на руках. Взглянул я на ребёнка и давай хохотать: точь-в-точь как голенькая гуттаперчевая куколка!.. А как только я стал хохотать, так и все другие стали смеяться. Услышали наш хохот стоявшие под окнами жители и тоже начали хохотать... Скоро вся деревня хохотала, и так было весело, что я не вытерпел, встал и давай плясать казачка... Куда делась моя старость!..

Смехунья смотрела-смотрела на меня, потом сунула ребёнка в руки Улыбе и присоединилась ко мне. Весело притопывала она каблучком, хлопала в ладоши и помахивала розовым платочком. Глядел-глядел на нас Улыба и тоже не выдержал и с ребёнком на руках пустился вприсядку.

— Не вырони ребёнка! — кричала Смехунья, притопывая ногою.

Быть может, я плясал бы очень долго, но пришлось остановиться: позабыв о своём росте, я сильно стукнулся головой о потолок, прошиб его и сильно ушибся... Сел я на полу и схватился рукой за голову.

— Смейся скорей! — закричала Смехунья.

— Смейся, старичок! — наклонившись надо мной, советовал Улыба.

Но смеяться я не мог: мне было не до смеху.

— А у нас, как кто ушибётся, так сейчас же давай смеяться! И всё проходит...

От боли я начал стонать, и на глазах у меня появились слёзы.

— Гляди-ка: из глаз-то у него вода течёт! — сказала Смехунья и начала приставать ко мне, чтобы я научил её плакать.

Мне было досадно, что мне больно, а всем смешно, и я рассердился. Но здесь, должно быть, не умели сердиться, и поэтому сердитый человек показался им ещё более смешным...

— Дураки! — обругал я их и отвернулся.

А они переглянулись и захохотали... Улыба принёс розового пива и начал угощать меня. Как только я хлебнул этого пива, так мне снова захотелось радоваться, боль прекратилась, и я сел на лавку и съел всё, что стояло на столе.

— Спать хочу, — заявил я хозяевам.

— Иди ко мне на печку! — позвал меня старичок.

Я полез на печку и лёг рядом с хихикающим старичком. А в избу всё приходили мужики и бабы и тихо спрашивали:

— Откуда у вас этот старичище?.. Где он?

— Напился, наелся и спит на печке! — шёпотом отвечала Смехунья.

И долго было слышно, как в избе хихикали и шептались весёлые жители...

Проснувшись, я толкнул локтем лежащего рядом старика и сказал:

— Будет спать!

Но старик не отвечал. Потрогал я его за руку — рука холодная. Посмотрел в лицо старику — улыбается, а сам мёртвый. Соскочил я с печки и кричу:

— Помер у вас дедушка-то!

Выглянула из-за перегородки Смехунья, улыбнулась и спросила:

— Что мало спал?

— Умер у вас дедушка-то! — повторил я.

— Ну так что за беда! Он помер, а ты спал бы себе...

— Рядом с мёртвым-то?

— А что за беда?..

— Разве вам его не жалко?

— А что его жалеть-то? Пока жил, было ему весело, а теперь уснул и помер и ничего не чувствует. Все умрём, а до смерти надо веселиться и радоваться, что живёшь на свете...

День клонился к вечеру. На улице было очень шумно: ребятишки звонко кричали, играя в лапту. Около избы сидели парни с девушками и играли в разные игры. Чуть не под каждой избой бречала балалайка. Пастух гнал стадо, и коровы с овцами сами бежали домой. По дороге золотилась поднятая стадом пыль, всюду слышалось мычанье и блеянье... Бабы, засучив рукава и подоткнув подола юбок, бежали доить коров.

Пришёл Улыба и спросил:

— Ну как спал-почивал?

— Хорошо... А теперь пора в путь-дорогу!.. — сказал я.

— Если хочешь, я тебя довезу до Сахарных гор... Сейчас поеду за сахаром...

— А по пути ли это мне будет?

— По пути. От Сахарных гор идёт прямая дорога к Розовому озеру...

Я страшно обрадовался и начал собираться в дорогу. Смехунья дала мне лыковый коробок и насовала в него всякой всячины: и хлеба, и мёду, и кувшинчик молока.

— Не поминай лихом! — сказала она и вышла провожать на крыльцо.

Около крыльца стояла маленькая белая лошадка, запряжённая в телегу. Улыба подложил под себя кафтан и взял в руки вожжи.

— Ну садись, старичок!

Я залез в телегу, и лошадка весело побежала вдоль улицы...

Мелюзга, толпившаяся на улице, махала нам шапками, платками и лентами, а ребяташки цеплялись за задки телеги.

— Куда, Улыба? — спрашивали мужики.

— За сахаром! — кричал он, подёргивая вожжами.

— Ну дай Бог!

Скоро телега выкатилась за околицу, простучала колёсами по мосту через реку Радостную и начала медленно подниматься в гору.

В реке с весёлым гамом купались ребяташки; завидя нас, они начали хвастаться ловкостью и показывать в воде разные фокусы: кто делал «берёзку», выставляя из воды свои ноги, кто нырял, как утка, с разбега кидаясь в речку вниз головой.

— Дяденька Улыба! Привези нам заливных орехов! — кричали девочки.

— Ладно! Привезу!..

Поднялись на гору и опять стали спускаться под горку. Деревня Весёленькая начала пропадать из виду. Вот в последний раз блеснула она своими новенькими, озарёнными вечерним солнцем крышами, и исчезла... Солнце садилось, заливая всё вокруг золотом и румянцем... А солнце здесь было так велико, что казалось, будто огромное Пурпуровое озеро стоит над сверкающими, как снег, горами...

— Это что же за горы так ярко блестят впереди? — спросил я.

— Это и есть Сахарные горы...

Чем ниже опускалось огромное солнце, тем великолепнее делались горы. Розовый свет перемешивался на этих горах с голубым сиянием, а вершины горели золотыми краями. И когда я начал

пристальнее всматриваться в эти Сахарные горы, я вспомнил, что видал их с крыши нашей дачи, когда наблюдал за закатом солнца...

Скоро мы въехали в облака, и твёрдый синеватый сахар застучал под копытами лошади...

На Сахарных горах

Всё круче поднималась дорога, и всё чаще белая лошадка приостанавливалась от усталости. Твёрдая вначале дорога местами делалась мягкой, потому что с утёсов сыпался на неё сахарный песок, в котором вязли и колёса, и ноги лошади... В облаках, плавающих в ущельях и повисших на утёсах, было трудно рассмотреть окрестности, но в тумане ярко рисовался контур высоких гор с золотистыми вершинами. Белые орлы парили в высоте над нами. Казалось, что мы всюду окружены снегом и льдами, так бел и чист был горный сахар. Но вот в тишине, обвевавшей горы, послышалось постукивание, словно каменчики обдeldывали мраморные глыбы. Долго не мог я понять, что это за звуки, но вот в тумане закопошились маленькие фигуры людей с лопатками и кирками в руках.

— Бог в помощь! — сказал Улыба и остановил лошадку.

— Спасибо! — ответило несколько голосов сразу.

Я спрыгнул с телеги и поклонился рудокопам.

Оказалось, что мы подъехали к шахте: целые груды залитых сахаром грецких орехов были сложены около маленького сахарного домика. Из отверстия шахты вереницей выходила обсыпанная сахарной пылью Мелюзга с такими же орехами. Под ногами хрустели сахарный песок и обломки заливных орехов.

— А это что за старичище? — спросил один из рудокопов, показывая на меня пальцем.

— Прохожий... — ответил Улыба.

— Странствующий?

— Странствующий... Идёт к Розовому озеру.

Рудокопы, опершись оземь лопатами и кирками, с любопытством рассматривали меня и спрашивали, из каких я краёв и чем занимаюсь. Я рассказал им в коротких словах свои приключения, и они удивлённо качали головами.

— Теперь уже поздно идти тебе дальше... Ночуй у нас, а утром до восхода солнца поднимешься на вершины гор и спустишься в Розовую долину.



— Верно. Теперь темно: покатишься с гор и разобьёшься. Чем выше, тем сахар крепче, а на вершинах он такой гладкий, словно лёд...

— Завтра мы дадим тебе санки, взберёшься на горы, а оттуда скатишься!

— Разобьётся! — кричал кто-то, махая руками.

— Как-нибудь спустится!.. — успокаивал другой.

Все кричали, советовали, и трудно было прийти к какому-нибудь решению.

— Ну, ты тут оставайся, а мне надо домой! — сказал Улыба и, взяв топор, начал рубить и складывать в телегу сахар. Потом мы с ним простились, как давнишние друзья, и Улыба поехал и скоро пропал в облаках. Только временами было слышно, как стучала его лошадка копытцами по твёрдому сахару...

Скрылось солнце. Рудокопы кончили работу и, разжигая костры из сахарного кустарника, рассаживались группами там и сям по склону гор. В сахарном домике загорелся синенький огонёк. В вышине вспыхнули большущие серебряные звёзды. Выкатилась вдруг откуда-то громадная луна серебристо-зеленоватого цвета, и Сахарные горы засверкали разноцветными огоньками, как сверкает зимою иней на лунном свете... Внизу горы были окутаны облаками, а вверху горели алмазами, и всё это было так чудно и удивительно, что душа трепетала от восхищения.

Маленькие рудокопы ужинали заливными орехами и жжёным сахаром и пели свои весёлые песни.

Только теперь я хорошо разглядел луну: более я уже не сомневался, что луна смешная и превесёлая рожа. Она моргала глазами, кривила рот и делала такие гримасы, словно ела то что-то очень приятное, то что-то очень кислое...

Рудокопы поужинали и легли спать, а я долго не мог сомкнуть глаз и всё смотрел на луну, а луна смотрела на меня. Подошёл ко мне старый рудокоп и спросил:

— Не спится, старичок?

— Не спится...

И мы разговорились. От него я узнал, что иногда луна опускается на горы и лижет длинным языком сахар. Бывали случаи, когда, увлечшись этим занятием, луна скатывалась кубарем с гор и долго не могла подняться на высоту — и от этого происходили лунные затмения...

— Ну а как у вас? Видно луну-то? — спросил старый рудокоп.



— Видно, только у нас она кажется втрое меньше. А бывает, что её и не видно...

— Это значит, она прячется за Сахарными горами или купается в облаках, — объяснил рудокоп.

Я стал расспрашивать его о работах в шахтах. Оказалось, что кроме заливных грецких орехов они находят в недрах гор жёлтые жилы из леденцов, разноцветную карамель и обсыпанную сахарной пылью клюкву...

— Иногда попадается и яблочная пастила, только редко, после дождей...

— Куда же деваете вы эту сладкую руду?

— Мелюзга разбирает. Работаем по очереди, а берём, сколько кому понадобится... У нас ведь не сеют хлеба...

— Как так? А меня угощали в деревне Весёленькой розовым хлебом!

— Этот хлеб у нас тоже природный... Есть у нас река Радостная, так вот кое-где по берегам и попадается этот розовый хлеб... Режем его лопатами и печём...

Долго мы болтали со старым рудокопом. Наконец он сладко зевнул и сказал:

— Спать надо!

— Пожалуй, и я лягу...

— Пойдём в дом!

Мы пошли в сахарный домик и улеглись на сахарном песке...

— Ты меня разбуди пораньше, чтобы не проспять мне!.. — попросил я.

— Спи спокойно...

Мы замолчали. Я лежал и прислушивался к тишине. Иногда ветер шумел в горах, и тогда казалось, что где-то играют на гитаре.

— Что это такое? — спросил я засыпавшего уже рудокопа.

— А это крепкий сахар на вершинах звенит от ветра... Теперь ещё тихо, а иногда в сильный ветер начинают лопаться и падать сахарные скалы, так тогда гремит такая музыка, точно в горах великаны разбивают стеклянные замки...

Я лежал и прислушивался к приятным звенящим звукам, и незаметно задремал под эту тихую мелодичную музыку.

— Пора!

Я открыл глаза. Старый рудокоп зажёл синий огонёк и собирался на работу.

Не хотелось вставать. Я лежал, охал и покашливал.

На рассвете в горах бывает ветер, и потому теперь немолчно звенели сахарные скалы и утёсы, и казалось, что где-то далеко настраивают много-много гитар.

— Ветерок начал играть! — заметил старый рудокоп и сладко зевнул.

А около домика уже толпились и побрякивали инструментами рудокопы, и всё громче раздавались их перекликающиеся голоса.

— А ты, старичок, вставай, а то опоздаешь... Пойдём вместе: я иду на верхнюю шахту...

Я поднялся, потянулся, съел три заливных ореха и сказал:

— Пойдём!

— Возьми саночки-то! — сказал рудокоп и ткнул ногой в небольшие сахарные сани с жёлтыми леденцами вместо подрезов.

— Не развалятся? — спросил я.

— Крепкие! Из синего сахара!

Мы вышли. Вереница рудокопов с синими фонариками в руках тянулась в сумерках к шахте и словно проваливалась сквозь землю.

— Прощайте! — крикнул я, сняв шапку.

— Счастливый путь! — ответило несколько голосов.

И мы со старым рудокопом начали тихо взбираться на горы.

В горных долинах встречались рощи из сахарных деревьев, похожие на покрытые мягким пушистым снегом сосны и ёлки. Стволы и ветви у них были коричневые, из пережжённого сахара, а листья из зеленоватого мармелада... Я мимоходом обломил ветку и, обрывая листочки, с удовольствием ел их... «Вот если бы в нашем саду росло хотя бы одно такое дерево!» — думал я, оглядывая чудесную рощу.

Старый рудокоп с удивлением смотрел на меня и ухмылялся:

— Ну и жадный же ты, братец мой! — сказал он, когда я, объев листочки, принялся ломать и сосать веточки.

— А разве вы не едите этих деревьев?

— Выдумал! У нас они на дрова идут...

— Эх вы!.. Не понимаете... — сказал я и опять стал думать, как хорошо было бы поставить такое дерево на Рождество вместо ёлки... Как кончилась бы ёлка, сейчас уронили бы на пол сахарное дерево, и в одну минуту от него остался бы один только ствол...

Когда мы выходили из рощи, на дорожку выскочил олень, белый с золотыми ветвистыми рогами... Пугливо посмотрев на нас, олень прыгнул через дорогу и помчался на горы...

— Сахарный олень! — сказал старый рудокоп и рассказал мне, как у них охотятся на этих оленей: — Ноги у них сахарные и очень



хрупкие; стоит только попасть ему в ногу камнем из леденца, и нога сломится. А без ноги бери его руками!..

Миновали рощу.

Солнце ещё не вышло, и синие облака спали в сумерках на горах и под горами. Ещё две-три звезды догорали в небесах... Чем выше мы поднимались, тем сильнее скользили ноги и тем труднее было идти. Кое-где высокие, пропадавшие в облаках скалы открывали свои мрачные ущелья, и мы пробирались ощупью, пока не выбирались из этих чёрных пропастей. Несколько раз нам приходилось проходить по самому краю скал, и тогда сахарный песок сыпался из-под наших ног и шумел, скатываясь в пропасти, — как шумит горный водопад... Раза три из-под наших ног с клёкотом поднимались белые орлы, и сердце вздрагивало от испуга.

— Ну вот я и дошёл! — сказал вдруг старый рудокоп, остановившись около заброшенной шахты. — Кыш, вы! — закричал он и на кого-то замахнулся лопатой.

— Кого это ты пугаешь? — спросил я.

— Горных карликов! Развелось их теперь у нас в горах видимо-невидимо... Таскают у нас лопаты и кирки и роют зря, где попало...

— Чего же они роют?

— Орехи заливные берут... Кыш, ты!

Меж глыб сахара мелькнула фигурка коричневого карлика, потом появилась под самыми ногами у рудокопа, и он пихнул его ногой.

— Гоп-гоп! — крикнул карлик и кубарем покатился под гору. А за ним стали прыгать и другие прятавшиеся в сахаре карлики и с криком скатывались в пропасти.

— А что, не опасный это народ?..

— Самый пустой!.. Пугливый народ!..

— А ты зачем идёшь в эту шахту?

— А там попадаются шоколадные ковриги... Теперь горные карлики разрыли сахар-то — поищу ковриги... Вкусные они... Люблю я эти ковриги...

Показал мне рудокоп тропинку, змейкой вьющуюся на горы, и сказал:

— Ну, теперь иди один!

— Недалеко вершины гор?

— Только два раза вспотеешь и будешь на самой огромной высоте.

— Прощай!

— Счастливый путь! Крепче держись, как покатишься на санках-то!

— А трудно катиться?

— Кто знает? У нас двое рудокопов скатились да так и не вернулись: может быть, не могли влезть обратно на горы, а может быть, разбились...

Стало светлеть небо, и начали обрисовываться контуры гор. Поплыли куда-то синие облака, и стали появляться блестящие склоны утёсов... А я лез и лез себе в гору... Силы мои слабели, а тут ещё приходилось тянуть за собой санки. Я уже приходил в отчаяние и несколько раз садился на сахарные глыбы и плакал, проклиная свою горькую участь. Как вдруг, подняв с мольбой к небу свою голову, я задрожал от радости: предо мною вставали зубчатые горные вершины...

— Слава Богу! — закричал я, напряг все свои силы и начал карабкаться вверх по отвесным скалам...

Спустя час я стоял на вершине Сахарных гор... Подо мной отовсюду тихо плыли задумчивые облака, и от этого казалось, что сам я несусь куда-то в синем небесном тумане... Ветер трепал мою седую бороду и поднимал клубы сахарной пыли на горных равнинах, а вершины, звонкие и крепкие, как литое стекло, гудели под напором ветра, как телеграфные проволоки в поле в тихую и ясную морозную ночь... Изредка трескались где-то сахарные скалы и с грохотом рушились в бездны.

Отыскав удобный утёс, я прижался к нему плотнее, упёрся ногами в трещину и стал ждать солнечного восхода...

Уже красный краешек солнца показался из-за гор, и дальние, более высокие вершины стали золотиться и румяниться, но синяя мгла ещё ползла около гор и закрывала все горизонты...

Но вот выплыло вдруг словно кем-то подброшенное снизу солнце, и Неведомое царство во всём великолепии открылось перед моим изумлённым взором... Трудно описать, что я увидел с восходом солнца: нет таких слов, чтобы описать это, и нет таких красок, чтобы нарисовать эту изумительную картину...

Точно по приказу Волшебника, стал таять туман... Кто-то Могучий отдёргивал синюю завесу, за которой пряталось Волшебное царство... Сахарные горы загорелись разноцветными драгоценными огнями, надели на свои головы золотые короны и накинули на себя пурпуровые мантии... Из-под золотых корон падали на них

перламутровые кудри, и долины меж гор накрылись голубыми бархатными коврами... И все горы сверху донизу словно заиграли на сладкозвучных арфах, приветствуя появившееся в невыносимом блеске золотого огня горячее Солнышко... Впереди Солнышка, кутаясь в розовые одежды, плыла на облачке Румяная заря, и свет от её развевающихся по ветру одежд окрашивал плывшие в глубоком молчании облака... Небеса улыбались, сгоняя со своего лица синие туманы, и по мере того как туманы таяли, начинало вырисовываться огромное Розовое озеро доброй Волшебницы с гористыми берегами; на этих берегах высились зубчатые стены и узорчатые башни великолепного, похожего на лёгкий призрак замка... Озеро было спокойно и отражало в себе берег, стены и замок... Прямо туда понеслась Румяная заря, и бесчисленные окна замка вспыхнули ей навстречу радужными огнями, а башни замка засияли золотыми крышами... Розовый и золотистый дым клубился из труб замка, опускался на Розовое озеро и, тихо колыхаясь, таял, обнажая прятавшихся в нём белых лебедей... Два белоснежных Великана шли к огромным колоннам запертых ворот и золотыми ключами отперли и распахнули их настезь... И в раскрытые ворота стала видна длинная пунцовая лента дороги, ведущей на голубые небеса.

— Боже мой, какое счастье хоть раз в жизни увидеть это Волшебное царство! — шептал я и стоял с широко раскрытыми глазами, позабыв всё на свете... Да, я позабыл всё на свете! Забыл, что я дряхлый старик, забыл, что у меня есть мамочка и папочка, забыл, что, быть может, я никогда уже не вернусь в родной дом... Всё забыл и только жадно смотрел на чудеса Волшебного царства...

Но вот Розовая заря побледнела и упала в Розовое озеро, и целая стая белых лебедей с испугом поднялась с него и плавно полетела по синим небесам... Растворились тяжёлые двери Волшебного замка, и вниз по широким мраморным ступеням стала спускаться добрая Волшебница... Она была бела, как снег, и, как чистый снег, блистала на солнышке, медленно сходя вниз... Около неё прыгали белые голуби, торопливо клевавшие изумрудные зёрна, щедро разбрасываемые рукою доброй Белой девушки — в венке из пунцовых роз на голове...

Я стоял и замирал от счастья... По лицу у меня текли слёзы радости, а в душе скопилось столько доброты, что я закричал:

— Люблю весь мир! Люблю вас, горы! Вас, тучи! Вас, бегущие облака! Вас, летящие белые лебеди! И тебя, моя прекрасная лучезарная Белая девушка!

Пропал у меня всякий страх, и только одно желание ярко вспыхнуло вдруг в душе:

— Скорей туда! К Розовому озеру! К тебе, добрая Белая девушка!..

Схватив санки, я трясущимися руками направил их под гору, перекрестился, сел и оттолкнулся... Вихрем понеслись вниз санки, помчались мимо горы, облака, синие и розовые туманы... Дух замирал, трепетала от наслаждения душа моя, а ветер свистел в ушах от быстроты, с которой летели вниз санки... Ничего уже не мог я видеть в этом бешеном полёте, только слышал, как в вышине надомной тревожно кричали лебеди:

— Гоу! Гоу-у!..

Вдруг зазвенели осколки сахарных санок, и я полетел в пропасть...

Сколько времени я летел в синюю бездну — неизвестно, так как я потерял сознание, как только понял, что произошло страшное, непоправимое несчастье... Последним словом моим было: «Мамочка!», после чего я перестал существовать...

* * *

Вы, конечно, думаете, что я погиб, разбился вдребезги на острых и крепких сахарных скалах?..

Да, так бы оно и должно было случиться... Но, к счастью, не случилось... Когда я раскрыл глаза, то долго не мог понять, что произошло, почему я лежу на полу около кровати в своей детской, почему я жив и каким образом я вернулся в родной дом... Мне не верилось, что я дома, в детской, что я живой и вовсе не старик с седой бородою и с самоварной ручкой на боку... Полно, детская ли это? Я долго сидел на полу и внимательно рассматривал комнату... Да, это была детская!.. Володина кровать стоит, как стояла, у другой стены, и Володя спит с голыми ногами, всё одеяло собрав себе на голову... На полу — моя большая лошадь на колёсиках и мой прорванный барабан... В левой руке ощущалась неловкость, словно я отлежал её, и я старательно осмотрел, не болтается ли вместо неё самоварная ручка... Встал с полу и пошёл к зеркалу, чтобы окончательно убедиться, что я не старик... Слава Богу! Я как был, так и остался маленьким мальчиком, только на лбу у меня вскочила синяя шишка... Но это не беда: заживёт. У меня много было шишек!.. Я улыбнулся

зеркалу и, топая босыми ногами, кинулся в спальню к мамочке... Прислушался — спит... Не велит она бегать с босыми ногами — будет браниться, да уж всё равно... Я так был счастлив, что всё, что описано здесь, случилось со мной во сне, что не мог удержаться от желания посмотреть на мою милую мамочку... Отворив дверь, я тихо подошёл к маминой постели... Спит мамочка, раскинув ручки, в белой кофточке с кружевами, волосы у неё распустились по подушке... «На кого она похожа?» — подумал я и вспомнил: точь-в-точь как белая добрая Волшебница... Тихо приподнял я мамино одеяло и нырнул к мамочке.

— Ты моя милая Волшебница! — сказал я ей, когда она раскрыла глаза...

Мама ласково улыбнулась, поцеловала и обняла меня рукой...

— Спи! Рано вставать... — прошептала она и закрыла глазки.

Но мог ли я спать?.. Я рассматривал мамочку, вспоминал свой сон и тихо посмеивался от радости... Мне хотелось, чтобы поскорее проснулась мамочка. Я расскажу ей про Некоторое Царство-Государство и про те ужасы и чудеса, которые я там видел... Я стал шалить: потихоньку дул на мамины волосы, и они щекотали ей щёчку, мама отмахивалась ручкой, думая, что это ползает у неё по лицу муха, а я, уткнувшись в подушку, потихоньку смеялся... «Милая моя драчунья! — думал я. — Я люблю тебя так же... нет, даже больше, чем добрую Волшебницу!»...





МИЛЬДА И ЗОЙЛА

Сказка

I

Жил-был добрый король на свете. У него была жена, белокурая Мильда, и двое детей: мальчик и девочка. С ними жила и старушка-няня, которая любила их, как родная бабушка...

У королевы Мильды была старшая сестра, которую звали Зойлой. Зойла была черноволосая и красивая, но очень злая. Зойле было обидно и завидно, что королевой сделалась не она, старшая, а младшая сестра Мильда. И когда это случилось, она возненавидела королеву Мильду. Ненависть к сестре была так велика, что когда королева захворала однажды очень опасно, Зойла молилась Богу, чтобы сестра умерла, а король женился на ней. Уж очень хотелось злой Зойле сделаться королевой! Однако злые молитвы не помогли Зойле: королева Мильда выздоровела. Большая радость была в королевской семье. Радовался сам король, радовались дети и плакала от радости старая няня. Зато ещё сильнее озлилась старшая сестра. Она плакала от злости, кусала кончик платка от досады, побила свою любимую собачку и стала думать, как бы ей самой сделаться королевой. И придумала она вот что: извести королеву Мильду злыми чарами, а самой выйти замуж за короля.

Зойла всё сильнее мечтала сделаться королевой, и даже ночью ей часто мешали спать эти тщеславные мечты! Иногда ночью она запиралась на ключ в своей спальне, вырезала из золотой бумаги корону, надевала её на свои распущенные волосы и любовалась собою перед зеркалом. Ах, как красива она даже в бумажной короне! Потом она хватала свою собачку и говорила ей:

— Посмотри на твою королеву!

А собачка не понимала, отвёртывалась. И тогда Зойла колотила её и бросала с колен на пол.



Отправилась злая сестра в лес к старой колдунье за советом. Пришла в её избушку, высыпала перед ней много золотых денег и попросила колдунью помочь ей в злом деле. Старая колдунья соблазнилась деньгами, загребла их в свой огромный карман и сварила Зойле такого зелья, от которого человек погружается в долгий сон и становится похожим на мёртвого. Получив это зелье, злая сестра поблагодарила старуху, поцеловала её и торопливо пошла домой. Она была рада, улыбалась, спрятала зелье и стала ждать удобного случая.

В замке был праздник: королева Мильда была именинница.

Все её поздравляли: король, детки, няня, придворные. И все подносили ей цветы. Целый воз разных цветов! Приехала поздравлять и злая сестра. Конечно, она притворилась доброй и любящей, а сама злилась и ненавидела. Очень была хитра! Она подарила младшей сестре венок из лилий. Серdito сняв с сестры корону, она сказала:

— Тебе больше идёт венок из белых лилий!

Надела на голову сестры венок из лилий и стала притворно восхищаться. Со всеми она старалась быть ласковой. Королю подвязала на ногу расстегнувшийся ремень и поцеловала руку, а детям подарила по огромному мячику. Не забыла даже и старухи-няни: ей подарила золотой напёрсточек и серебряную иголку. Всем было приятно и все почувствовали расположение к хитрой обманщице. Дети играли мячами. Няня надела на палец золотой напёрсточек и стала шить серебряной иголкой. Король любовался королевой в венке из белых лилий. Они посадили Зойлу между собой и стали говорить ей ласковые, приятные слова. Потом взяли её под руки и повели в столовую. Под музыку они шли по залам дворца, и все их встречали поклонами. Зойле было очень приятно, и она отвечала на поклоны так гордо, словно уже сделалась королевой...

Вот здесь, в столовой за завтраком Зойла и привела в исполнение задуманное ею злое дело. Когда они уселись за стол и начали кушать, Зойла незаметно для других налила волшебного зелья в свой бокал с вином и подменила им бокал сидевшей рядом сестры. Как только королева отпила отравленного вина, она вскрикнула и заснула мёртвым сном. Все растерялись, испугались, стали суетиться. А всех больше Зойла. Король приказал привести доктора. Прибежали дети и начали теревить маму и плакать.

— Мама! Мамочка! Проснись же, милая!

Прибежала старушка-няня, попрыскала на королеву водой. Не помогло. Пришёл доктор, послушал сердце королевы и сказал, печально покачав головой:



— Королева скончалась.

Все окружили прекрасную Мильду и горько плакали. Но всех сильней плакала и кричала злая притворщица. Можно было подумать, что всех сильнее любила королеву злая сестра! Король даже пожалел Зойлу. Отирая слёзы, он наклонился над Зойлой и стал утешать её, хотя у самого короля неудержимо катились слёзы.

Король не захотел навсегда расстаться с королевой. Он желал видеть её иногда хотя бы мёртвой. Поэтому король приказал построить каменный склеп и хранить там мёртвую королеву в стеклянном гробу. Вся в цветах, словно на яркой садовой клумбе, покоилась прекрасная Мильда за стеклом. Можно было подумать, что она не умерла, а просто задремала среди распустившихся цветов.

Король и дети с няней часто приходили сюда, приносили свежих цветов и грустили. Но всех чаще приходила Зойла. Теперь она жила в замке, потому что король попросил её помочь ему воспитывать детей и управлять хозяйством в замке. Зойла спускалась в склеп и, стоя у стеклянного гроба, радостно улыбалась. А когда выходила из склепа, то притворно отирала платочком слёзы...

II

Прошёл год. Время уносит человеческое горе. Перестали плакать и король, и дети. Только иногда, вспомнив о прекрасной Мильде, они начинали грустить, но хитрая Зойла и грустить им не давала. Как заметит, что король печален и задумчив, так и начнёт его развешивать. То расскажет ему что-нибудь очень смешное, и король начнёт смеяться до слёз, то споёт ему весёлую песенку, а то и попляшет.

Чтобы дети поскорее забыли свою маму, она запретила старой няне говорить с ними про неё и запретила водить их в склеп. Однако дети и няня не могли совсем забыть горя. Иногда мама снилась детям во сне, и они упрашивали няню потихоньку сходить в склеп и посмотреть там на мёртвую маму. Они тайно от Зойлы пробирались в склеп, тайно приносили туда цветы и тайно уходили.

Однажды Зойла поймала няню с детьми при выходе из склепа и страшно рассердилась. Топнула ногой и детей поставила в угол, а старую няню прогнала вон. Горько плакала старушка, уходя с узелочком из замка, где остались теперь её дитятки без матери и без заменявшей её няни...

Теперь никто не мешал злой Зойле в замке. Король ей доверился. Зойла стала ему нравиться, и он задумал на ней жениться. Однажды он посадил к себе на колени обоих детей, покачал их и спросил:



— Хотите иметь новую маму?

— Не хотим! Не хотим!

— Но вы не знаете, кого я хочу сделать вашей новой мамой! — возразил король. Король назвал имя той женщины, на которой он решил жениться. Конечно, это была Зойла. Зойла в это время находилась в соседней комнате и подслушивала, о чём король говорит с детьми. Когда она услышала своё имя, она так обрадовалась, что подпрыгнула и завертелась на каблучках. Она едва не выбежала от радости из комнаты, но тут услышала ответ детей. Дети сказали:

— Мы не любим тётю Зойлу: она злая! Не надо такой мамы.

Когда Зойла услышала эти слова, то возненавидела детей ещё сильнее, чем ненавидела свою младшую сестру. Ведь дети мешали ей сделаться королевой!

И вот Зойла решила избавиться от детей. Она опять пошла в лес к колдунье и наняла её в няньки к детям. Она обещала колдунье сделать её главной придворной хозяйкой в королевском замке, если та поможет отделаться от детей. Колдунья согласилась. Зойла привела её в замок, нарядила няней и, войдя с ней в детскую, сказала игравшим там детям:

— Вот вам, дети, новая няня! Извольте её любить и слушаться!

Дети с испугом посмотрели на безобразную старуху и отвернулись. Невзлюбили дети свою новую няньку, но приходилось слушаться. Нянька жаловалась Зойле, а Зойла — королю. Папа на них сердился и стал любить меньше. Однажды колдунья пошептала с Зойлой и повела детей на прогулку. Она завела их далеко в лес и там на полянке среди сосен и берёз превратила их в гриб-двойняшку. Как дети стояли рядышком, держались под ручку, так и застыли на месте. Приросли ножками к земле и стали превращаться снизу вверх. И вышла двойняшка, как растут часто белые грибы. Но двойняшка эта была такой же высоты, какого роста были дети. Необыкновенная вышла, огромная двойняшка! Почти до верху превратились уже дети, а головы в соломенных шляпах всё ещё были живыми и плакали. Но вот и головы превратились в две грибные шляпки...

Колдунья ушла. Двойняшка осталась. Прибежал зайка и лёг под грибом. Полежал и убежал. Прилетела большая ворона, посидела на двойняшке и улетела...

Муравьи сделали под двойняшкой огромный муравейник. Дождик мочил их...

Король хватился детей, а их нет. Зойла сказала, что непослушные дети ушли без спроса в лес и там их съели волки. Чтобы король

не искал детей, Зойла принесла и показала королю одежду детей, испачканную куриной кровью. Король горько заплакал. Заплакала с ним и хитрая Зойла. Да так горько заплакала, что королю стало её жаль больше, чем детей.

— Какие мы оба несчастные! — сказал король и поцеловал Зойлу в голову. А Зойла стала проситься у короля домой, говоря:

— Теперь я, король, не нужна тебе. Ты стал бездетным, а хлопотать по хозяйству будет старуха, которую я наняла в няньки.

— Нет, — ответил король, — теперь мне будет ещё скучнее жить на свете. Не покидай меня, добрая Зойла! Согласись быть моей женой, королевой!

Зойле только это и было надо. Она готова была расхотаться и заплясать от радости, но притворилась печальной.

— Хорошо, король! Пусть будет так, как тебе угодно!

Так злая Зойла добилась своей цели и сделалась наконец королевой. Теперь она надела не бумажную, а настоящую корону. А старая колдунья получила в замке место главной хозяйки, придворной экономки, нарядилась пышно и богато и стала спесивиться и важничать, как знатная дама.

III

Однажды король охотился на медведя, который поселился недалеко от замка и таскал у жителей коров и овец из стада. Охота вышла удачная. Король с придворными обложили медвежью берлогу и, раздражив зверя рогатинами, заставили вылезти из берлоги. Это была огромная медведица с тремя медвежатами. Медведица едва не задавила короля. Но её убили и короля спасли. А медвежата разбежались в разные стороны. Король и все охотники побежали догонять медвежат. Король увлёкся погоней за медвежонком и не захотел отстать. Он уже видел впереди медвежонка, и было досадно упустить добычу. Но медвежонок перехитрил короля и скрылся. Король очутился один среди леса и заблудился. Стал трубить в рог. Но ему не отвечали. Король устал и тихо побрёл наугад...

И вот вышел он на лесную полянку и остолбенел от изумления: под соснами и берёзами он увидел необыкновенный белый гриб-двойняшку. Грибы молоденькие. Но огромные. Срослись, словно два человека!

«Что за чудо! Таких не бывает на свете!» — подумал король и развёл руками. Ему захотелось сорвать эту двойняшку и принести в замок, чтобы удивить свою новую жену, королеву Зойлу.



Подошёл он к двойняшке, ухватился обеими руками за гриб и стал его раскачивать, чтобы вырвать из земли. И вдруг новое чудо: раздался крик в два голоса:

— Ой! Больно!

Король так испугался, что отпрыгнул в сторону. Стал вдали и думает: «Какие знакомые голоса! Словно дети. Один голос мальчика, а другой — девочки».

И тут король вспомнил о своих пропавших детях. Тихо приблизился он снова к двойняшке и снова попытался её вытащить из земли. Тогда закричал один тоненький голосок:

— Папа! Ты сломаешь мне ножку!

Король узнал голос своей девочки, которую считал съеденной волком.

— Дети! — закричал он и так обрадовался, что стал ласкать двойняшку и плакать от радости.

— Папочка! — ответили два радостных голоса, но гриб оставался неподвижным.

— Мои милые ребятки! Какой злодей превратил вас в грибы? — спрашивал король, обнимая и лаская двойняшку.

— Это сделала колдунья, наша нянька, которую наняла наша новая мать, твоя жена! — жалобно ответили два голоса. Король страшно разгневался и долго сидел под грибом в печальных думах.

— Так вот она какая, моя новая жена. Королева Зойла! Такая красивая и такая злая! — шептал он, покачивая головой. Потом он стал трубить в рог, сзывая охотников. Когда они сошлись, король приказал сплести из еловых ветвей носилки. Они осторожно положили вырытый гриб на носилки и понесли в замок. Королева стояла на балконе и ждала возвращения короля. Вот она увидела издали короля со свитой. Обрадовалась, стала махать платком и побежала вниз, чтобы встретить короля, на двор замка. Впереди везли на телеге убитую медведицу. Королева, выскочив с крыльца, захлопала в ладоши и подбежала к воротам, чтобы поздравить короля с удачной охотой. Король въехал на коне в ворота замка, а за ним несли носилки с двойняшкой.

Королева Зойла бросилась к королевскому коню и протянула руку королю. Но тот не подал ей руки. Он сердито нахмурился и показал ей жестом руки на носилки. Тут только Зойла увидела двойняшку и поняла, что страшное преступление раскрылось. Бледная и дрожащая от страха королева опустилась на колени перед королевским конём, потом стала ловить королевскую ногу,

чтобы поцеловать. Но король пришпорил коня, и Зойла оборвалась и упала на траву. Король подъехал к крыльцу, соскочил с седла и отдал коня придворному конюху, а сам стал распоряжаться перенесением грибов в замок. Подбежала Зойла и опять упала в ноги королю, но тот приказал схватить её и отвести в подземную темницу. Принесли дорогой ковёр. Переложили на него двойняшку и тихо понесли в замок, по мраморным лестницам в королевскую опочивальню. Здесь положили двойняшку на королевскую кровать под балдахин и прикрыли шёлковым одеялом. И казалось, что на постели лежат не грибы, а спят дети, двое рядышком!

Вот придворные собрались около постели и грустно смотрели на несчастных детей. Вдруг все смолкли и расступились. Шёл король, а позади его вели придворную хозяйку, старую спесивую колдунью. За колдуньей шла, опустив голову, и злая королева Зойла. Обе преступницы дрожали от страха. Они признались в своём преступлении, но стали сваливать вину друг на друга.

Король слушал, сидя на кресле у постели, и угрюмо молчал. Потом он словно очнулся. Вскочил на ноги, сорвал с головы королевы корону и швырнул её в угол. Обе злые женщины ползали у короля в ногах и просили прощения, но король отпихивал их ногою.

— Прочь, две ядовитые змеи! Отвести их в подземную темницу! — закричал он, и стража схватила преступниц и повлекла их из спальни, а все придворные злобно кричали им вслед и потрясали кулаками. Потом король упал перед постелью и горько заплакал, а все придворные стали тихо на цыпочках уходить из комнаты, чтобы не мешать королю поплакать.

Когда обе преступницы очутились в темнице на одной цепи, они, как две собаки, начали ссориться, обвинять друг друга, и часто дело доходило до драки. Однажды спустился в темницу несчастный король с фонарём в руке. Король держал в руке меч. Может быть, он задумал убить преступниц. Королева спряталась в углу в соломе, а колдунья не успела. Она увидела меч и стала плакать.

— Если ты, король, простишь меня, я верну тебе не только детей, но и королеву Мильду! Помилуй меня, добрый король!

— Хорошо. Я согласен! Иди за мной! — приказал король, и колдунья радостно поползла за королём из темницы.

Старая колдунья знала все волшебства, злые и добрые. Она повела короля в лес в свою избушку и здесь сварила два зелья: одно

для превращения грибов в детей, а другое — для пробуждения спящей королевы. Пока она варила, король стоял с обнажённым мечом и не спускал глаз с проклятой колдуньи.

Когда всё было готово, около постели опять собрались придворные, дамы, пажы и дети, жившие в замке. Король сидел в кресле с мечом в руке около постели, где покоилась двойняшка, и ждал. Вот привели колдунью и все замерли, ожидая, что будет. А колдунья пошептала, плюнула и дунула, а потом, отпив из пузырька какой-то жидкости, прыснула на двойняшку. Опрыснула раз — и вместо грибных головок появились две головы детей в соломенных шляпках. Все запрыгали от изумления и радости. Но колдунья оглянулась и сердито погрозила всем пальцем. Все притихли, затаив дыхание. Колдунья спрыснула во второй раз — и детские головки стали шевелиться, раскрывать сонные глазки и позёвывать, словно со сна. Колдунья прыснула в третий раз, и под шёлковым одеялом зашевелились четыре ноги. Потом колдунья опять пошептала и сдёрнула одеяло. Вместо двойняшки на постели лежали рядом мальчик с девочкой. Дети почесались, сели и стали обводить всех удивлёнными глазками. Увидав короля, они вдруг вскрикнули и бросились к нему на шею. Король схватил детей и стал их обнимать и целовать, а окружающие всё плакали от радости и толкались ближе, чтобы посмотреть и поверить своим глазам.

Король взял на руки детей. Мальчика посадил на плечо, а девочку — на руки и приказал колдунье идти за ним в склеп. Дети, увидя колдунью, закричали и стали цепляться за отцовскую шею.

— Папочка! Мы боимся этой няньки! — кричали они. Отец едва успокоил их. Все направились в склеп. Окружили стеклянный гроб королевы Мильды и ждали. Король с детьми на руках стоял в ногах, а колдунья — в изголовье. Колдунья опять пошептала, плюнула и дунула. Потом она разбила стекло крышки и спрыснула спящую Мильду волшебным зельем. Мильда зашевелилась, раскрыла глаза и, словно пробудившись, стала обводить вокруг сонным взором. Но вот она села среди цветов и увидела короля с детьми. Слово сразу пробудилась, засмеялась от радости, вскрикнула и протянула руки.

— Мамочка! Мамочка! — закричали дети, спрыгивая с рук короля. Король подал Мильде руку и свёл её с гробницы. Дети кинулись к матери. Она стала их ласкать, а кругом все плакали и отирали платком слёзы. Все растрогались! Потом все направились в замок. Король шёл впереди под руку с королевой, и на руках короля был мальчик, а на руках королевы — девочка.

Великая радость была в королевском замке. Король, королева и дети не могли наглядеться друг на друга, и все целовались и смеялись от радости. Они были так счастливы, что не могли ни на кого сердиться. Пришёл начальник темницы и спросил:

— Как поступить со злыми женщинами?

Король приказал обеих привести в замок. Привели. Обе стоят, потупились. Им и страшно, и стыдно поднять глаза на прекрасную королеву Мильду. Посмотрела Мильда на старшую сестру и сказала:

— Я хочу, чтобы ты превратилась из злой в добрую. Но я не знаю, как это сделать!

Тогда хитрая колдунья вышла вперёд и сказала:

— Я знаю, как это сделать! Если пожелаешь, королева, я открою тебе секрет!

— Хорошо.

— Прости нас обеих, и мы превратимся в добрых! — сказала колдунья.

Добрая Мильда ласково улыбнулась и ответила:

— Да, да! Самое большое наказание для человека — оплатить ему добром за зло!

— Король, прости их!

И добрая Мильда долго умоляла сурового короля простить Зойлу с колдуньей.

— Пусть будет по-твоему! — согласился наконец король и махнул рукой.

Преступницы так обрадовались, что забыли даже поблагодарить Мильду. Они так проворно побежали из замка, словно вылетели из раскрытой клетки две птицы. И это было так смешно, что и король, и королева, и дети, наблюдая за их бегством из окна замка, весело смеялись.

А потом в замке был пир в честь прекрасной королевы Мильды и её детей. Со всего королевства съехались дети, и было так весело всем гостям, что плясали даже старики и старушки! Всё время гремела музыка, пели песенки, играли в разные игры. А пришла ночь — детей положили рядышком, и они спали, как гриб-«двойняшка». А король с королевой не отходили от постели и, любуясь спящими, улыбались друг другу...

Вот и конец всей сказки... Отдохнём, а то заболят глазки!





ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

Комедия в пяти действиях

Действующие в пьесе лица:

ЛЕСНОЙ СТОРОЖ

ЛЕСОВИК

СТОРОЖИХА

БАБА-ЯГА

ЗОРЬКА

АЛЁНУШКА

ХУДОЖНИК

ФАВН

ЧЕРТЯКА

ВОДЯНОЙ

РУСАЛКА

ПРОСВИРНЯ

ДАМА

ДЕВУШКА

ПОНОМАРЬ

Заяц, Лягушка, Медведь, Белые грибы

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Глухой смешанный лес. Склон оврага. Лесная сторожка с крыльцом и лавочкой. В овраге, в рамке камышей и осоки, сонное озеро с кувшинками и лилиями. Летний вечер: по траве золотые пятна и узоры теней, румяная вода в озере. Где-то кукует кукушка. Сторожиха сидит на крыльчке и прядёт льняную пряжу, проворно суча нитку на веретено. Зорька стоит с вёдрами на коромысле около озера.



ЗОРЬКА. А я буду купаться... *(Поставила вёдра на травку, спряталась в камышах, разделась и бултыхнулась в воду.)* А-а... холодно... *(Тихо поёт песенку, рвёт кувшинки и лилии и плетёт веночек.)* Буду я, младёшенька, веночек сплетать... А сплету веночек, отдам миленькому... Ай... Лягушка-квакушка... Прочь от меня...

Из лесу на косогор выходит белокурый молодой человек с дорожным прибором для живописи и с ружьём на плече. Вышел, осмотрелся, положил ружьё, устанавливает мольберт... Вдруг с озера сорвалась и с испуганным криканьем полетела дикая утка. Молодой человек схватил ружьё и выстрелил по утке. Зорька завизжала и спряталась в камышах. Молодой человек изумлён и заинтересован.

ХУДОЖНИК. Не убил ли я вместо дикой утки русалку?

СТОРОЖИХА *(ворчит)*. Ну, опять охотники...

ЗОРЬКА *(голос из камышей)*. Уходи...

ХУДОЖНИК. Приятный голосок... Не бойтесь... Кто там в камышах? *(Старается увидеть.)*

ЗОРЬКА. Уходи...

Художник сел к мольберту и украдкой бросает взгляд на озеро.

Не смотри.

ХУДОЖНИК. Не беспокойтесь, я не смотрю...

ЗОРЬКА *(зовёт)*. Бабушка... Бабушка-а...

Художник складывает мольберт.

Сторожиха бросила пряжу, идёт к оврагу.

СТОРОЖИХА. Меня зовёт... Что ты кричишь? Водяной, что ли, тебя поймал? Где ты там?

ЗОРЬКА. Человек смотрит.

СТОРОЖИХА. Да где ты там?

ЗОРЬКА. В камышах я... Голая... Прогони человека...

Сторожиха огляделась вокруг, увидела Художника и погрозила ему пальцем.

ХУДОЖНИК. Я, бабушка, не смотрю... Должно быть, это я — человек, которого... *(Собрал вещи, идёт к Сторожихе.)*

СТОРОЖИХА. Ай-ай... А ещё образованный...

ХУДОЖНИК. Я ничего дурного, бабушка... Это вышло совершенно случайно... *(Погошёл.)* Я вышел к озеру, хотел порисовать — вдруг утка... *(Оглянулся на озеро.)* Вон из тех камышей...



СТОРОЖИХА. Да ты не гляди туда, дай девке одеться... Уходи отсель... *(Качнула головой.)*

Художник пошёл к сторожке, за ним Сторожиха.

Видишь, что девушка купается, а сам...

ХУДОЖНИК. В том-то и дело, что я, бабушка, не видал, а когда выстрелил...

СТОРОЖИХА. А тебе увидеть хотелось?

ХУДОЖНИК. Это случайно... Я вовсе не ожидал, бабушка, что... Я выстрелил в утку, и вдруг женский крик... Я испугался, не ранил ли женщину или девушку... Я, бабушка...

СТОРОЖИХА. Какая я тебе бабушка?

ХУДОЖНИК. Так... вообще...

СТОРОЖИХА. Откуда же ты, внучек, взялся?

ХУДОЖНИК. Я потерял дорогу... Часа три уже брожу по лесу... Как мне выйти на дорогу? Устал... *(Присел на упавшую старую берёзу.)*

СТОРОЖИХА. Дорог в лесу много... На какую тебе?

ХУДОЖНИК. К Новому хутору.

СТОРОЖИХА. Э-э, брат... Далеко забрёл... От нас до Нового хутора не меньше пятнадцати вёрст...

ХУДОЖНИК. Неужели?

СТОРОЖИХА. А ты как думал? Уж никак не меньше двенадцати... Что же это ты без пути бродишь по лесу? Охотник — не охотник, землемер — не землемер...

ХУДОЖНИК. Я... бабушка...

СТОРОЖИХА. Инженер, что ли?

ХУДОЖНИК. Нет, я пишу картины...

СТОРОЖИХА. А я думала... У нас есть слух, что по нашему лесу железную дорогу хотят вести... Что же это ты в такую глушь картины-то зашёл рисовать?

ХУДОЖНИК. Мне такое место надо, глухое, нетронутое...

СТОРОЖИХА. А зачем же ружьё-то у тебя?

ХУДОЖНИК. На случай... В другой раз на глухаря или тетёрку набредёшь... Вот видишь: сейчас чуть утку не убил...

СТОРОЖИХА. Помирать полетела утка...

ЗОРЬКА *(голос)*. Бабушка-а...

СТОРОЖИХА. Опять кричит...

ЗОРЬКА *(голос)*. Человек ушёл? *(Надела рубашонку, вышла из камышей, надела на голову венок, наполнила водой вёдра.)*



ХУДОЖНИК. Она боится людей?

СТОРОЖИХА. С малых лет в лесу с нами живёт... Обдичала... Внучка наша... Сиротка: без отца, без матери...

ЗОРЬКА. Бабушка-а... *(Подняла вёдра на коромысле и медленно идёт домой.)* Человек ушёл?

СТОРОЖИХА *(встала, пошла к оврагу)*. Вот дурная... Съест он, что ли, тебя, человек-то?

ХУДОЖНИК *(оглядывая сторожку)*. Избушка на курьих ножках... Баба-яга — костяная нога и внучка... Хороший мотив для картины...

ЗОРЬКА. Не пойду я... Пусть уходит... Боюсь я его.

СТОРОЖИХА. Что он тебе сделает?

ЗОРЬКА. Стыдно мне...

СТОРОЖИХА. Глупая... Иди, ушёл он... *(Возвращается к сторожке.)*

Зорька раздумывает у кустов, рвёт листочки, хлопает ими, втягивая в рот.
Поёт кукушка.

ЗОРЬКА. Кукушка, кукушка. Много ли мне лет жить? *(Считает.)* Один, два, три, четыре... *(Досчитала до двенадцати и сбилась.)* Ну, сбилась... Всё кукует... У-у... Долго проживу...

В это время Художник беседует со Сторожихой.

ХУДОЖНИК. Не боитесь жить в лесу?

СТОРОЖИХА. А чего бояться-то? Не бойся волка, не бойся медведя, а бойся злого человека... Мы людей больше, чем зверей боимся... Прошлогодней зимой медведь вон там под оврагом до самой весны спал... А осенью волки под окошком воют... Не трогают нас...

ХУДОЖНИК. А в лешего верите?

СТОРОЖИХА. А как же не верить, когда мой старик раза три его своими глазами видел? Лесовик нам ничего не сделает: на одном деле стоим — лес караулим...

ХУДОЖНИК. Нет ли, бабушка, молочка?

СТОРОЖИХА. Была у нас коза, да и ту барсук задавил. Один вдовый козёл остался. Погоди, Зорька воды принесёт, самоварчик для тебя поставим. Вода у нас вкусная, чистая, как хрусталь... Из родника берём...

ХУДОЖНИК. У вас есть самовар? Не ожидал в этой лесной трущобе встретиться с таким другом...

СТОРОЖИХА. Что же это она? *(Зовёт.)* Зорька... Где ты там? Иди скорее... Дедушка скоро вернётся, самовар надо налаживать... Зоренька-а-а...

Зорька при первом окрике пошла вперёд и появилась с ведрами на коромысле и с венком на голове, на коромысле болтается красненький головной платок. Сторожиха ушла в избу. Зорька идёт и не видит Художника.

ЗОРЬКА *(тянет)*. Буду я, младенёшенька, веночек сплести... А сплету веночек — отдам миленькому... *(Неожиданно увидела Художника, смутилась, сняла венок и накинула на голову платок, прикрыв лицо.)*

ХУДОЖНИК. Ну-ка, Зорька, дай напиток...

ЗОРЬКА *(приостановилась, отвернулась в сторону)*. Пей... Не жалко...

ХУДОЖНИК *(бросил шляпу, припал на колени и пьёт прямо из ведра, поглядывая на девушку)*. Глаза как у Сказки... *(Пьёт.)* На заре купалась зорька в розовом озере...

ЗОРЬКА. Напился? *(Украдкой взглянула на юношу.)*

ХУДОЖНИК. Нет ещё. Вода как нектар... *(Пьёт.)* И сама ты...

ЗОРЬКА. Скоро ты, что ли?

ХУДОЖНИК *(пьёт)*. Лесная русалка...

ЗОРЬКА *(сдерживая смех)*. Ну, будет... *(Опустила ведро с коромысла на траву.)* Пей всё... *(С загорным смехом пошла прочь.)*

ХУДОЖНИК *(встал и восхищённым взглядом провожает её до крыльца)*. Вот открытие... *(Кричит.)* Зорька... Я напился, возьми ведро... *(Зорька смеётся в избе. Он прислушивается и улыбается.)* Да это находка для моего сюжета... *(Идёт к окну, заглядывает.)* Зорька, дай мне огонька... Закурить папиросу...

Поднялось окошечко, выглянула Сторожиха.

СТОРОЖИХА. Чего тебе?

ХУДОЖНИК. Спичек. Закурить...

Сторожиха исчезла.

А бабушка твоя похожа-таки на Бабу-ягу...

СТОРОЖИХА. Вот запалки... Держи... Не потеряй... В лесу они дороги... *(Бросила коробку спичек, стукнула окошечком.)*



ХУДОЖНИК (*поднял спички*). Гм... Шведские спички... И самовар... Это грубо возвращает к действительности...

Где-то заблеял козёл. Художник подошёл к хлевушку у стены сторожки.

Скучно без козы... Ты, братец, похож на голодающего Фавна... (*Погражает бляенью козы...*)

Козёл отзывается. На крыльцо вышла Зорька, вытряхивает самовар.

Овдовел ваш козёл, Зорька?

ЗОРЬКА (*серьёзно*). Вдовый...

ХУДОЖНИК. А сколько тебе лет?

ЗОРЬКА. А почему я знаю... (*Выпал кран самовара.*)

ХУДОЖНИК. Не знаешь? (*Погал ей кран.*)

ЗОРЬКА. Спасибо... Что года-то считать... Зачем?

ХУДОЖНИК. Что ты отворачиваешься?

ЗОРЬКА. А ты что больно приглядываешься? (*Ставит на крыльчке самовар.*)

ХУДОЖНИК. Приглянулась. Я тебя не укушу... Сбрось платок, он не идёт тебе...

ЗОРЬКА (*спуская платок ещё ниже*). Сглазишь...

ХУДОЖНИК. Не надо красоту прятать... Любишь кого-нибудь?

ЗОРЬКА. Кого тут любить-то? Козла, что ли? (*Платок скатился.*)

ХУДОЖНИК. Ты похожа на лесную фею... Брось платок...

ЗОРЬКА (*с улыбкой скаля белые зубы*). На кого похожа?

ХУДОЖНИК. На лесную царевну... На русалку...

ЗОРЬКА. Русалка у нас в озере живёт... Дедушка её раза два весной видел...

ХУДОЖНИК (*вынул карманный альбом*). Хочешь, я тебя нарисую? (*Набрасывает карандашом эскиз.*)

ЗОРЬКА (*взглянула и отвернулась*). Не хочу.

ХУДОЖНИК. Почему?

ЗОРЬКА. Грех...

ХУДОЖНИК. Вот вздор...

ЗОРЬКА. Боюсь — приворожишь... Может быть, ты — колдун. Почём я знаю?

ХУДОЖНИК. Ну так что же? Разве тебе не хочется полюбить меня?

ЗОРЬКА (*засмеялась и пошла в избу*). Какой проворный...

ХУДОЖНИК *(смотрит Зорьке вслеп)*. Изумительные глаза, губы и улыбка... *(Сел на пень, набрасывает в альбоме эскиз упавшей берёзы.)* Спит вечным сном старая берёза...

СТОРОЖИХА *(вышла на крыльцо, села за веретено)*. А ты, должно быть, нездешний?

ХУДОЖНИК. Нездешний... Я издалека... Из большого города... Из столицы...

СТОРОЖИХА. Видно сразу: и по обличью, и по разговору... У нас таких нет... Как же ты в нашу сторону-то попал?

ХУДОЖНИК. В Новом хуторе я гощу... на даче...

ЗОРЬКА *(выглядывает из окна, потом идёт за ведром, из которого пил Художник)*. Не допил...

ХУДОЖНИК. Грозой, что ли, повалило эту берёзу?

СТОРОЖИХА. А кто её знает? Давно уж гниёт она тут... Я ещё молодая была, как её свалило... Старик рассказывает, что на этом месте, где теперь наша сторожка стоит, Чёртово логово было... Бывало, мы, девки, боялись этого места вот как: и близко не подходили... И теперь в народе наше место Чёртовым логовом зовут... Сюда до сей поры под Иванов день клады рыть ходят... Мой старик один раз видел, как огонь синий под муравейником горел... Копал, только ничего не нашёл: «слова» не знает.

ЗОРЬКА *(на крыльце)*. Иди чай-то пить... *(Уносит в избу самовар.)*

ХУДОЖНИК. Принесла бы ты мне сюда, на травку...

СТОРОЖИХА. Знамо, на воле-то вкуснее... В избе душно... Возьми скатёрку да постели на травке-то... Да медку ему принеси, ломоть хлеба посоли...

ХУДОЖНИК. Вот спасибо, бабушка...

Зорька устраивает чай на травке.

Пора, бабушка, замуж внучку-то... *(Незаметно рисует Зорьку.)*

ЗОРЬКА. А ты-то что хлопчешь?

СТОРОЖИХА. А... может, посватать хочет?

ЗОРЬКА. Я за него не пойду...

СТОРОЖИХА. Барыней бы стала... В городе жить стала бы, в шелках да в бархате...

ЗОРЬКА. Здесь лучше...

СТОРОЖИХА. Вкусно есть, да сладко пить, да мягко спать...

Вдали лай собаки и звук рожка.



ЗОРЬКА. Дедушка идёт... (К лесу.) Дедушка-а-а... Иди скорей чай пи-и-ть...

ДЕДУШКА (кричит). Ого-го-го...

Зорька пошла навстречу дедушке. Художник сел около скатерти.

ХУДОЖНИК. Скатерть-самобранка... Свой мёд-то?

СТОРОЖИХА. Свой... Было три улья, да два медведь изломал...

ХУДОЖНИК. А может быть, леший?

СТОРОЖИХА. Всё может быть...

ХУДОЖНИК. Красивая, бабушка, у тебя внучка...

СТОРОЖИХА (плюнула). В добрый час сказано...

ХУДОЖНИК. Хочу портрет с неё красками написать.

СТОРОЖИХА. Вон ведь как она тебе приглянулась...

ХУДОЖНИК. Уговори её... Я приеду завтра...

СТОРОЖИХА. Она не дастся... Что уж с нас портреты-то писать, ты с городских красавиц пиши... Чего её смущать-то... Повадишься ходить, как козёл в огород...

ХУДОЖНИК. Я заплачу...

СТОРОЖИХА. За что? Она ведь у нас не продажная, барин.

ХУДОЖНИК (смутился). Ты, бабушка, не так поняла мои слова...

СТОРОЖИХА. Ни к чему это... Вот какой в наших местах случай был... В тот год, как Новый хутор отстроили... Набрала девка земляники, идёт по дороге, навстречу барин на тройке с колокольцами, с бубенцами, сбруя в золоте, удила — серебряные, ямщик в шляпе с пером... «Тпру... Чего, девка, несёшь?» — «Землянику...» — «Почём?» — «Пятнадцать копеек». — «Сыпь сюда...» Снял барин с ямщика шляпу с пером и подставил. Девка на подножку тарантаса встала, только хотела землянику высыпать, а барин подхватил её под мышки, посадил с собой рядом и свистнул. И помчалась тройка, только дым под колёсами за клубился... Так с тех пор и пропала девка...

ХУДОЖНИК. Какой же это барин-то? Откуда?

СТОРОЖИХА. В том-то вот и дело... Неизвестно... Может быть, нечистая сила в барина обернулась... Ты вот пришёл, говоришь, что с Нового хутора, что из столицы погостить приехал...

ХУДОЖНИК. Ну... (Ухмыляется.)

СТОРОЖИХА. А кто тебя знает, кто ты такой?

ХУДОЖНИК. Нечистая сила?

СТОРОЖИХА. Мы тебя не знаем, никогда не видали...

Голоса Зорьки и Сторожа.

Вон и старик идёт...



СТОРОЖ *(с ружьём и котомкой с грибами. Поклонился, не-
доверчиво осмотрел гостя)*. Чай-сахар твоей милости... *(Поиграл
в рожок)*. Опять мой кобель за зайцем увязался... *(Снял с плеч кузов,
полный грибов)*. На-ка, старуха... Мало нынче грибов... Дождей нет...
Ты, барин, чей же будешь?

Сторожиха унесла грибы в избу.

ХУДОЖНИК. С Нового хутора...

СТОРОЖ *(внимательно осмотрел)*. Никогда тебя не встречал...
Не случилось...

ХУДОЖНИК. Я недавно приехал...

СТОРОЖ. Так... С дороги сбился?

ХУДОЖНИК. Да. Колесил, колесил...

СТОРОЖ. А есть ли крест-то на шее?

Зорька испуганно взглянула на Художника и ушла в избу.

ХУДОЖНИК. А что?

СТОРОЖ. Лесовик, видно, обошёл... По нашим местам без крест-
ста несподручно... Как же ты назад-то? Далеко ведь... Засветло на
большую дорогу не выйдешь...

ХУДОЖНИК. А ты меня не проводишь?

СТОРОЖ. Нельзя мне. Завтра чуть свет надо на месте быть: ша-
лаш на Чёртовой трясине поставил: кряковые появились...

ХУДОЖНИК. Утки?

СТОРОЖ. Утки... *(Взял ружьё Художника)*. А ты тоже этим
делом баловаешься?

ХУДОЖНИК. Балуюсь...

СТОРОЖ. Двухстволочка... Аглицкая... *(Поставил, снял свою
глинную одностволку)*. А против моего всё-таки не возьмёт... Золо-
то, а не ружьё... Мне за него один барин четвертную давал, и то я
не отдал... На сто сажен берёт...

Художник взял одностволку, рассматривает её.

Этому ружью, может, больше тысячи лет.

ЗОРЬКА *(из окна)*. Дедушка, иди чай пить...

СТОРОЖ. Сейчас, внучка... Этому ружью ровно 1178 годов...

ХУДОЖНИК. Этого, старик, быть не может... Тысячу лет тому
назад и ружей-то не было... Порох-то изобрели только... Ну, лет
семьсот тому назад.



СТОРОЖ. Думаешь, вру?.. Изволь, гляди... *(Показывает что-то на стволине.)* Читать цифирь можешь? Это который год? 732, а теперь у нас который? Ну, сколько этому ружью годов выходит?..

ХУДОЖНИК. Это помечен не год, а... Просто номер...

СТОРОЖ *(отняв своё ружьё)*. Ну, номер так номер... Спорить с тобой не буду...

ЗОРЬКА *(вышла на крыльцо)*. Иди, дедушка, чай пить... *(Художнику.)* А тебе налить, что ли?

СТОРОЖ. Кобель пропал... Без него на Чёртовой трясине ничего не сделаешь... Эко горе-то... Не хошь ли, барин, со мной за утками...

ХУДОЖНИК. Пойдём. А далеко?

Зорька, посвистывая, зовёт собаку: «Шарик!.. Шарик!..»

Углубляется в лес, продолжая свистать и кричать: «Шарик...» Темнеет.

СТОРОЖ. Вёрст пять-шесть...

ХУДОЖНИК. Отчего же... А уток там много?

СТОРОЖ. Другой раз бывает прямо туча... Только надо уметь... Коли пойдёшь, так болтать зря нечего: часика три соснуть, да и марш... Чтобы к заре на месте быть... Теперь уж всё равно домой не пойдёшь на ночь-то... В такие трущобы заберёшься без солнышка-то, что потом и не выберешься... Иди в избу... Поговорим как следует...

Художник и Сторож ушли в избу. Зорька вернулась, ходит около сторожки и со страхом и любопытством заглядывает в окно на гостя.

ЗОРЬКА. Кудрявый... *(Вздыхнула.)* Что мне в нём? Ушёл, да и нет его... *(Отошла к берёзе, ковыряет кору и тянет.)* Буду я, младёшенька, веночек сплетать... А сплету веночек, отдам миленькому.

Сторожиха идёт в хлевушек.

СТОРОЖИХА. Ночевать у нас будет... *(Прошла.)*

ЗОРЬКА. Вот навязался... *(Опять заглядывает в окно.)*

СТОРОЖИХА *(проходит обратно)*. Ну, чего уставилась?

ЗОРЬКА. А где, бабушка, я лягу?

СТОРОЖИХА. Со мной в сенях... Где положат, там и ляжешь... Прибери скатёрку-то...

Сторожиха прошла в избу, Зорька прибирает скатёрку и посуду.

Вышел Художник.

ХУДОЖНИК. Хорошо у вас, Зорька...

ЗОРЬКА. Понравилось?



ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

ХУДОЖНИК. Так бы и не ушёл... Никогда...

ЗОРЬКА. Вон что... Привязчивый какой...

ХУДОЖНИК. Приворожила ты меня...

ЗОРЬКА. Чем я тебя приворожила?

СТОРОЖИХА *(в окно)*. Зорька... Подь в избу...

ЗОРЬКА. Иду...

Зорька пошла, оглянулась, ласково улыбнулась и скрылась. В избе загорелся огонёк. Художник встряхнул головой, посмотрел на избушку и задумчиво через бородку посвистал. На крыльцо вышел Сторож, доедает хлеб. Взошла луна.

СТОРОЖ. Ежели идти — ложиться надо... Спанья нашего не больше трёх часов осталось... Как месяц падать начнёт, так и марш... Ты где ляжешь?

ХУДОЖНИК. Уж не знаю... В избе, пожалуй, будет душно... Где-нибудь тут...

СТОРОЖ. Комаров не боишься?

ХУДОЖНИК. А много?

СТОРОЖ. Да не меньше, чем блох в избе... Ты, милёнок, вот чего: дам я тебе тулуп свой, завернись и ляг вон тут, под берёзой-то... А ружьё надо в избу... отсыреет... Зорька... Дай ему тулуп мой... Он на воле ляжет...

Сторож взял ружьё и унёс в избу. Вышла Зорька с тулупом.

ЗОРЬКА. Где ляжешь?

ХУДОЖНИК. А вон, под берёзой, которую черти повалили...

ЗОРЬКА. На ночь чертей поминаешь... Вот они тебя ночью-то... *(Пошла в избу.)*

ХУДОЖНИК. Зорька...

ЗОРЬКА. Ну... *(Остановилась.)*

ХУДОЖНИК. А за тебя можно душу чёрту отдать...

ЗОРЬКА. Ложись... Да Богу не забудь помолиться, а то сон нехороший увидишь... *(Пошла.)*

ХУДОЖНИК. Зорька... *(Стукнула дверь.)* Ушла...

Где-то заливается Шарик, гоняя зайца.

Художник укладывается под берёзой. Погас огонёк в избушке.

Не поймаешь, Шарик, зайца...

Стукнуло окошечко, выглянула Зорька, смотрит большими глазами и говорит:

«Спит он...» Тьма.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же декорация, только лесная сторожка превращается в избушку Бабы-яги, Зорька — в Алёнушку, Лесной сторож — в Лешего, а Художник — в Фавна. Тихий вечер. На старой упавшей берёзе сидит Алёнушка, плетёт венок из диких цветов и мурлыкает песенку, около неё стоит молодой ленивый Чертяка с гармоникой под мышкой, грызёт семечки и, помахивая хвостом, влюблённо смотрит на лесную красавицу.

ЧЕРТЯКА. Кому это ты плетёшь веночек?

АЛЁНУШКА. Себе...

ЧЕРТЯКА (*потянулся*). Что же, так мне от тебя ничего и не будет?

АЛЁНУШКА. Понапрасну трёшься...

Чертяка вздохнул, опустил хвост.

Достань-ка мне жёлтых кувшинок и белых лилий...

ЧЕРТЯКА. Буду я для тебя в воду лазить... Поцелуй, достану...

АЛЁНУШКА. Не полезешь?

ЧЕРТЯКА (*пошёл к озеру*). На ночь измокнешь... Трясучку схватишь...

АЛЁНУШКА. Не полезешь?

ЧЕРТЯКА (*кладёт на кочку гармошку, пробует ногой воду*). Хоть бы когда-нибудь поцеловала... Один только раз... Стоит для тебя в воде бултыхаться... (*Лезет в озеро, собирает кувшинки и лилии и ворчит что-то.*)

АЛЁНУШКА (*звонко смеётся*). А ты окунись, будет теплее...

Чертяка лениво бродит по озеру.

Скорее... Какой ты ленивый...

ЧЕРТЯКА. Успеешь... Не стоит для тебя стараться... (*Вылез из воды, отряхивается.*) Хоть бы один раз поцеловала... (*Забрав гармошку, подходит, подаёт кувшинки и лилии.*)

АЛЁНУШКА. Ну, поцелуй ногу... Только смотри: один раз...

Чертяка припал на корточки и целует ногу.

Будет же... будет... пусти... (*Кричит.*) Дедушка Водяной... Дедушка Водяной...

В озере из кочек выставляется голова Водяного.

Что он озорничает...



ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

Чертяка поднимается и стоит, прижавшись к дереву,
как провинившийся школьник, перебирая в руке свой хвост.

ВОДЯНОЙ. Ты опять тут к девке пристаёшь? Обрадовался, что матери дома нет?

ЧЕРТЯКА (*сконфузился*). Что же, и поиграть нельзя? Сама разрешила, а потом...

АЛЁНУШКА. Да. Я тебе велела один раз, а ты... исцарапал ногу... Убирайся отсюда...

ВОДЯНОЙ. Я вот сейчас вылезу... Я тебе, озорник, оборву хвост-то...

ЧЕРТЯКА (*медленно уходя*). Придёшь когда-нибудь к нам в овраг за земляникой... Одной ногой тогда не отделаешься... Попомни это...

АЛЁНУШКА. Не дождёшься... Ногу исцарапал, чёрт проклятый...

ВОДЯНОЙ. Побереги хвост, повеса...

ЧЕРТЯКА (*пропал в чаще леса, удаляясь, играет на гармошке «Матаню» и погпевает*):

Миленький... Часы при вас:

Погляди, который час...

Это, милка, не часы —

Одна цепочка для красы...

АЛЁНУШКА (*надев веночек на голову*). Погляди, дедушка... Хорошо?

ВОДЯНОЙ. У-у... бедовая... Смотри, не ходи одна в овраг за земляникой...

АЛЁНУШКА. Скучно, дедушка... (*Сняла веночек, опустила голову.*)
Некому, дедушка, веночек подарить...

ВОДЯНОЙ. Подари мне...

АЛЁНУШКА. Ты старый, седой... Ты некрасивый, дедушка...

ВОДЯНОЙ. У-у, бедовая... Иди купаться...

АЛЁНУШКА. Холодно...

ВОДЯНОЙ. Я тёплые ключи открою...

АЛЁНУШКА. Не хочу: ты щекотать будешь...

Вдали лай псов, выстрел и охотничий рог.

ВОДЯНОЙ. Тсс...

Водяной исчез. Алёнушка стоит, насторожилась с опущенным в руке венком,
на лице испуг и радость... Лай псов всё дальше и дальше, стихло.

В озерце задрезжала лягушка.



АЛЁНУШКА. Опять пришёл белокурый человек с голубыми глазами... Отчего так загорелись вдруг мои щёки и так сильно забилося сердце? *(Рагостно смеётся.)* Почему я смеюсь?

Вдали кукует кукушка.

Ах, кукушка, у него такие злые собаки... Если бы я встретила его в сумраке леса одного без собак, я подошла бы к нему близко, совсем близко, и надела бы на его русые волосы этот веноч... *(Смолкла, опустила голову.)* У него злые собаки... Кукушка-кукушка... Долго ли мне ждать?

Кукушка вдруг смолкла.

Замолчала. Не знает... Перестаньте, лягушки, дребезжать... Дайте мне послушать, о чём думает лес...

Лягушки смолкли.

Лес шумит, шумит, шумит... И днём и ночью шумит лес... Днём о чём-то тихо шепчет, и мне хочется смеяться, сладко, радостно смеяться, а ночью... Неприветливо шумит лес ночью, точно сердится. За что? Не знаю... Ночью я боюсь тебя, лес... Ты всё ворчишь ночью и пугаешь моё сердце... Ночью мне кажется, что... он... не любит меня... Лес... Не любит он меня? *(Опустив голову, уходит в избу.)* Не знает лес... Никто не знает...

Проходит Пономарь с кузовом грибов за плечами
и гнусаво тянет что-то себе в бороду.

ПОНОМАРЬ. Заморился... *(Сел на пень, отирает пот с лица красным платочком.)* Яко банею омылся с главы до пят... *(Кричит в лес.)* Феодосия... Гм... Сокрылась, яко тать в ночи... *(Кричит.)* Феодосия...

Из кустов показывается Просвирня.

ПРОСВИРНЯ. Здесь я... Не ори...

ПОНОМАРЬ. Не отлучайся от мужа своего...

ПРОСВИРНЯ. С тобой к вечеру не дойдёшь. Всё присаживаешься... Дохлый какой... *(Подожла, села на травке.)* И я разопрела...

Пономарь косится, встал — почёсывает за косичкой и гнусаво тянет что-то.

Жарко... За пазухой, как в котле с кипятком...



ПОНОМАРЬ. Пещь огненная... Не омыться ли нам, Феодосия, в озере?

ПРОСВИРНЯ. Поди, омойся... А я здесь посижу... А потом я пойду...

ПОНОМАРЬ. А ежели, Феодосия, совместно? А? Греха в этом нет...

ПРОСВИРНЯ. Пойдём... чёрт с тобой... Пособи встать-то, дохлый...

Вдали пронзительный свист Лесовика и стук его трещотки. Пономарь и Просвирия испугались и проворно скрылись в лесу. В окне избушки загорается красноватый огонёк. Всплыла над лесом луна, посеребрила озеро, облила лес серебристым туманом. Из глубины озера всплыла Русалка, прислушалась, осмотрелась и, усевшись на кочке, стала расчёсывать волосы. Хруст валежника, мужские голоса. Русалка, вытянув шею, прислушалась и бултыхнулась в воду. Слышен голос Лесовика: «Гляди под ноги-то... Опять упадёшь...» Появляется Лесовик, похожий на старый дубовый пенёк, в лаптях, подпоясанный лыком, за поясом рукавицы, на поясе — караульная колотушка. За Лесовиком идёт Фавн со свирелью.

ЛЕСОВИК. Ну вот и пришли... Погоди-ка здесь, я сейчас... *(Пошёл к избе, заглянул в окошко и вернулся.)*

ФАВН. Куда же ты меня привёл?

ЛЕСОВИК. К нашей Яге... Она с нечистью ласковая... Может быть, к какому-нибудь делу тебя определит. Всё лучше, чем без дела по свету шляться... Человечьего духа она не терпит, а от тебя козлом пахнет — это невредное...

ФАВН. Ну, где же эта Яга?

ЛЕСОВИК. Дома её нет... В город полетела... К полночи вернуться должна... А без неё нехорошо в избу лезть... Не любит она этого беспорядку... Присядь здесь...

ФАВН. Скажи, друг, нимфы у вас водятся? Или феи, наяды, дриады?

ЛЕСОВИК. Лесные бабы, что ли?

ФАВН. Ну да, женщины...

ЛЕСОВИК. Этаких нет, не слышать... У нас одна Баба-Яга, да и та старая...

ФАВН *(вздыхнул)*. Плохо, старик...

ЛЕСОВИК. А ты, видно, большой охотник до баб-то? Хе-хе-хе... *(Похлопал по плечу Фавна.)*

ФАВН. Одна женщина и притом пожилая. *(Сигит и рассматривает своё копыто.)* Ногу испортил... Трудно ходить по вашим лесам...



ЛЕСОВИК. У нас, брат, сам чёрт ногу сломит, а не то, что заблудящийся... Ты, я вижу, привык к мягким муравам да к чистым рощам... Нам нельзя... Мы, брат, в трупобах прячемся... Каждый год глубже в лес уходим... а всё-таки год от году меньше спокою видим... люди смелее делаются...

ФАВН. Ну а в реках и озёрах у вас, кроме рыб, птиц и лягушек, водится что-нибудь?

ЛЕСОВИК. Ты опять насчёт баб? Вон в этом озере живёт молодая бабёнка, только на неё, брат, не рассчитывай, она с утопленниками путается... С нашим братом и знаться не хочет... Человечьих девок много по лесу летом бродит, только ведь... Ты как, креста боишься?

ФАВН. Да... Не люблю и людей в очках с книгами... Они прогнали нас с родины... Это чародеи, пред которыми пропадают все тайны гор, лесов и морей...

ЛЕСОВИК. Наши дуры: пугливые... Все бегут без оглядки, как почуют нас... Ежели на которой креста нет, прямо бери руками... Я двух измял прошлым летом...

АЛЁНУШКА (*голос из избушки*). Кто там разговаривает? Ты, Леший?

Фавн вздрогнул, насторожился, хвост трубой поднял.

ЛЕСОВИК. Я, Алёнушка...

АЛЁНУШКА (*голос*). С кем?

ЛЕСОВИК. Гостя привёл... Заблудящего...

Фавн хотел кинуться на голос, но Лесовик схватил его за хвост.

Погоди... Нехорошо... Вишь какой непутёвый: сразу загорелся...

ФАВН. Не держи меня за хвост, иначе я... (*Лягнулся.*)

ЛЕСОВИК (*уворачиваясь от удара и хватая Фавна за шиворот*). Надо оставить... У нас, брат, этого нельзя, чтобы сразу, как волк на ягнёнка... Это Ягова дочка... Мать узнает, шкуру тебе спустит...

АЛЁНУШКА (*голос*). А кто он, гость? Может быть, белокурый человек с голубыми глазами? Поймал?

ЛЕСОВИК (*тихо*). Человечью девку как ни корми, она всё к людям норовит...

АЛЁНУШКА (*голос*). Поймал? (*Сбегаёт с крыльца, увидя Фавна, останавливается в изумлении и вдруг заливается весёлым звонким смехом.*) Какой смешной... (*Озирает Фавна с головы до ног, протягивает руку.*) Ну, здравствуй... Какие мохнатые ноги... Ты не здешний?

ФАВН (*обиженно*). Я с берегов Бирюзового моря.

ЛЕСОВИК. Чёрт заморский...

ФАВН. Я бедный изгнанник, блуждающий по земле без приюта.

Фавн и Алёнушка пристально вглядываются друг в друга.

АЛЁНУШКА. Ты смешной... Ты ужасно смешной, но... Ты не человек.

ФАВН (*с презрением*). Нет... Я потомок Великого Пана. Я — Фавн, рождённый на берегах Бирюзового моря от избытка радости и сладких грёз весенней ночи... (*Озирает девушку, улыбается.*) Ты похожа на одну из нимф моей родины... У тебя смех и радость в глазах... Но зачем ты скрыла лохмотьями своё гибкое тело?

АЛЁНУШКА (*сконфузилась, потупилась, тербит рубашку*). Это рубашка... Она уже истрепалась, но мать обещала мне подарить новую...

ФАВН. Сбрось эти лохмотья... Хочешь: ты побежишь, а я буду ловить тебя...

ЛЕСОВИК. Вишь куда гнёт... Ну и дошлый...

ФАВН. Сбрось эти лохмотья: они мешают и рукам, и ногам...

АЛЁНУШКА (*раскатилась смехом и побежала прочь к избушке*). Какой смешной... Бесстыдник...

Фавн обескуражен.

ЛЕСОВИК. Как же это, братец, девушке рубаху снять? Ты при матери этого не скажи: она тебе... Чудак, братец...

ФАВН. Почему?

ЛЕСОВИК. Русалка у нас действительно живёт, в чем мать родила, так ведь она — в воде... А когда другой раз на берег выйдет, так вся водяной травой обовьётся и чуть что, если мужчину зачует... сейчас бултых в воду... Вот ежели мужчина утонет, так там уже безо всякого стеснения, потому — дома... А что, неужели у вас все нагишом ходят?

ФАВН. У нас сами боги не скрывали своей наготы...

ЛЕСОВИК. А зимой?

ФАВН. У нас не бывало зимы... У нас вечно цвели розы и вечно зеленели луга и деревья... (*Вспомнил родину и воодушевился.*)

Край счастливый, беспечальный... Край любви обетованный.

Там всё — радость, смех и свет... Там лазурен неба цвет,

Там — и в рощах, и в садах — деревья всегда в цветах,

Там, под сенью раки, нимфа радостная спит...



ЛЕСОВИК. Гм... Чудеса... Тебе у нас несподручно...

ФАВН. Опять пойду... Буду искать, где горячо солнце и не вянут цветы...

ЛЕСОВИК. А я, братец, люблю зимой в лесу ходить: под лаптями похрустывает, деревья, как в серебряном пуху, от морозца потрескивают, по снегу алмазы горят... Хорошо...

Стихли. Фавн грустит. Вдруг плеск воды — в озере, в камышах, показалась Русалка, огляделась, испуганно вскрикнула «Ах» и спряталась.

ФАВН (привставая). Наяда?

ЛЕСОВИК. Русалка это... *(Тихо сплетничает.)* Всё охотника молодого ждёт... Обеим девкам вскружил голову... Обе из человеческого роду, вот их и тянет к человеку... Только одной надо живого, а другой мёртвого... Обе ко мне пристают: обойди да приведи. А на нём крест... Да ведь оно и то сказать: Ягова девчонка в возраст пришла, не понимает ещё, а чует что-то... что любить пора... Хоть и выросла с нами, а природа всё сказывается...

АЛЁНУШКА. Леший... Иди сюда... Мне скучно...

ЛЕСОВИК. Ты посиди покуда, а я сбегаяю... Чего она там?

Фавн посидел на пенёчке и побрёл к озеру. Усевшись на берегу, он играет на свирели, желая выманить Русалку. Лесовик вернулся, увидел Фавна.

ЛЕСОВИК. Вишь, хитрый какой... Её, брат, не обманешь дудочкой.

ФАВН *(печально возвращается.)* Не выходит...

ЛЕСОВИК. Она, братец, баба твёрдая... умная баба... Утопись, тогда, может, и получишь...

ФАВН. Сыро. Холодно...

ЛЕСОВИК. Зяблый ты: только ночь упала, а ты уж и жмёшься... Теперь ещё ничего, а вот к утру зубами пощёлкаешь. Надо тебя уважить, огонёк запалить. На-ка покуда кафтан, прикройся, милёнок. В чужом краю всяка тварь — сирота.

ФАВН *(печально.)* Путь тяжёлый и далёкий...

Всем чужой и одинокий, я скитаюсь много лет,
а конца скитаньям нет.

Вечный страх — моя стихия. Недра гор, леса глухие —
Мне пристанище теперь... Вместо Нимфы — дикий зверь.

Лесовик наломал хворосту, высек огнём огня, разжёг костёр.
Фавн и Лесовик присели.



ЛЕСОВИК (*набил и закурил трубку*). Не хочешь ли махорочкой побаловаться?

Фавн брезгливо отворачивается и кашляет.

Не любишь? Которые не выносят... Понимать надо... (*Разглядывает ноги и хвост Фавна*). Копыто у тебя обнакновенное, как у чёрта, а вот хвост... занятный у тебя хвост... За один хвост тебя полюбить баба может... Верно... Хм... А блоха, поди, всё-таки есть?

ФАВН. Оставь хвост... Это неделикатно...

ЛЕСОВИК. Поберегать надо... Вон у нашего Чертяки весь хвост моль объела... Молодой, а хвост, как у голодной коровы...

ФАВН (*рагостно*). У вас водятся коровы?

ЛЕСОВИК. И коровы, и овцы, и бараны...

ФАВН. Их пасут пастушки?

ЛЕСОВИК. Пастухи с собаками.

ФАВН (*вздохнул*). Печально...

Тихо. Вдали прозвучала гармоника. Фавн вскочил и хотел бежать.

ЛЕСОВИК (*удерживая*). Не бойся... Сиди... Думаешь, человек? Нет. Это наш Чертяка. (*Подкладывая в костёр хворосту*.) Избаловался парень... По ярмаркам да по гульбищам водку пьёт, пряники ест, с деревенскими колдуньями путается. Совсем своё дело позабыл... Скоро его люди и бояться перестанут... (*Вздохнул*.) Не так было в старое время: бывало, чёртом обругаться боялись, а теперь... (*Махнул рукой*.) Ни Богом, ни чёртом не напугаешь... На той неделе с Просвирней его в лесу встретил: оба выпимши, под руку друг дружку ведут и поют... (*Тихо*.) Да что поют-то? Сказать нехорошо...

Вдали колокольчики.

Тсс... Тихо... Опять колокольчики... Хм... (*Слушает*.) Почитай, каждый день колокольчики стали звенеть... Раньше этой дорогой боялись ездить... (*Вдруг резко засвистел и захохотал, эхо прокатилось по лесу*.) Теперь и Ягу не так уж боятся... А кто виноват? Сами, милый... Всё охота на людей походить... На старости лет прихорашиваться стала наша Яга... Тсс... Не иначе как опять купец едет... Купцы с ярмарки едут... Попугать надо... давай-ка кафтан-то... (*Надевает кафтан*.) Пойду лошадок обойду, тарантас под овраг спущу, колесо сломаю либо сердешник вытащу.

Сказочное путешествие

Лесовик засвистал, деловито пошёл в лес и застучал колотушкой. Фавн боится. Прислушивается... Когда всё стихло, он влез на плакучую берёзу, поиграл на свирели, потом сладко позевнул, почесался и заснул. Луна встала выше и залила лес голубоватой дымкой. Где-то защёлкал соловушек. Лягушка выскочила из озера, допрыгала до Фавна и, вытаращив глаза, уставилась на него. Фавн шевельнул хвостом. Лягушка испугалась, заквакала и бултыхнулась в озеро. Из кустов выскочил Заяц, понюхал Фавна, чихнул и скрылся. Русалка всплыла над водой и тихо запела жалобную песенку, за ней вылез Водяной и стал пускать изо рта пузыри в воду. Но ветерок донёс звон колокольчиков, и Русалка с Водяным скрылись. Из чащи выходит Чертяка с горшком, наполненным горящими светлячками.

Он крадётся к окошку и смотрит в избушку.

ЧЕРТЯКА (*умилённо, тихо*). Милая... Зазнобушка... О чём грустишь, красота моя? (*Вздохнул. Тихо стучит в окно.*)

Оконце поднимается.

АЛЁНУШКА. Кто там?

ЧЕРТЯКА. Я принёс тебе светлячков... Поцелуй хоть один раз. (*Протягивает горшок.*)

АЛЁНУШКА (*опуская оконце*). Убирайся... Не люблю...

ЧЕРТЯКА. Знаю я, кого тебе надо... Только бы встретить... Удавлю я его на осине...

Отошёл, сел на пенёк и потихоньку плачет. Где-то щёлкает соловушек. Фавн завозился, проснулся и уставился на Чертяку, а тот, случайно увидя Фавна, перестал вдруг плакать и уставился на него. Фавн спрыгнул с дерева. Чертяка бросился прочь, фыркает, потом они оба встали неподвижно, начинают махать хвостами, улыбаться и приближаться друг к другу, потом подают друг другу руки

и радостно смеются.

ЗАНАВЕС ТИХО ПАДАЕТ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Та же декорация. Разгорается румяная заря утра. Лес постепенно наполняется радостным щебетанием птиц. Над озером колыхается и тает белый туман. Русалка купается, садится на зелёной кочке и расчёсывает волосы. С криканьем поднимаются и улетают куда-то дикие утки... Чертяка, свернувшись клубочком, спит под упавшей берёзой, около него гармоника и недопитая бутылка водки... Где-то закуковала кукушка... Из избушки выходит Алёнушка с полотенцем на руке.

АЛЁНУШКА. Встану я поутру раненько, умоюсь водицей студёной, утрюсь белым полотенцем... (*Идёт к озеру, умывается, утирается.*) Красной зорьке улыбнуся, а тебе, сыр-дремучий лес, поклонюся...

Алёнушка кланяется в пояс лесу. Из кустов смотрит Фавн.

ФАВН. Она молится Великому Пану...

АЛЁНУШКА. Шуми, сыр-дремучий лес, тихо, ласково... Навей сладкую грусть-тоску на милого... Шепни ему, сыр-дремучий лес, про любовь мою, про тоску мою, про пугливое сердце девичье... Не буди его, сыр-дремучий лес, а потихоньку скажи ему на ушко, что сохнет по нём девица красная, что сгорает она от огней розовых на заре утренней и вечерней...

Кукует вдали кукушка.

Плачет бедная кукушечка, одинокая сиротинушка... (*Тихо заплакала.*) По милому дружку сокрушается...

ФАВН. Не плачь, милая лесная девушка...

АЛЁНУШКА (*испугалась и сконфузилась*). Ах... Это кто? Ты это? Я не плакала... Нет, нет... О чём же мне плакать... Смешной ты... О чём мне плакать?

ФАВН. Ты плакала о Великом Пане? Не плачь... Не верь, что он умер... Он жив. Он скрывается в неведомых странах, где нет горя, а только великая радость, где люди как боги, а боги как люди...

АЛЁНУШКА. А где же эти неведомые страны?

ФАВН. Надо искать. Никто не знает, а кто знал, те забыли или умерли... Он вернётся. Будем искать его с трепетом в сердце, с улыбкой на устах, с любовью в глазах...

АЛЁНУШКА (*печально*). Я не знаю, о чём ты говоришь... Не понимаю тебя...



ФАВН (*приближаясь*). Хочешь, я поучу тебя молиться Великому Пану?

Из избы вышла злая, растрёпанная Яга, прислушивается,
крадётся, как кошка.

Подойди ближе... Почему ты боишься меня?

АЛЁНУШКА. Я не боюсь... Нет... А может твой бог сделать так... (*Потупилась*.) Чтобы... меня... полюбили?... Этого никто не может...

ФАВН. Может... Он уже сделал это... (*Обнял и целует девушку, та вырывается*).

АЛЁНУШКА. Я закричу... закричу... Оставь ты меня... Бесстыдник...

БАБА-ЯГА (*выбегая*). Нет...

Фавн отскочил, виновато смеётся. Яга подошла, накинула ему на шею платок и увела в избу, потом вернулась и набросилась на Алёнушку.

Ах ты, поганка... Целуется с мужчиной чуть не на глазах у матери...

АЛЁНУШКА. Он насильно поцеловал...

БАБА-ЯГА. У вас, девок, всегда насильно...

Выглянул Водяной и вместе с Русалкой
с любопытством прислушиваются к ссоре.

Меня этим не проведёшь, поганка...

АЛЁНУШКА. Прогони его вон, если боишься, что я... Сама к нему лезешь, а...

БАБА-ЯГА. Молчи, поганка... Не твоё дело мать учить...

АЛЁНУШКА (*пошла со слезами прочь*). А вот ты с ним целуешься... Сама я видела...

БАБА-ЯГА (*топает ногами*). Вон, гадина... Чтобы глаза мои не видели тебя... (*Погналась за Алёнушкой*.)

Алёнушка сбежала к озеру, села на бережке и плачет...
Потом уходит в лес. Яга возвращается назад и видит спящего Чертяку.

Ах вы, черти проклятые... Солнце взошло, а он спит, как младенчик... (*Взяла бутылку, выпила через горлышко остатки водки*.) Налопался водки и храпит... (*Пнула Чертяку ногой*.) Проснись, окаянный, чтоб тебя разорвало...

ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

Чертяка сел, чешется.

У-у... Пьяница... Протри зенки-то... Опять рога обломал...

ЧЕРТЯКА *(сильным голосом)*. Вчерась с Пономарём подрались...

БАБА-ЯГА. Иди, неси дров, топи печку... *(Пошла в хлевушек.)*

Ступку вычисти, метлу приготовь...

ЧЕРТЯКА. В одну минуту... *(Встал, потянулся. Хотел топнуть водку.)* Ах... Сlopала, старая карга... *(Нехотя пошёл за дровами.)*

БАБА-ЯГА *(ведёт из избы Фавна на верёвке на водопой)*. Что хвост-то повесил?.. Когда с девчонкой говоришь, так трубой его держишь, а на меня глядеть не хочешь...

ФАВН. Пить хочу.

БАБА-ЯГА. Ну, иди, что ли... *(Ведёт его к озеру.)* Что это у тебя? Погоди-ка... *(Остановилась.)* Никак облезать стал? *(Рассматривает и приглаживает шерсть. Оглянулась по сторонам.)* Обними покрепче... *(Фавн нехотя обнимает Ягу.)*

ФАВН. Пить хочу...

БАБА-ЯГА *(ласково)*. Пойдем... Кабы ты, бесчувственный, понимал мою любовь...

Русалка захохотала, захлопала в ладоши и скрылась.

ВОДЯНОЙ. Старая баба, один зуб остался... Тьфу...

БАБА-ЯГА. Ты мне не свёкор, а я тебе не сноха... За собой наблюдай, старый хрыч... *(Фавну.)* Пей... Плюнь на них...

ВОДЯНОЙ. Ни стыда, ни совести... *(Побулькал в воде пузырями и спрятался.)*

ФАВН. Сними верёвку-то... Не могу воду достать... Это просто варварство...

БАБА-ЯГА. Кабы ты был порядочного поведения, я не держала бы тебя на верёвке... Для твоей же пользы: ты за бабой готов на край света побежать... Себя не помнишь... А теперь поберегаться надо — как раз в лапы людям попадёшь. Тебя же жалею... Пей больше, воды не жалко...

ФАВН. Не хочу. *(Сел.)* Верёвка мешает...

БАБА-ЯГА. Ну, пойдём в избу.

Чертяка несёт в избу дрова.

ФАВН. Если бы ты меня любила, ты не держала бы меня на верёвке... Разве можно любить на верёвке?



БАБА-ЯГА. А кабы ты любил, не понадобилась бы и верёвка... Иди в избу... Чайку попьём... блинов поедим... Будет хныкать-то, не махонький. *(Ведёт Фавна в избу.)*

ЧЕРТЯКА *(выносит из избы самовар, встряхивает, разжигает огонь, ворчит)*. В аду жить лучше, чем у этой старой бабы... Спокою ни днём ни ночью не знаешь... Я не обязан твоим любовникам прислуживать... То в город беги за сахаром, то достань ей мази для волос, то мёду, то... Уж не знаю, ещё чего захочешь, окаянная...

Из лесу крадётся Алёнушка.

АЛЁНУШКА *(у дерева)*. Где она, проклятая?

ЧЕРТЯКА. В избе она... *(Поглядел, вздохнул.)*

АЛЁНУШКА. Пропала моя головушка... *(Тихо плачет, отирая слёзы рукавом.)*

ЧЕРТЯКА. Ушла бы куда-нибудь... Навеки...

АЛЁНУШКА. Некуда, Чёртушка...

ЧЕРТЯКА. В город ушла бы... В услужение к господам поступила бы...

АЛЁНУШКА. Боюсь, Чёртушка...

ЧЕРТЯКА. Хочешь, вместе уйдём, а? *(Погскакал, опустил на корточки около девушки.)*

АЛЁНУШКА. Нет.

ЧЕРТЯКА. Как хочешь... Не заплачу... Эх, ты... Как я тебя любил... Как я страдал по тебе... Ну а теперь перегорело моё сердце, как угли в самоваре... Зола и пепел...

АЛЁНУШКА. Прости меня, Чёртушка... Сам знаешь: другого люблю...

ЧЕРТЯКА *(раздражённо)*. Не растравляй... Иди, куда хочешь...

Алёнушка, понуриив голову, медленно скрывается в кустах.

Пожалеешь потом, да поздно будет... Сама придёшь... «Возьми меня, Чёртушка» скажешь. Только напрасно. Атанде, мамзель, с авансами... И больше никаких... *(Смотрится в самовар.)* Что я, хуже других, что ли? Много вас... Не заплачем... *(Стучит самоваром.)*

Появляется встревоженный Лесовик, тяжело дышит, отдувается.

ЛЕСОВИК. Уф... Инда не отдышусь... Где Яга-то?

ЧЕРТЯКА *(со злостью)*. В избе...



ЛЕСОВИК. У нас неблагополучно... *(Идёт к избе.)*

ЧЕРТЯКА *(останавливает Лесовика)*. Не ходи... Без доклада не велит теперь пускать...

ЛЕСОВИК. Что же это за порядки... Как же можно ждать, когда со всех сторон в старый бор люди идут...

ЧЕРТЯКА. Неужто?

ЛЕСОВИК. С топорами, с лопатами, с пилами... Шалашы поставили, огни разжигают... Что, милый, делать-то будем?.. Куда теперь нам? Покричи Ягу-то...

ЧЕРТЯКА. Она не одна: с миленьким... *(Сплетничает что-то на ухо, хихикает.)* Вчера меня в город послала за тюфяком. Жёстко спать, говорит, кости болят...

ЛЕСОВИК *(плюнул)*. Тьфу... Одна глупость на уме. *(Погошёл к окну, стучит палкой в подоконник.)* Эй... Яга... Дома, что ли? *(Ответа нет. Заглянув в окно, плюнул и отошёл.)* Погодить надо... Ах ты, драть тебя с хвоста...

В избе крик Яги. С крыльца идёт провинившийся в чём-то Фавн.

БАБА-ЯГА *(голос в сенцах)*. Какой же ты мужчина? Баба ты пареная...

ФАВН *(пожимая плечами)*. Я не виноват... *(Погошёл, шепчется с Чертякой.)*

Чертяка осторожно хихикает. Лесовик идёт в избу.

ЧЕРТЯКА. Попал, братец...

ФАВН. Злая женщина... Царапается... как кошка...

БАБА-ЯГА *(в окно)*. Чёрт... Привяжи его, олуха, покуда к берёзе: пусть попасётся... *(Выкинула верёвку.)*

ЧЕРТЯКА *(вздохнул)*. Иди, брат... На меня не сердись... Я ведь не по своей воле тебя привязываю... *(Неуверенно идёт к Фавну с верёвкой, побаивается, манит к себе.)*

Фавн опускает голову и повинуется.

Я тебе подлиннее конец-то пушу... Всё веселее будет... А ужо уедет Яга, гулять пойдём... На Новый хутор дачники приехали... Бабы есть... *(Подмигнул.)*

ФАВН *(потрогал верёвку)*. Разве можно любить без радости...

ЧЕРТЯКА. Ей, карге, всё равно... Ей бы только мужик крепкий.

ФАВН. А Леший? Ведь она его подруга, насколько я понимаю...



ЧЕРТЯКА. Леший? Гм... Стар... А главное, он строгой жизни. Он, братец, на этот счёт блюдёт себя...

БАБА-ЯГА (в окно). Эй, ты... Приготовь ступку и метлу...

ЧЕРТЯКА. Сию минуту... Ехать хочет... (Потирает руки.) Помалкивай... (Приготавливает ступку и метлу.) Погляди за самоваром-то...

Фавн раздувает самовар.

Ступка-то трещину дала... Того и гляди развалится... В ремонт пора...

В избе строгий голос Яги: «Не учи, сама знаю».

С крыльца идёт Лесовик без шапки.

ЛЕСОВИК. Сейчас на Лысую гору поедет... Ай-ай, строптивая. Вы тут, молодчики, не спите... Время такое, что всем надо потрудиться...

ЧЕРТЯКА. На верёвке держит... У совести её... Его привязала, а меня сторожем поставила... Чего тут сделаешь?

ФАВН. Она боится, что я убегу... Не верит честному слову. Да пусть Венера поразит меня любовью к этой старой женщине, если я не сдержу своей клятвы. Я привык, чтобы мне верили...

С крыльца идёт Яга в образе старушки из богадельни,
в белом чепчике с кружевцами, направляется к ступке.
За ней идёт Лесовик и убеждает спустить Фавна с верёвки.

ЛЕСОВИК. Этакого заморского чёрта да в дело не употребить. По нашим местам он может такого страху на человека нагнать, что на сто вёрст наши места обходить будут...

Яга садится в ступку, Чертяка и Леший помогают.

БАБА-ЯГА. Хорошо: спусти его с верёвки... Только чтобы не убежал...

ЧЕРТЯКА. Я за ним погляжу... Он пугливый... Один не убежит.

БАБА-ЯГА. Бабу увидит, ничем не удержишь... Такой характер...

ЧЕРТЯКА. Да я за версту бабу не подпущу... Чтобы я дозволил ему...

БАБА-ЯГА. Ну ладно, спустите... Только уже поглядывать надо, чтобы...

ЧЕРТЯКА. Будь покойна...

ЛЕСОВИК. Куда он побежит? Он нездешний...



Чертяка подал метлу. Яга уехала.

ЛЕСОВИК (Фавну). Скажи мне спасибо... Я тебя из верёвки вызволил... *(Развязывает верёвку.)*

ФАВН *(кланяется)*. Я тебе, старик, очень признателен!.. Очень... Ведь это же варварство... Я не козёл и не бычок, чтобы... Я — потомок Великого Пана...

ЧЕРТЯКА *(радостно перекувыркнулся на траве и побежал к самовару)*. Старик, давай чай пить...

Леший подсел, Фавн стоит поодаль.

А ты, немец? Хоть чашечку налью? С мёдом?

ФАВН. Не хочу... Я люблю виноградный сок...

ЛЕСОВИК. Как это чайку не попить? Чудной народец... Понимать надо... Шёл я давеча по дороге и нашёл вот эту бумагу... *(Вынул из-за пазухи свёрнутую газету.)*

ЧЕРТЯКА. Газета это... Дай-ка сюда... *(Вырвал из руки Лешего и развёртывает.)*

ЛЕСОВИК. Что в ней прописано? Про нас нет ли чего?

ЧЕРТЯКА. Про себя они это пишут... Наплевать им на нас... *(Читает по складкам.)* «Да-ма средних лет ищет молодого домашнего секретаря с высшим образованием»...

ЛЕСОВИК. Гм... Как теперь эти слова понять? Про что она тут?

ЧЕРТЯКА. Как же это не понять? Очень даже понятно... *(Что-то шепчет на ухо Лешему.)*

ЛЕСОВИК. Да неужели? Ах ты...

ЧЕРТЯКА. Кабы я где курс кончил... Вот немец... Ты и читаешь прытко, и писать можешь... Всласть пожил бы...

ФАВН. Не желаю... Оставь меня... *(Тихо пошёл и скрылся в кустах.)*

ЛЕСОВИК. Хороший он парень... Люблю его... Повадка у него хорошая...

Вдали звон колокольчиков.

Слышишь? Опять едут... Ах, дела-дела... Чайку попить некогда... *(Встал, попугал хохотом.)* Идти надо... Не боятся... Ах ты... *(Ушёл в лес.)*

Чертяка пьёт чай с блюдечка и важно читает газету.
На сосогоре появляются две женщины в светлых костюмах,
в соломенных шляпах, под цветными зонтиками.



ДЕВУШКА (*припадая к траве*). Мама... Земляника... Красивая... душистая... У-у... как много...

ДАМА (*припадая*). Ах... действительно... Какая масса... Давай набирать к обеду... со сливками...

Дама и Девушка бросили на траву раскрытые зонтики, сумочки и шляпки... Ползают и едят землянику. Расползлись в разные стороны.

Ты, кажется, собираешь прямо в рот...

ДЕВУШКА. Неправда... Я ем только самую спелую, которая мнётся в руке... Ах... прелесть... Какая вкусная... Мама... Гриб... Я нашла большой белый гриб... (*Бежит с грибом.*) Посмотри: сростись два вместе: большой и маленький, словно мать с ребёночком...

ДАМА. Это хорошее предзнаменование...

ДЕВУШКА. Правда?

ДАМА. Это значит, что ты в нынешнем году выйдешь замуж. Ах... И я нашла... И представь: тоже двойняшка...

ДЕВУШКА. Я буду собирать грибы, а ты землянику... (*Отходит, скрывается в лесу.*)

ДАМА (*села, вынула из сумочки зеркальце, смотрится, охорашивается и, вздохнув, сентиментально произносит*). Так мало прожито, так много пережито... (*Рассматривает гриб, качает головой.*)

Вдруг раздаётся испуганный крик, Девушка бежит к матери.

ДЕВУШКА. Мама... Там кто-то шевелится...

ДАМА. Ах, как ты меня напугала... Можно ли так визжать... Сумасшедшая...

ДЕВУШКА (*оглядываясь назад*). Кто-то живой, страшный...

ДАМА. Наверно... увидала зайца и... Трусиха...

ДЕВУШКА. Не заяц, мама... Большой, мохнатый... Я боюсь...

ДАМА. Ну кто же можете быть? Медведь... (*Встала, оправляет причёску и платье.*)

ДЕВУШКА. Не знаю... Похоже на огромную обезьяну... Уйдём... Я видела... Видела... Ну, скорей же... (*Тянет мать за рукав.*)

ДАМА. Ах, наказание какое... Дай же мне хоть застегнуться...

Снова отчаянный визг Девушки: из кустов выскакивает Фавн, женщины, побросав зонтики, шляпы и сумочки, стремительно бегут в лес. Девушка скрывается, а Дама в изнеможении падает. Фавн радостно хохочет, прыгает около Дамы, та теряет сознание. Чертяка бросает чай, бежит на косогор. Фавн наклоняется над Дамой, обходит её со всех сторон, потом садится на корточки и плотоядно смотрит ей в лицо. Приближается Чертяка.

ЧЕРТЯКА. Поймал? *(Посмотрел на Даму, презрительно махнул рукой и, собрав зонтики, сумочки и шляпы, понёс их в избу. Расположившись на крыльце, он любуется вещами.)* Один зонтик Просвирне, а другой... Яга возьмёт, чёрт с ней... Коробочка... Зеркало... Шпильки... Платочек... Это годится... *(Спрятал под мышки.)* Два двугривенных... Вот это приятно... *(Взял под мышку гармонику, зонтик, одну шляпку и пошёл.)* Эй ты, немец... Брось её... Grosh ей цена... Пойдём разгуляться к Просвирне... *(Скрылся в лесу.)*

ДАМА *(шевелится, открывает глаза)*. Где я? Что со мной?

ФАВН. Не бойся... Я тебе не сделаю ничего дурного...

ДАМА *(приподнялась на локте, сперва испугалась)*. Кто это? *(Дама улыбнулась.)* Неужели? Сон это или... Да ведь это Фавн...

ФАВН. Ты не ошиблась... *(Обнял её за талию.)* Почему ты такая жёсткая?

ДАМА *(ласково отстраняя его руку)*. Однако... Это слишком... Ты не думай, что я какая-нибудь... Оставь руку... Я дама из общества...

ФАВН. Почему ты такая жёсткая? *(Обнял снова за талию и укололся.)* Ай... Почему ты колючая? И жёсткая?

ДАМА *(смеётся)*. Жёсткая? Вот наивность... Я в корсете... Отвернись: я должна привести в порядок свой костюм... Ну... Отвернись же...

Фавн отвернулся. Дама застёгивается, оправляет причёску.

Ты укололся булавкой... Ах, какой смешной... Теперь можешь смотреть... Только смотреть... *(Грозит ему пальцем.)* Имей в виду, что только полгода тому назад я похоронила своего мужа...

ФАВН. Хочешь, будем играть?

ДАМА. Играть? Ты совсем мальчик... Взрослый мальчик... Помоги мне встать...

Фавн вскакивает.

Дай мне твою руку...

ФАВН *(гал руку)*. Хочешь, будем бегать: ты беги и прячься, а я буду тебя искать и ловить...

ДАМА *(покачала головой)*. Лучше мы погуляем... *(Взяла Фавна под руку, идут в ту сторону, куда убежала Девушка.)* Нет, мы пойдём лучше туда, под горку... к озеру... Там прохладнее... *(Остановилась, кричит.)* Ли-на... Ау... *(Слушает. Ответа нет.)* Убежала... Имей в виду, что я здесь не одна: со мной моя девочка... Ты ужасно напугал ребёнка... *(Вырвала руку и побежала.)* Ну, лови...



Оба со смехом скрылись в кустах оврага. Оттуда пробежал испуганный заяц, слетела какая-то птица, с озера снялась и улетела с криканьем дикая утка. Всё стихло. Вдруг где-то плачет и кричит Дама. Стихло. Из кустов бежит Фавн и несёт шёлковую юбку и парик. Юбку бросил у крыльца, сел на упавшую берёзу и с удивлением рассматривает парик, пожимает плечами.

ФАВН. Это, несомненно, волшебница: из молодой и красивой она превратилась в лысую и беззубую старуху... *(Выронил парик, смотрит на него и боится поднять, потом пятится и вдруг начинает карабкаться на дерево... Забрался на толстый сук и спрятался в зелёных ветвях берёзы, видна одна только мохнатая нога с копытом.)*

АЛЁНУШКА *(несмело подходит к избе, всматривается, прислушивается, заглядывает в окно, радостно вздыхает)*. Никого нет... Одна... Я люблю быть одна... *(Увидала шёлковую юбку.)* Ах... Что такое? Здесь была человеческая женщина? Но где же она? *(Вошла в избу, вернулась.)* Нет никого... Может быть, это принёс мне белокурый человек с голубыми глазами? Он так ласково тогда смотрел на меня в лесу... Может быть, он любит меня... *(Рассматривает юбку.)* Как она шумит... Ах, да тут и зонтик, и шляпа... Ну, конечно, это он, белокурый человек с голубыми глазами... *(Надела шляпу, взяла зонтик и, погладив левою рукой по голубой юбке, пошла к озеру.)* Дедушка... Дедушка Водяной...

Из озера выглянул Водяной, испугался и спрятался.

Не узнал... Дедушка Водяной... Не бойся... Это я, Алёнушка... Боится... Русалка, выплыви, погляди на меня... Не хочет... *(Вздохнула.)* Некому на меня поглядеть... Пойду на дорогу... Может быть, он... Лягушки, скажите мне, любит он меня или нет...

Затрещали лягушки.

Молчите... Вы ничего не знаете...

Лягушки замолчали.

А я знаю... У меня радостно стучит сердце... *(Тихо пошла в лес, мелодично, протяжно кричит.)* Ау, ау, ау.

Грохнул далёкий выстрел, и прозвучал рожок. Алёнушка скрылась и снова, как лебедь, кричит где-то: «Ау, ау, ау». И снова ей вторит рожок. Из кустов идут под ручку Чертяка с Просвирней. Чертяка в жилетке, навеселе, у Просвирни — зонтик и платочек, которым она обмахивается.

ЧЕРТЯКА. Довольны ли подарочками?

ПРОСВИРНЯ. Очень растрогали... Платочек душистый... Зонтик модный... Почём брали?

ЧЕРТЯКА. Ничего не составляет... За рупь, за двадцать пять с полтиной... Не угодно ли семечками позабавиться?

ПРОСВИРНЯ. К этому я вполне равнодушна... Вы сыграли бы что-нибудь хорошенькое для времяпровождения... Скоро надо домой: Пономарь вернётся...

ЧЕРТЯКА. Отчего же не сыграть... С полным даже удовольствием, ваш покорный слуга... *(Заиграл «Матаню» и запел.)*

В том конце на улице
Лупят милку на крыльце,
Поглядеть хотелось,
Да как она вертелася...

ПРОСВИРНЯ. А вы спойте что-нибудь чувствительное...

ЧЕРТЯКА *(поёт)*.

Милая Федося, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся. *(Заигрывает.)*

ПРОСВИРНЯ. Ах, оставьте... Я щекотливая... *(Проходят по оврагу и скрываются.)*

ФАВН. Пьяница и вор... Обокрал меня и подарил своей даме. Не нравится мне здешнее общество... Старые женщины, мужики, водка, скверные слова...

Вдали резкий свист и хохот Лешего.

Ну вот, опять этот грубый мужик идёт... *(Спрятался в ветвях берёзы.)* Надоели...

ЛЕСОВИК *(выходит из лесу)*. Эй... Кто дома есть? *(Молчание.)* Все разбежались... *(Увидел парик, потом зубы.)* Видно, барыню с Нового хутора поймали... Вон ведь как они её обделали: только голову да зубы оставили... Гм... Да и голова-то пустая... кожа да волосы... Это уж беспрременно заморский чёрт орудовал: наши так аккуратно не могут... *(Походил, увидел ногу Фавна.)* А-а... Вон он где... Словно птица заморская... *(Подошёл, поднял вверх бороду.)* Вишь: съел барыню без остатков и спит... Слезай, будет нежиться... *(Дёрнул Фавна за ногу.)*



ФАВН. Не дёргай, пожалуйста, меня ни за ноги, ни за хвост.

ЛЕСОВИК. А что так?

ФАВН. Это не деликатно... *(Слезает.)*

ЛЕСОВИК. Это ты барыню разделал?

ФАВН *(сердито)*. Я...

ЛЕСОВИК. Молодчина, брат... Яга вернулась?

ФАВН. Нет...

ЛЕСОВИК. А где Чертяка?

ФАВН. Там...

Вдали гармоника.

ЛЕСОВИК. Ах, бездельник... Другие работают, а он, подлец, нога об ногу не ударит... Один?

ФАВН *(презрительно)*. С толстой женщиной...

ЛЕСОВИК. Вот я его накрою... Будет он у меня шаромыжничать... *(Деловитой походкой ушёл и исчез под оврагом.)*

ПОНОМАРЬ *(проходит меж деревьев и кустов, зовёт)*. Феодосия... Феодосия... Ого-го-го... Феодосия...

РУСАЛКА *(выглянула из камышей)*. Ау...

ПОНОМАРЬ *(изумлён)*. Не она... Кто там в камышах? Ого-го.

РУСАЛКА. Ау... *(Спряталась.)*

ПОНОМАРЬ. Гм... Звонкий голос, блудом напоённый.

Русалка села на кочке, расчёсывает волосы.

Греховное обольщение... *(Крадётся, смотрит через кусты.)*

РУСАЛКА. Кто там крадётся... А-а... Мужчина с косой... *(Смеётся.)*

ПОНОМАРЬ. Я полагал, утопающая взывает о помощи...

РУСАЛКА. Хотел спасти? Иди сюда...

ПОНОМАРЬ. Кто ты такая?

РУСАЛКА. Женщина...

ПОНОМАРЬ. Вижу... Я относительно звания и местожительства...

РУСАЛКА. Разве тебе не всё равно?.. Кого ты ищешь? Женщину?

ПОНОМАРЬ. Не женщину ищу я, а свою законную жену Феодосию.

РУСАЛКА. Посмотри, кто из нас лучше: я или Феодосия? Иди, расчешу мне волосы — они спутались...



ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

ПОНОМАРЬ. Гм... Волос долог, а ум короток... Разве ты не видишь, какого я звания? Хоть бы спряталась...

РУСАЛКА. Иди... Спрячемся в камышах и будем слушать, как они шепчутся между собой...

ПОНОМАРЬ (*боязливо огляделся*). А ты тише... Говорю, жена тут ходит где-то...

РУСАЛКА. Ты труслив, как заяц, и...

ПОНОМАРЬ. Не то, чтобы трусливый, а ежели кто увидит... очень уж нехорошо для моего звания... (*Немного приблизился.*) Вероятно, вода холодная...

РУСАЛКА. Иди попробуй...

ПОНОМАРЬ (*пробует воду*). Глубоко тут?

РУСАЛКА. Мелко... Я сижу на дне...

ПОНОМАРЬ. А ну-ка встань...

РУСАЛКА. Какой ты хитрый... Иди купаться...

ПОНОМАРЬ (*огляделся*). В моём звании совместное купание с лицом женского пола...

РУСАЛКА. А ты сбрось своё звание на траву, а сам...

ПОНОМАРЬ. Лучше вылезай на бережок... Здесь во мхах мягко... Посидим рядом — потолкуем ладком... (*Сел, манит русалку рукой и головой.*)

РУСАЛКА. Поймай меня... (*Шумно плеснулась и скрылась.*)

ПОНОМАРЬ. Гм... Где она? (*Привстал.*) Пропала... Гм... И день-то сегодня постный... Ах ты... (*Вздохнул и, присев, решительно стал снимать сапоги.*) Во грехе родимся...

В этот момент раздался свист Лесовика. Пономарь схватил снятый сапог и опрометью побежал в лес, следом за ним бежит испуганная Просвирня с зонтиком под мышкой. Фавн, думая, что Просвирня гонится за ним, без оглядки мчится в чащу леса. Русалка звонко смеётся.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

Та же декорация. Перед рассветом. У костра сидят Лесовик, Фавн и Чертяка. Говорят осторожно, таинственно.

ЧЕРТЯКА. Куда ты побежишь? Некуда...

ЛЕСОВИК. Я в Сибирь, в тайгу уйду... *(К Фавну.)* Пойдём, немец, на привольные места... Там такие леса — конца-краю нет.

ФАВН. Не знаю, ничего не знаю... *(Дрожит, ёжится.)*

ЧЕРТЯКА. Куда ему... Коли его там комары не заедят, так всё одно зимой от стужи околеет...

ЛЕСОВИК. Всё врозь... В старое время крепко друг за дружку держались, а теперь... К лёгкой жизни все рвутся... На погибель она всем нам...

ЧЕРТЯКА. А по-моему, Яга правильно объясняет: старой жизни конец пришёл, никуда не спрячешься, надо приспособиться, чтобы промежду людей жить и своё дело делать...

ЛЕСОВИК. Я, брат, старовер: я на это не пойду... По-моему, лучше на осину, чем в город...

ЧЕРТЯКА. Да ты был ли когда-нибудь в городе-то?

ЛЕСОВИК. Не был... И никогда близко не подойду...

ЧЕРТЯКА. Вот то-то и есть... У тебя, старик, понятия настоящего нет...

ФАВН. Странно вы, Чёрт, рассуждаете... В лучшем случае мы очутимся в городе на положении рабочего скота... А вернее всего, попадём в руки учёных людей и окажемся в железной клетке какого-нибудь музея, а по смерти найдём могилу в банке со спиртом...

ЛЕСОВИК. Правильно говоришь... Сколь было всякой нечисти в старое время, а где теперь она?

ЧЕРТЯКА. Дураки были. В своём виде хотели... А теперь научились... Ты думаешь, мало в городе всякой нечисти проживает?

ЛЕСОВИК. Конец приходит...

ЧЕРТЯКА *(мечтательно)*. В городе даже очень хорошо... Весело... На каждом углу — трахтер, музыка гремит, лошади взад-вперёд по улицам скачут, народ валом идёт, ступки катятся, кричат, визжат и звонят, синие огни с железных верёвок бросают, окна огромные, дома выше леса дремучего... А как ночь — видимо-невидимо огней загорается, и полный разгул для времяпровождения идёт... Обернёшься человеком, идёшь по тротуару в цилиндре, портфель под мышкой... Сейчас руку кренделем: «Мадам. Дозвольте вас про-

водить...» В трахтер... Угощение... «Ах, оставьте, пожалуйста...»
То да сё, трэф — козыри...

ЛЕСОВИК (*плюнул, отошёл*). Слушать тебя тошно... Поганец...
ЧЕРТЯКА. И ведь какие красоточки есть...

ФАВН (*грустно*). Все нимфы, дриады и наяды перебежали в город... А здесь остались только одни старые и толстые женщины...

ЧЕРТЯКА. Все в людей обернулись... Только мы, дураки...

ЛЕСОВИК. Обернуться ещё в пень либо в медведя можно, а чтобы в человека... Тьфу... (*Плюнул.*) Мне не пристало... Пущай уж молодые поганятся, а я... Я в Сибирь, в тайгу уйду... Там привольно... Можно по совести. Ты вон в гармошку играешь, водку хлещешь, с Просвирней... (*Махнул рукой.*) Мы с немцем в город не пойдём...

ФАВН. В город не пойду... (*Опустил голову.*)

ЛЕСОВИК. Что-то долго Яга... Видно, и у них на Лысой горе согласия нет... Что слышать об Алёнушке? Так и пропала девушка без слуха, без вести?..

ЧЕРТЯКА. Яга не велит об этом говорить... Убегла она с белокурым человеком в город...

ЛЕСОВИК. Я так и полагал, что осрамит она только Ягу... Как человека ни корми, а он всё из лесу норовит...

Светает. Смутно доносится далёкий стук топоров. Все встревожены, прислушиваются. Ветерок — стук топоров яснее.

ФАВН. Что там?

Лесовик погрозил Фавну пальцем. Опять слушают.

ЛЕСОВИК (*Чертяке*). Слышишь?

ЧЕРТЯКА. Слышу.

ЛЕСОВИК. Рубят...

ЧЕРТЯКА. Рубят...

ФАВН (*жмётся от ужаса*). Что же делать? Господа, что же теперь... Как нам быть?

ЛЕСОВИК. Погоди тумашиться... Дай срок... Далеко это. С бабами первый храбрец, а тут...

ФАВН. Господа... Я слышу шаги... кто-то идёт...

ЛЕСОВИК. Помолчи... (*Вместе с Чертякой испытующе обнюхивают воздух.*) Не беспокойся...

ФАВН. Не опасно, старик?

ЛЕСОВИК. Не сомневайся... (*Тревожная пауза.*)



ЧЕРТЯКА. Заря встаёт...

ФАВН. Холодно...

ЛЕСОВИК. Роса стала падать... Пойдём покуда что в избу...
Чайку бы хорошо...

Лесовик, Фавн, Чертяка, как заговорщики, идут в избу.

ЧЕРТЯКА. У меня, немец, водочка есть... Хочешь погреться?

ФАВН. Не люблю, но боюсь лихорадки...

ЧЕРТЯКА. Стало быть, рюмочку выпьешь?

ФАВН. Одну выпью... *(Скрылись в избе.)*

Взошло солнце, и вдруг ветер явственно донёс звонкие удары многочисленных топоров и пение рабочих мужиков: «Вот разок, да вот разок, ещё махонький разок...» Слышен шум ветра, звон металла, прилетела в ступке с метлой Баба-Яга. Чертяка выбежал из избы встречать, за ним Лесовик. Чертяка пронёс в избу новый чемодан и две картонки.

БАБА-ЯГА. Всю растрясло... Здравствуй, старик... Что у тебя глаза красные?

ЛЕСОВИК. Здравствуй, старуха... Поплакал маленько... Слышь, рубят наш лес...

БАБА-ЯГА. Знаю, знаю... Ты, пожалуйста, не зови меня старухой... Не люблю я этого...

ЛЕСОВИК *(изумлён)*. Хорошо... А уж мы тебя заждались... Не знали, что и думать — ума не приложим, почему так долго...

БАБА-ЯГА. Ступка в дороге поломалась, заезжала к Вакуле. Со всем разваливается, и чинить не стоит... *(Подошли к крыльцу.)*

ЛЕСОВИК. Ну что, какую весточку с Лысой горы привезла?

БАБА-ЯГА. В город надо собираться... *(Скрылась в избе.)*

ЛЕСОВИК *(застыл на месте, тупо смотрит в землю)*. Не пойду... Лучше уж... на осину...

В избе крик Яги. Появился захмелевший Фавн.

ФАВН *(обернулся)*. Я выпил только две рюмки. Даю тебе честное благородное слово Великого Пана...

Появились Чертяка и Яга. Фавн уселся на упавшей берёзе и играет на свирели весёлую песенку.

ЧЕРТЯКА. Что ли мне его спаивать? Он ведь не маленький, понимает, что водка не вода...

БАБА-ЯГА. Безобразие, разврат, пьянство...



Лесовик махнул рукой и отошёл в сторонку.

ЧЕРТЯКА. Мы без устали всю ночь работали...

БАБА-ЯГА. Всю ночь работали... Ах ты пустозвон... *(К Фавну.)*
И ты всю ночь работал?

ФАВН. Всю ночь...

БАБА-ЯГА. Где она, ваша работа?

ЧЕРТЯКА. Сделайте такое ваше одолжение... Сию минуту...
(Принёс из хлевушка зонтик, шляпку и сумочку.) Мы с немцем двух дачниц...

БАБА-ЯГА *(к Фавну)*. И ты, лодырь?

ФАВН. Она не верит честному слову. *(Вытащил из-под берёзы и принёс Яге корсет и парик.)*

БАБА-ЯГА. Ну вот, наконец-то взялись за ум... *(Пересматривает вещи.)*

ЧЕРТЯКА. Зря гневаешься...

БАБА-ЯГА. А где же бабья кожа?

ЧЕРТЯКА *(кинулся к крыльцу, ищет и не находит, пожал плечами)*. Алёнушка, видно, украла... Больше некому... Было два зонтика и две шляпки, а теперь один зонтик и одна шляпка... *(Пугливо скрылся с глаз.)*

БАБА-ЯГА *(к Лесовику)*. А что ты, старый пень, смотрел? Как же это ты проворонил, когда девка-поганка с белокурый человеком убежала?..

ЛЕСОВИК. Не досмотрел... Что сделаешь? Теперь другая забота на сердце...

БАБА-ЯГА. Оглох, значит? Не слышал, как по дороге тройка проехала...

ЛЕСОВИК. Видно, колокольчики подвязали... Не слышать было...

БАБА-ЯГА. Собирайтесь к отъезду... Приказ — всем в город... Старик... Возьми заступ с лопатой и клад на яру выкопай, да сюда принеси...

ЛЕСОВИК. Можно вырыть... Не долго... *(Помялся.)* Как же? Значит, конец?

БАБА-ЯГА. Конец, старик... Надо поскорей убираться... По нашим местам железная дорога пройдёт... Нечего и думать... Иди работай... Не рассыпь, смотри, как понесёшь...

ЛЕСОВИК. А донесу один-то? *(Пошёл в хлевушек за ломом и лопатой.)*



БАБА-ЯГА. Эй ты, лодырь...

Бежит Чертяка.

Не тебя, а вон того...

Чертяка отходит.

ФАВН. Это я лодырь? *(Идёт, наигрывая весёлую песенку на свирели.)*

БАБА-ЯГА. Иди пособить старику... Ну, иди...

Фавн, слегка пошатываясь, идёт за Лесовиком в глубь леса.

Баба-Яга роется в сумочке.

Шпильки да булавки. А вот эта вещица чего-нибудь стоит... *(Вынула зеркальце, смотрит.)* Для своих лет я сохранилась очень хорошо... Перчатки... А что в этой коробочке? А-а... Румяна, тушь, пудра... Чёрт...

Появился Чёрт, прячущий за спиной папиросу.

Сбегай на озеро и скажи Водяному и Русалке, что скоро люди придут, воду из озера спустят, а овраг засыпать начнут... Как хотят, было бы сказано... Попроси рыбки, чтобы закусить на дорогу...

ЧЕРТЯКА. В ступке поедешь?

БАБА-ЯГА. Развалилась ступка... Там погляжу... Иди скорей...

Чертяка пошёл к озеру, а Яга осталась на крыльце.

Надела парик, смотрит в зеркало.

Ну, ещё бы... *(Вставляет зубы и румянится, вообще преобразается в довольно милостивую женщину и уходит в избушку.)*

ЧЕРТЯКА *(условным жестом вызвал Водяного)*. Яга просит рыбки... Уважь, дедушка...

ВОДЯНОЙ. Сам сожрёшь?

ЧЕРТЯКА. Оборви хвост, если вру... *(Обиженно.)* Когда я тебе врал?..

ВОДЯНОЙ. Ну, ладно... Собирай... *(Скрылся, пустил пузыри и начал выбрасывать на берег больших карасей.)*

Чертяка хохочет от радости.

Ловит их и насаживает за жабры себе на хвост.

Будет, что ли?



ЧЕРТЯКА. Довольно... Благодарим покорно... Покурить не желаете ли? *(Хвастается портсигаром.)*

Выглянула Русалка.

А еще Яга вам сказать велела, что в скорости придут сюда люди, лес вырубят, озеро ваше спустят, высушат, а овраг засыпят...

ВОДЯНОЙ. Брешешь ты, повеса...

ЧЕРТЯКА. Оторви хвост, не вру... Когда я тебе врал?

ВОДЯНОЙ. Не верю тебе...

ЧЕРТЯКА. А между прочим, мне наплевать... Счастливо оставаться... Прощай, милка, я уеду... не увидишь моего следу... *(Пошёл прочь.)*

Русалка села на кочке и стала плакать жалобным воем, пока Водяной не уволок её в омут... Чертяка несёт в избу рыбу, навстречу ему идёт одетая барыней Яга.

БАБА-ЯГА. Обжарь на сковородке в медвежьем сале...

Чёрт взглянул на преображённую Ягу и оцепенел от изумления.

Не узнал? Ну, нечего пялить зенки-то... Проходи...

Чёрт, продолжая оглядываться, уходит в избу. Яга, прогуливаясь взад и вперёд около крыльца, что-то обдумывает. В это время Лесовик с Фавном несут из лесу клад: огромный котёл, полный золотых денег.

ФАВН. Погоди... Я больше не могу... Поставим... Отдохнём... *(Опустили наземь котёл.)*

ЛЕСОВИК. Пусти ты, барин... один донесу.

Фавн пошёл впереди, увидел Ягу, остановился, поставил хвост трубой и улыбнулся.

БАБА-ЯГА. Что слюни-то распустил?

ФАВН. Давай играть: ты побежишь, а я...

БАБА-ЯГА *(строго)*. Не узнал? А где же клад?

ЛЕСОВИК. Иду, иду, Яга... Не сумлевайся. *(Несёт котёл на спине.)*

ФАВН *(пытливо вглядывается, тихо подходит к Яге, виляет хвостом)*. Я тебя не узнал... Ты... *(Любовно смотрит и вертится около Яги.)*

ЛЕСОВИК. Пудов пять-шесть тут будет... Где его поставить-то?
БАБА-ЯГА. Ставь сюда, около крыльца...

Лесовик поставил чугунок, разогнул спину и, увидя преобразившуюся Ягу, хлопнул себя по бёдрам. Где-то звенят колокольчики.

ЛЕСОВИК. Нехорошо, Яга... Нам это не подходит...

БАБА-ЯГА. А ну тебя к... Слышишь, колокольчики звенят?

ЛЕСОВИК. Знамо, слышу, а только надо бы одуматься... *(Топчется, опустив голову, поднял выпавший из котла золотой и положил в котёл.)*

БАБА-ЯГА. Иди на дорогу, напугай лошадей и веди сюда...

ЛЕСОВИК. На что тебе?

БАБА-ЯГА. Иди, потом узнаешь...

Фавн стоит вдали и конфузливо любит Ягой.

ЛЕСОВИК *(вздыхнул и пошёл в лес, ворчит)*. Где это видано, чтобы... Ни стыда, ни совести, ни страха... А коли сам ничего не боишься, так и тебя никто не боится... *(Скрылся.)*

БАБА-ЯГА *(к Фавну)*. Ну, миленький... Пора и в путь собираться...

ФАВН. У тебя прекрасные волосы...

БАБА-ЯГА. Вот то-то и есть... *(Кокетничает.)*

ФАВН. У тебя розы на щеках...

БАБА-ЯГА *(улыбается, скаля зубы)*. А зубы?

ФАВН. Как перлы жемчужных раковин твои зубы...

БАБА-ЯГА. Погоди-ка, я ведь тебе гостинца из города привезла... *(Пошла в избу.)*

Фавн, приближаясь к крыльцу, провожает её восхищённым взором и помахивает хвостом. Яга вернулась с большой веткой винограда.

Возьми... *(Села на крыльце.)* Поди сюда... Поближе, сядь вот тут и кушай...

ФАВН. Ты была на моей родине... *(Вскочил, пришёл в яростный восторг и пляшет с кистью винограда.)*

БАБА-ЯГА. А ты... уж будет... Вишь как обрадовался... Иди, сядь и ешь... *(Принесла из избы верёвку и внезапно накинула на шею пляшущего Фавна.)*

ФАВН. Зачем верёвка? Это ты... ты... *(Только теперь узнаёт Ягу.)*



БАБА-ЯГА. Не кричи... Для твоей же пользы делается... В город в таком виде нельзя...

ФАВН. Я не хочу в город...

БАБА-ЯГА. Иди... Своей пользы не понимаешь... *(Ведёт его в избу.)* И рога надо спилить... Это, друг мой, не будет больно...

Яга увела плачущего Фавна в избу, откуда продолжает слышаться плач Фавна и ласковый голос Яги. Где-то кукует кукушка, всё ближе звенят колокольчики, и всё громче звенят топоры... Чертяка выносит на крыльцо чемодан, три картонки, ворует из котла деньги... суетится, услышал колокольчики...

ЧЕРТЯКА. Ведёт... Никак тройку... *(Кричит.)* Ого-го-го...

Резкий свист Лешего, колокольчики забренчали близко, слышно «тпру», и лошади остановились. Голос Лешего: «Назад... Баловать...», появляется задок тарантаса с подвешенной дегтярницей.

ЧЕРТЯКА. Тройка? Привяжи лошадей-то... *(Сходит с крыльца.)*

ЛЕСОВИК. Тройка... *(Вышел с картузом в руке.)* Уф... Уморился... Гонял, гонял...

ЧЕРТЯКА. А седоки?

ЛЕСОВИК. Обратный ехал... Бросил лошадей и убёг... Картуз обронил, а на козлах кафтан оставил...

ЧЕРТЯКА *(выхватил из рук Лесовика картуз, побежал и вернулся с кафтаном, рассматривает)*. Весь в дырах... Ну да на первый случай ладно... *(Надел кафтан и картуз.)* А вот подпоясаться нечем...

Лесовик дал Чертяке своё лыко.

Ну, готово, прощай, моя Просвирня...

ЛЕСОВИК. Хвост-то видать... Подбери его повыше... Эх вы... *(Плюнул.)*

ЧЕРТЯКА. Подберём... Это дело пустое...

ЛЕСОВИК *(вздыхнул)*. Подвязали бы на всякий случай и колокольчики-то...

ЧЕРТЯКА. Не трогай... С колокольчиками веселее...

ЛЕСОВИК. А уж я в ночь пойду... спокойней... Как месяц над лесом встанет — котомочку за спину и марш... В далёкие края... во дремучие леса...

БАБА-ЯГА *(в окно)*. Лошади готовы?

ЧЕРТЯКА. Готовы... Тройка... Что же, старик, не поедешь с нами?

Лесовик отмахнулся рукой.

Ну, помоги, что ли, в последний разок...



Чертяка понёс чемодан, а Лесовик — котёл с золотом.

ЛЕСОВИК. Прикрыть бы надо чем.

ЧЕРТЯКА. Фартуком завяжем...

Лесовик и Чертяка возьтятся у тарантаса. На крыльце появляется помолодевшая Яга, в шляпке, с зонтиком, в перчатках, с сумочкой, за нею печальный Фавн в пиджачной паре, в котелке, с тросточкой.

БАБА-ЯГА (*даёт Фавну платок*). Вытри глаза и высморкайся... Ну, можно ехать... Чугун с деньгами уложили?

ЧЕРТЯКА. Всё, как следует...

ЛЕСОВИК. Аха-ха... Дела, дела... Не знаю уж, когда теперь свидимся...

БАБА-ЯГА. Дай руку... (*Взяла Фавна под руку, и они двинулись к тарантасу.*) Ну, прощай, старик...

ЛЕСОВИК. Чай, перед путём посидеть надо... Присядьте ненадолго...

Все расселись, кто на крыльце, кто на пенёчке, кто на упавшей берёзе. Помолчали. Лесовик вздохнул и встал.

ЛЕСОВИК. Ну, что ж делать-то?.. Поезжайте уж...

Чертяка обнял Лесовика.

Пропадёшь ты, малый...

Фавн тоже хотел обняться с Лесовиком, но Яга придержала его за рукав и первая подала Лесовику руку. Её примеру последовал и Фавн. Уселись. Вздрогнули колокольчики. Лесовик вздохнул, смотрит в землю.

Никогда уж, видно, не увидимся больше...

БАБА-ЯГА. Если вздумаешь — приходи в город... Мы будем всегда рады тебе...

ЛЕСОВИК. Где уж...

БАБА-ЯГА. Ехать надо... (*Чертяке.*) Ну, трогай...

ЛЕСОВИК. Прощайте, милые... Коли я тебя, немец, когда обидел чем, — не помни этого... Совсем ты теперь барином стал... Счастливо вам... На веки веков... (*Отёр слезу.*)

Чертяка вскочил на козлы, подобрал вожжи и ударил по лошадям. Лесовик долго слушал колокольчики, потом сел на крылечке и задумался; пошёл, оглянулся, остановился и тихо заплакал. Опять зазвенели топоры в лесу. Закуковала кукушка. Из лесу, опираясь на палки, идут Белые грибы. Некоторые ведут за руку своих ребятишек.

ГРИБЫ (*остановились под окном и поют*):

Помоги нам, Яга-матушка...
Помоги нам, Леший-батюшка...
Люди злые рубят наш сыр-бор,
Топчут старых, топчут малых...

ЛЕСОВИК (*поднялся*). Что вам, ребятушки?
ГРИБЫ (*опустились на колени и запели*):

Стоном стонет наш дремучий лес,
Под секирой к земле клонится,
Плачут сосны многолетние,
Плачут белые берёзоньки...
Бьём челом вам до сырой земли:
Помогите, поусердствуйте...

ЛЕСОВИК. Нет, братцы, Яги: убежала... А я вам даю, ребятушки, полную волю... Бегите от беды подальше, а на меня не гневайтесь... Теперь я для вас ничего не могу сделать... Сам себя не знаю... куда девать... идите себе...

ГРИБЫ. Куда же нам теперь, батюшка? (*Встают, толпятся.*)

ЛЕСОВИК. Идите в дальние леса, на привольные места в Сибирь, в тайгу-матушку... Всех нас она примет, всех приласкает и прикроет. Я и сам туда думаю... Сладко жить в родных лесах, на родимой земле: каждую сосну, каждую берёзу знаю, каждый куст с рождения знаком, а что сделаешь? Конец пришёл...

Грибы долго гадали, потом поклонились Лесовику и двинулись под овраг. Скрылись, а в тишине ещё долго звучит их песня: «Стоном стонет наш дремучий лес...», сопровождаемая плачем детей и смешивающаяся с пением далёкой кукушки и со звонкими ударами топоров. Лесовик надел за спину котомку, взяв в руки батожок, и, поклонившись на все четыре стороны, задумчиво пошёл, оглянулся, остановился у берёзы и тихо заплакал. Из лесу бежит запыхавшийся Чертяка.



ЧЕРТЯКА (*увидал Лесовика*). А-а... Старик... Ты здесь ещё?

ЛЕСОВИК. Здесь, милый... (*Оттирает слёзы*.) Жалко... Всю жизнь прожил... Сейчас пойду...

ЧЕРТЯКА (*проходя в избу*). Самовар позабыли...

ЛЕСОВИК (*посмотрел ему вслед, обвёл взором лес*). Прощай, сыр-дремучий лес...

Лесовик побрёл и скрылся в лесу.

Появилась страшно взволнованная Просвирня.

ПРОСВИРНЯ. Ой... Батюшки... Святтики... Никого нет... (*Увидала вышедшего из избы с самоваром в руках Чертяку, загородила ему дорогу с крыльца*.) Куда? Позабавился, да и ладно?

ЧЕРТЯКА. А вы — пустите... Меня ждут...

ПРОСВИРНЯ. Вот нынче как... Всё мила была, а теперь «пусти». Что ты со мной сделал?

ЧЕРТЯКА (*пожал плечами*). Ничего плохого... (*Отстранил, прошёл мимо упавшей в слезах на крыльце Просвирни, оглянулся — стало жалко, вернулся, наклонился, треплет по плечу*.) А ты будет... Брось реветь-то...

ПРОСВИРНЯ (*воет, причитая*). Разнесчастливая я сиротинушка... А и некому-то за меня заступиться... Поглядите, люди добрые...

ЧЕРТЯКА. Брось, говорю, Федося... Чай, я не помер... (*Поставил самовар*.) Послушай-ка: как только первый цветочек из земли выглянет, ворочусь домой... и первым делом мы с тобой...

ПРОСВИРНЯ (*сквозь слёзы*). Отвыкнешь, позабудешь, с другой свяжешься...

ЧЕРТЯКА (*возмущённо*). Я? С другой? Даже обидно от вас слушать такие жестокие слова... (*Бьёт кулаком в грудь свою*.) Чтобы я когда-нибудь... что-нибудь другое...

ПРОСВИРНЯ. Все вы так говорите...

ЧЕРТЯКА. Когда я тебе врал? Вот то-то и есть... Потерпи... А весной, как грачи прилетят, так и я с ними... (*Что-то шепчет ей на ухо*.)

ПРОСВИРНЯ (*отирая слёзы*). А зимой-то как? Зима-то долгая, холодная, а ночи-то тёмные, одинокие... Всю подушечку в слезах потоплю...

ЧЕРТЯКА. Что поделаешь?

ПРОСВИРНЯ. Чего ты в городе-то не видал? Что за сласть одинокому жить на чужой стороне?

ЧЕРТЯКА. На место определяюсь... Весной в мундире при шпаге приеду...

ПРОСВИРНЯ (*улыбнулась*). Небось, и узнавать-то тогда не захочешь?



ЧЕРТЯКА. Я? Вас? Однако вы...

ПРОСВИРНЯ. Милый мой... Ненаглядный мой... Дай нагляжусь в последний разок... Кабы ты знал мою печаль... Мою грусть-тоску... *(Обняла, тихо плачет на груди.)*

ЧЕРТЯКА. Понимаю... Очень даже хорошо понимаю... *(Оглянулся вокруг.)* Вот чего... Пойдем-ка, проводи меня... Пару слов тебе надо сказать...

ПРОСВИРНЯ. Уж не знаю, как... Муж хватится... Теперь он по следу за мной ходит...

ЧЕРТЯКА. Не бойся... Ничего не будет... Волков бояться — в лес не ходить...

ПРОСВИРНЯ *(надевая платочек)*. Смотри же: весной ждать буду...

ЧЕРТЯКА. Сказано как отрезано... Моё слово — кремень... *(Поглянув самовар.)* Не догадался старик самовар-то украсть... Вот что, Федося: бери-ка его себе...

ПРОСВИРНЯ. Мне? Самовар? Тебя заругают...

ЧЕРТЯКА. Бери знай... В знак памяти... Скажу — старик украл, и кончено...

ПРОСВИРНЯ. Что же не взять... За каждым чаем тебя вспоминать буду...

ЧЕРТЯКА. Ну... До скорого... *(Погал руку.)*

ПРОСВИРНЯ. Смотри — напиши...

ЧЕРТЯКА. А то как же? Всякого благополучия... *(Приподнял картуз и пошёл.)*

ПРОСВИРНЯ *(захватила самовар и проворно пошла за Чертякой)*. Провожу... всё равно уж... Семь бед — один ответ... *(Скрылась.)*

Откуда-то издали доносится пение идущей на работы артели дровосеков и пильщиков. Водяной прячется. Артель проходит в глубине сцены и поёт:

Разненастный день субботный — нельзя в поле работать,
Нельзя в полюшке работать: ни боронить, ни пахать.
Пойду с горя в чисто поле, во зелёный лес гулять...
Во зелёном том лесочке соловей-пташка поёт...

Когда артель прошла и песня уже стихает, из лесу идёт с узелком Алёнушка в костюме Зорьки, но в тёмном платочке; на лице и во всей фигуре печать пережитого горя. Остановилась, перевела дух и со страхом и мольбою смотрит на родную избушку.



АЛЁНУШКА. Боюсь, очень боюсь... Какая я бедная... *(Опустилась на травку.)* Всем я теперь чужая... *(Поднялась, робко идёт к избушке, упала перед крыльечком на колени и горько расплакалась.)* Ах, прости меня, Яга-матушка... Не гневись на меня, Леший-батюшка... Согрешила я, окаянная... Ушла от вас красной девушкой, а вернулась дамой... *(Стихла, робко заглянула в окошко, отошла, стоит с узелочком.)* Одинокая... Никого теперь нет у меня... *(Обводит взорами лес, озеро, небеса, грустно улыбается.)* Простите меня, земля и вода... *(Кланяется.)* Прости меня, Солнце Красное... *(Кланяется.)* Прости и ты меня, сыр-дремучий лес... *(Кланяется, села на берегу, пригорюнилась.)*

Вдали грустно кукует кукушка.

Давай вместе плакать, бедная кукушечка... *(Тихо плачет.)*

Из воды появляется голова Водяного.

ВОДЯНОЙ. Алёнушка... Не узнал я тебя... Подойди поближе, посмотри на меня...

АЛЁНУШКА. Стыдно мне, дедушка...

ВОДЯНОЙ. О чём плачешь? Раньше ты смеялась, а теперь...

АЛЁНУШКА. Теперь не умею, дедушка...

ВОДЯНОЙ. Раньше пела песенку, а теперь...

АЛЁНУШКА. Разучилась, дедушка...

ВОДЯНОЙ. Где твоя радость, Алёнушка?

АЛЁНУШКА. Потеряла, дедушка...

ВОДЯНОЙ. Где же твоё счастье, Аленушка?

АЛЁНУШКА. Отдала его любимому.

ВОДЯНОЙ. А что дал тебе за него любимый?

АЛЁНУШКА. Только... слёзы, дедушка... *(Заплакала и встала.)*

ВОДЯНОЙ. Эх, ты... Несчастливая ты...

АЛЁНУШКА. Скажи мне, куда пошёл дедушка Леший?

ВОДЯНОЙ. Туда, в тёмный бор...

АЛЁНУШКА *(после паузы)*. Прощай. Пойду искать дедушку...

ВОДЯНОЙ. Пропадёшь в тёмном лесу... Съедят тебя волки, Алёнушка...

АЛЁНУШКА. Всё равно... Потеряла я всё, что любила... Прощай...

Низко поклонилась и тихо побрела в лес,
вдали слышен её жалобный удаляющийся голосок.

Дедушка-а... Дедушка-а-а...



ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

Снова стук и звон топоров. Далёкая песня артели работающих дровосеков: «Вот пойдёт, да вот пойдёт...», сопровождаемая грохотом падающих деревьев. Выбегает заяц, крадётся волк, бегут из лесу молодые ёлочки и берёзки, улетают утки, пугливо оглядываясь, уходят медведица с медвежатами, грибы...

Тьма постепенно переходит в светлую ночь.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ПЯТАЯ

Всё по-прежнему. Луна глядит через лес, сверкают на небе звёзды, Художник спит под берёзой. В избушке загорелся огонёк. С крылечка тихо идёт Зорька. Подошла к спящему и с ласковым любопытством смотрит на красивого юношу.

ЗОРЬКА *(вздохнула)*. Откуда пришёл? Кудрявый? *(Нагнулась)*. Сладко спит... Будить жалко... *(Вздохнула)*. Барин... Идти пора... Не слышит... *(Отошла, встала за берёзкой, смотрит на небо)*. Скоро месяц за лес укатится, звёзды потухать начнут... Будить пора... *(Медленно подходит, склоняется, тихо шепчет)*. Барин...

ХУДОЖНИК *(очнулся, радостно вздрогнул, встряхнул головой и, быстро приподнявшись на месте, привлёк к себе и крепко целует девушку)*. Сон...

ЗОРЬКА *(ласково освобождаясь)*. Не целуй... Увидят... *(Снова вырывается)*. Будет уж... Какой ты жадный... *(Отошла, остановилась)*. Всё лицо горит... Какой ты... Зачем это... Встань... Пора идти... Месяц за лес падает... Слышишь?

ХУДОЖНИК *(встал, сладко потянулся, манит рукой Зорьку)*. Зорька... Пойдём за водой...

ЗОРЬКА. Ночью боюсь к озеру ходить...

ХУДОЖНИК. И со мной боишься?

ЗОРЬКА. А с тобой... С тобой ещё больше боюсь...

ХУДОЖНИК. Почему?

ЗОРЬКА *(потупилась)*. Не скажу... Сам догадайся...

ХУДОЖНИК. Старик проснулся?

ЗОРЬКА *(качнув головой на избу)*. А бабушка спит...

ХУДОЖНИК. А ты почему не спишь?

ЗОРЬКА. Я всю ноченьку глаз не закрыла...

ХУДОЖНИК. Отчего?

ЗОРЬКА. Не знаю... Не спалось. Я два раза мимо тебя проходила, ты спал крепко, не слышал...

ХУДОЖНИК. Проспал тебя...

ЗОРЬКА. Проспал...

ХУДОЖНИК *(вздохнул)*. Эх... Прощай, Зорька...

ЗОРЬКА. Что же, прощай...

ХУДОЖНИК. Во сне я полюбил тебя...

ЗОРЬКА. Ничего... Во сне и разлюбишь...

ХУДОЖНИК. Когда же мы с тобой увидимся?

ЗОРЬКА. А зачем нам с тобой видеться?



ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ

ХУДОЖНИК. Ты мне полюбила... Не веришь?

ЗОРЬКА. Нет. Негде нам с тобой увидаться... Я только к озеру да за земляникой хожу... И завтра пойду за земляникой...

ХУДОЖНИК. Куда же ты пойдёшь?

ЗОРЬКА. Вон туда, за овраг хожу... Там много земляники...

ХУДОЖНИК. Смотрел бы на тебя и смотрел...

ЗОРЬКА. Приворожить хочешь?

ХУДОЖНИК. Хочу...

ЗОРЬКА. Лучше бы не приходил сюда...

ХУДОЖНИК. Почему?

ЗОРЬКА *(взглянула и потупилась)*. Не скажу.

СТОРОЖ *(из окна)*. Проснулся, что ли?

ЗОРЬКА. Проснулся... *(Идёт к крыльцу.)*

ХУДОЖНИК. Не совсем, старик...

СТОРОЖ. А ты что там, Зорька, делаешь? Иди в избу...

ЗОРЬКА. Я ему воды испить подавала...

СТОРОЖ *(вышел с крыльца с ружьём за плечами)*. Пора, барин... Я боялся, как бы дождя не было: с вечера тучки бегали... Вызвездило... Ну... Готов, что ли?

ХУДОЖНИК. Пойдём... *(Вскинул ружьё за спину и медленно пошёл за стариком, оглянулся и исчез в лесу...)*

ЗОРЬКА *(стоит с устремлённым вслед ему взором)*. Откуда пришёл? Лучше бы не видала тебя... Пришёл и ушёл, и нет его...

Вдали охотничий рожок и лай Шарика.

Никогда не увидимся... *(Села на крылечке, пригорюнилась, грустно и тихо тянет.)* Стану я, младёшенька, веночек сплетать, а сплету веночек — отдам миленькому... *(Встала, припала к косяку крыльца, отирает рукавом слёзы.)* Кудрявый...

Очень далеко рожок и лай собаки.

ЗАНАВЕС





ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Ходят по земле дед Мороз со своей старухой Зимой. Оба хмурые да сердитые. Всем от них холодно: и людям, и зверям, и птицам. Все прячутся от них — кто куда... Кто не успел потеплее одеться или в избушку спрятаться, заморозить могут.

И к нам в деревню пришли. Никто не видал: все спали. А они ходили по улице и колдовали:

*Ну-ка, ветер, погувай,
Тучи снежные сгоняй.
Сыпь на землю белый снег,
Чтоб не бегал человек!
Засыпай снегом пути,
Чтоб дороги не найти,
Ни проехать ни пройти!*

Ветер собирал тучи, а тучи сыпали снег на землю. Дед Мороз со своей старухой Зимой пряли из снега пушистые ковры да покрывали ими и землю, и крыши, и заборы. Братец Иванушка с сестрицей Алёнушкой давно уже в своей комнате в кроватках лежали и притворялись, что спят. Боялись, что бабушка придёт со свечкой и увидит, что они не спят. А бабушка, хотя и добрая, а всё-таки сердитая: и нашлёпать может!

Надо бы спать, а им расхотелось. Стали шёпотом разговаривать:

- Кто-то ходит на дворе... Слышишь, снег хрустит?
- Слышу. Может быть, это дед Мороз со старухой Зимой.
- Боишься?
- Чуть-чуть боюсь.



— Слышала, кто-то в окошко стукнул? А вот царапается... точно кошка...

— А ты закройся с головой, и не будет страшно, — посоветовал братец.

Закрылись одеялами с головой и замолчали.

А дед Мороз со своей старухой Зимой вокруг дома ходили, а попасть в дом — не могли: сени заперты, все двери заперты, а в окнах — двойные рамы. Вот и сердятся Дед со Старухой. То в окошко снегом бросят, то на крыльце железным запором брякнут, то в стену так стукнут, что брёвна трещат.

Ходили-ходили кругом, вот и говорит Дед своей Старухе:

— Ты сыпь снегом в окошки, а я на крышу полезу.

— А зачем ты на крышу полезешь? — спрашивает Старуха.

— В трубу дуть буду.

— Смотри, не упади, как полезешь на крышу!

— Ничего, упаду, так в снег, мягко будет.

— Ну, полезай!

Старуха под окном возится, снегом кидается, узоры на стёклах ногтями разрисовывает, а Дед на крышу залез, обнял руками трубу и дует в неё да приговаривает:

Угу-гу! Ой-ой-ой!

Есть ли в доме кто живой?

Засвистело и завыло в печке...

Сестрица проснулась, высунула головку из-под одеяла и спрашивает братца:

— Кто это в печке плачет?

А братец молчит. Спит, верно.

А дед Мороз в трубу дует и выговаривает:

Это я пришёл, Мороз.

Отморожу тебе нос.

А Зима, моя Старуха,

Отдерёт тебя за ухо.

Угу-гу! Ой-ой-ой!

Спи, закройся с головой!

Проснулись утром братец с сестрицей, посмотрели в окно, а кругом так бело, что глаза закрываются. И на крышах снег, и



на крыльце снег, и по заборам снег, и весь двор точно чистой белой скатертью накрыт: гладкий и ровный, ни одной морщинки. Старуха Зима не любит грязи, любит, чтобы везде чисто было.

Дед Мороз со своей Старухой дальше пошли. Ветер утих. Солнышко выглянуло. Потеплее стало. Снег стал мягким таким и мокрым. Хорошо и весело было на дворе. Напились братец с сестрицей молока горячего, оделись потеплее и на двор. Точно галки, ребята со всего дома: кто с лопатой, кто с санками. Дорожки делали, снежками бросались, с горки катались, а потом стали снежную бабу лепить. Дружно работа закипела. Вот и баба готова!

*Вот так Баба, как живая:
И глаза у ней, и нос.
Только толстая, смешная.
Руки врозь, и нет волос...
Глаза круглые, косые.
До ушей широкий рот.
Ноги, ноги-то! – кривые!
Ну и вышел же урод!*

Алёнушка увидела на глазах Бабы капельки воды и подумала, что она плачет: обидно, что все дети хохочут, смеются над ней.

– Неправда, что ты – урод! – сказала Алёнушка. – Ты очень красивая. Ты будешь называться снежной царевной!

После обеда опять подул холодный ветер и опять посыпался снег, да такой колкий. Верно, дед Мороз со старухой Зимой опять ходили где-нибудь близко. Гулять бабушка не пустила...

Ночью Дед со Старухой опять ходили по деревне и радовались, что заморозили землю и что все попрятались и молчат. Снег сверкал огоньками, синими, зелёными, серебряными. Снег хрустел под ногами Деда и Старухи. Когда они проходили мимо дома, где жили Иванушка с Алёнушкой, старуха Зима говорит:

- Ты, старик, стой у ворот, а я во двор зайду!
- А зачем тебе, Старуха, во двор заходить?
- Все ли спят в доме этом узнать...
- Ну, иди. Только поскорее возвращайся!



Ушла Старуха во двор и наткнулась на снежную бабу. Что за диво? Девчонка стоит, Снегурочка. Залюбовалась Старуха и говорит:

— А вот у нас со стариком нет детей...

Запечалилась и давай плакать. Услыхал дед Мороз, пришёл во двор и спрашивает:

— Что ты, Старуха, плачешь?

— Как же мне не плакать? — отвечает Старуха. — Посмотри, какая девчоночка хорошенькая. Вот кабы она нашей внучкой была. Уже я так бы любила тебя, раскрасавица писаная. Опустил Дед голову, тоже запечалился. Потом погладил свою белую бороду и говорит:

— Кабы живая была, а то... Пойдём-ка домой в лес!

Старуха отёрта слезу и пошла за стариком со двора. Не успели они за ворота выйти, а позади кто-то тонким голосочком зовёт:

— Бабушка! Дедушка! Подождите меня!

Оглянулись Дед со Старухой, а снежная баба за ними бежит, топчется. Старик погрозил Старухе пальцем, вынул из кузова огромный белый мешок, посадил в него снежную царевну, перекинул за плечо, и они быстро пошли к лесу.

Вышли на другой день Иванушка с Алёнушкой на двор и удивились: нет снежной царевны! Заплакала Алёнушка, побежала домой:

— Бабушка! Пропала моя снежная царевна!

— Украли, видно. Не иначе как дед Мороз утащил...

Заплакала Алёнушка и стала бранить деда Мороза. А бабушка и говорит:

— Нельзя деда Мороза бранить: он детям на ёлку игрушки приносит!

— Пускай он мне мою снежную царевну приведёт!

— И царевну приведёт! — сказала бабушка.

Вот и стала Алёнушка ждать, когда Рождество придёт с ёлкой, когда дед Мороз снежную царевну приведёт. Очень тосковала по ней Алёнушка.

* * *

В дремучем лесу жил дед Мороз со своей Старухой. Избушка у них ледяная, крыша — снеговая, над окошечком — узор из ледяных сосулечек. Издали и не увидишь их избушки: сосны да ели, снегом осыпанные, закрывают.



Вот сюда в мешке и притащили они снежную царевну. Внучкой стали её называть. Берегут, ласкают. Не наглядятся на снежную девочку. А она скучает и скучает. На дворе так весело было, много детей, а в лесу нет никого, одни старики. Сидит она на пенёчке около избушки и потихоньку плачет:

*Скучно, скучно одной со стариками мне жить.
Не с кем слова сказать, поиграть, пошутить.
Милый лес мой родной, скучно жить мне одной!*

Бежит зайчик, попрыгивает, послушивает да длинными ушами подёргивает. Сел на задние лапки и увидал снежную царевну. Испугался, убежать хотел. Увидала его царевна и просит:

– Зайчик! Зайчик! Косой! Давай вместе играть!

Обиделся зайчик, почесал лапкой за ухом и говорит:

– А сама-то какая? Ты ведь тоже косая!

И упрыгал. Опять пригорюнилась девочка, а подняла глаза – видит, мимо Леший идёт. Она к нему:

– Леший! Дедушка! Стой!.. Поиграй ты со мной!

А Леший захохотал так, что шишки с сосны полетели, постучал дубинкой по дереву, так что снег посыпался, и говорит:

– Есть мне время играть! Я леса обхожу. Стали ёлки рубить, я воров сторожу...

Ушёл Леший, а девочка заплакала. Вышли Дед со Старухой на крыльчишко и увидали, что внучка плачет. Подошёл к ней старик, погладил по спине и говорит:

– Всё тоскуешь и плачешь и ночью и днём. Ты скажи отчего! Мы никак не поймём...

Подошла и Старуха:

*Ведь у нас со стариком никого больше нет.
Пожалела бы нас хоть на старости лет!
Вся и радость в тебе да в улыбке твоей...*

– Не хочу в лесу жить: скучно здесь без детей! – сказала девочка.

Старуха вынула из-за пазухи ледяную сосульку. Протянула внучке и говорит:

– На-ка, внученька, на! На, возьми, пососи! Для тебя припасла... А детей не проси!



Сказочное путешествие

Подошёл поближе старик и стал ласково утешать:

*Погоди, до Христовых деньков доживём —
В гости с ёлкой с тобою к ребятам пойдём!
Наряжу я тебя, всех затмишь красотой:
Сарафан из парчи мы наденем с тобой.
Серебром сверху донизу весь он расшит,
И, как звёзды на небе, сверкает, горит.*

Сразу повеселела снежная царевна. Ждёт не дождётся, когда Рождество с ёлками придёт. То-то будет радость и веселье, когда снежная царевна с Алёнушкой и ёлкой встретятся!



II
Сказки
о животных





БЕЛАЯ РОЗА

Было раннее утро...

Солнце только что выглянуло из-за зелёных крыш громадных каменных зданий и, приветливо улыбнувшись дому Головяшкина, заиграло весёлыми зайчиками на зеркальных стёклах окон верхнего этажа.

Проснувшиеся птички неутомно щебетали, чирикали и шумно порхали в густой заросли опоясывающего дом сада. По теневой стороне улицы торопливо шагали редкие прохожие с заспанными, помятыми физиономиями; здоровенный детина в красной рубахе флегматично водил метлою по тротуару...

Город медленно пробуждался, наполняясь разнообразными звуками жизни.

В верхнем этаже дома Головяшкина всё ещё спало сладким сном. Спали папа с мамой, спали Соня с Наденькой, спал лакей Иван, спал жирный серый кот, забравшись на мягкое кресло... Только старая няня Мироновна давно уже возилась у буфета, бормоча что-то себе под нос, да жёлтенькая канарейка выходила из себя, оглашая комнаты звонкою, как серебряный колокольчик, трелью. Лишь только старая няня переставала бренчать посудой и ножами — жёлтенькая птичка обрывала свою звонкую песню и начинала прыгать по клетке, перескакивая с жёрдочки на жёрдочку. Но всякий раз, словно нарочно, прогуливавшийся по двору индийский петух сейчас же начинал безобразно болтать, и, чтобы не слышать этих противных «бря-бря-бря» — красивая птичка начинала громче прежнего звенеть колокольчиком, ухарски присвистывать и щёлкать... Маленькой певунье было очень весело.



Вероятно, окружающая обстановка имела влияние на её хорошее расположение духа. Вместительная, отделанная слоновой костью клетка, где она жила, стояла в листьях фикуса, лимона, чайного дерева и вьющегося плюща, едва выглядывая наружу кусочком железной решётчатой стены. Косые лучи солнца, пронизывая цветочные листья, делали их ярко-зелёными и, пробиваясь через них в комнаты, рисовали на блестящем паркете пола узорчатые фигуры. Лёгкий, игривый ветерок, врываясь по временам в раскрытую форточку, заигрывал с листочками, шевелил их, отчего на полу прыгали и скакали белые светлые пятна. Мягкая, обитая голубым штофом мебель, масляные картины по стенам, гигантское трюмо, по бокам которого, как часовые, стояли высокие тропические растения, — всё это ласкало глаз и действовало на расположение духа самым приятным образом.

Лишь только солнце ударило в чайный цветок — совершилась великая тайна природы: зелёный бутон, торчавший на самой верхушке дерева, лопнул, тихо закачался на тонком стебле своём, и белые нежные лепестки Розы выглянули на свет Божий... Большая зелёная муха жужжала басом, кружась над новорождённой Розою, жёлтенькая птичка весело залилась серебристой трелью. Индийский петух заболтал изо всех сил. Прохладный ветерок осторожно поцеловал Белую розу, а солнечный луч стал приветливо скользить по её лицу и заглядывать в трещину бутона.

Скоро сторбившаяся няня вошла в зал с кувшином в руках и напоила мать Розы прозрачную, холодной водою.

Кругом было так светло, радостно и весело! Маленькая Роза захотела выглянуть из зелёной чашечки бутона. После некоторых усилий это удалось ей. Однако она не поняла ещё того, что увидела и услышала. Яркие, пёстрые цвета ослепили её зрение; жужжание большой мухи, песнь канарейки и болтание индийского петуха — сливались для неё в один странный хаос звуков. Спустя несколько часов после своего рождения, когда она взглянула вверх, — внимание её остановила маленькая жёлтенькая птичка, без устали перепрыгивавшая с места на место. Птичка, вероятно, тоже заметила Розу, ибо, прекратив свои песни, она вскочила на верхнюю жёрдочку, приблизилась к стенке и, почистив предварительно носик, внимательно устремила свои взоры на Розу. Роза сконфузилась, а птичка, заметя её смущение, весело подпрыгнула и залилась колокольчиком...

Так они познакомились.





Когда стенные часы хрипло ширкнули, обещая пробить скоро девять, а с соборной колокольни разнёсся первый потрясший воздух удар великана-колокола, — в зал вбежала Соня.

— Где? Где же, милая няня? Где, милушка? — весело затараторила она, обращаясь к показавшейся в дверях старушке.

Но не дожидаясь ответа, она вдруг громко захлопала в ладоши и весело запрыгала.

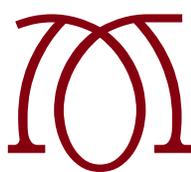
— Надёк! Скорей! Моя Роза распустилась! — радостно прокричала Соня.

Надя не замедлила своим появлением. Хотя она была старше Сони, но сердце её было гораздо впечатлительнее Сониного. Наденька прослезилась, укусила Соню в плечо и предложила ей все двести почтовых марок, которые она успела собрать для коллекции, лишь бы Соня не называла более Розу «своею». Соня не согласилась. Она не особенно верила тому, что за тысячу почтовых марок китайцы присылают фарфоровый сервиз.

Они поссорились. Соня не позволяла Наде смотреть на Розу, а Надя смотрела, пользуясь неограниченным правом любоваться канарейкою.

С этих пор Белая роза стала предметом общего внимания. Папе и маме приходилось мирить девочек и разбирать их права на Розу. Все ею любовались, восхищались и хвалили, как только могли.

* * *



Между тем Белая роза всё более и более выставляла свои лепестки, сбрасывая с себя зелёные ткани бутона.

Скоро она стала различать окружающие её предметы и сознательно относиться ко многим явлениям внешнего мира. Всего более заинтересовала Розу жёлтенькая птичка. И песни её были такие занятные, интересные; так радовали они душу... Похвалы и восхищения людей, сперва приятно щекотавшие её девичье самолюбие, скоро потеряли свою привлекательность и стали казаться Розе невыносимо скучными и противными.

«Ах, как всё это глупо, невыносимо глупо! Всё о моей красоте, о моём благоухании... Всем им хочется сорвать меня», — думала Роза и всё чаще обращала свой взор на красивую птичку, всё с большим вниманием слушала её чудные песни.



А птичка пела о радостях жизни. Что-то непонятно заманчивое, к чему-то влекущее слышалось в этих песнях... Какие-то смутные порывы овладевали порою всем существом молодой Розы, и ей так хотелось жить, жить... Она протягивала свои лепестки вверх, кивала птичке своей головкою и хотела своим благоуханием ответить птичке на её песни.

Птичка часто любовалась Розою и только выжидала момента, когда старая няня, переменявшая по утрам воду в маленьком глиняном кувшинчике, позабудет замкнуть дверь клетки. Тогда красивая птичка вылетит вон и поцелует Розу в её нежные белые щёчки...

Но прежде чем выдался такой момент, случилось одно обстоятельство, имевшее влияние на всю последующую жизнь Белой розы.

* * *

В одно прекрасное утро семейство, где родилась Роза, переехало на дачу за город. Новые впечатления, встречи и приключения, которые довелось испытать по дороге на дачу, как-то незаметно изгладили из памяти Розы образ красивой птички, а вместе с тем затупились те порывы неги, которые поднимались в сердце Розы, когда она слушала песни красивой птички. Масса новых звуков, неутомное щебетанье лесных птичек, шёпот листвы, мычание коровы и хрюканье жирной свиньи долго занимали её внимание, и когда она почувствовала, что чего-то недостаёт, и затем вспомнила, что недостаёт красивой маленькой птички, то не стала особенно грустить и скоро примирилась с её отсутствием.

«Увлечение», — подумала Роза и вся погрузилась в созерцание окружающего её нового мира.

Дача была расположена вблизи Волги. Окружённая густым дубняком, орешником и рябиной, она пряталась в зелёной листве деревьев, едва выглядывая только вершинами крыш двух высоких деревянных зданий. Местоположение её было так живописно, что приезжавшие «на денёк» гости оставались обыкновенно на неделю. Да и в самом деле, стоило только выйти на балкон, чтобы сердце запрыгало от восторга и радости при виде открывающейся картины. Прямо перед глазами — гладкая поверхность Волги сверкает на солнце своею сталью; над рекой поднимаются великаны — зелёные горы, убегающие куда-то далеко-далеко



и пропадающие в голубой дымке прозрачного весеннего воздуха. Кругом — кудрявая зелень; позади, взбираясь на гору, поднимается прохладная зелёная роща. Всё цветёт, благоухает, поёт и радуется...

Цвела, благоухала и Роза.

Здесь она выросла, окрепла, развернула вполне свои лепестки и засияла прелестью своей девичьей нежности.

Однажды вечером, когда побагровевшее солнце пряталось за зелёные прибрежные горы Волги, а тёмный бор стал кутаться в лёгкие ткани вечерних сумерек, до слуха Розы донеслась чья-то грустная, тоскливая песня. Молодое сердце Розы сжалось. Никогда оно ещё не слышало таких песен...

Роза вспомнила красивую жёлтенькую птичку... Но нет, это другие песни; другое чувство будят они в сердце и к чему-то другому призывают его... Как-то больно слушать эти новые песни... Сердце щемит, непонятные слёзы просятся наружу, но слушать хочется и нет сил оторваться от этих песен...

О, кто же поёт эти чудные песни?

И Роза узнала, кто поёт их.

Было такое же чудное утро, как в тот день, когда Роза впервые увидела свет Божий... Нет, это утро было лучше, роскошнее того... В синих небесах купались белые, как первый снег, барашки; в далёкой долине пестрело серыми точками стадо и вился чёрною струёю дымок пастушьего костра; на листве деревьев висели крупные, светлые, как алмазы, капли утренней росы...

Роза стояла на окне, створки которого были настежь распахнуты. Окно выходило на опушку глухой сосновой рощи. Мелкий дубняк, березняк и орешник казались как бы рамкою, в которую была вставлена эта угрюмая сосновая роща... Вот где-то далеко-далеко жалобно закуковала кукушка, а потом... потом близко в орешнике, почти под самым окном послышалась знакомая чарующая песня. Роза встрепенулась, вздрогнула и вся превратилась в слух и зрение. Да, вот тут, в этом самом кустике скрывается тот, кто так мучает сердце своими песнями... Чу!.. Послышался шорох, одна из ветвей орешника закачалась, и на ней показалась серенькая фигура птички...

То был — соловей.

Сперва Роза не хотела верить, что эта некрасивая серенькая птичка — та самая, которая поёт так чудно, что от её песен щемит



сердце и так рвётся душа куда-то в неведомую даль. Но сомнения рассеялись: птичка, подняв головку, запела...

С этого момента непонятная сила влекла Розу к серенькой птичке. Роза полюбила её.

В этот день перед закатом набежала небольшая тучка, и мелкий дождик сквозь солнце зашуршал по листве орешника и дуба. Соня и Надя чему-то очень обрадовались и, бегая под окнами с открытыми головами, в два голоса припевали:

*Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи...*

— Э-эх, баловницы! — послышалось с балкона добродушное ворчание старушки-няни. — Лучше бы вот цветы помогли выставить на волю...

Соня вспомнила о своей Розе и стремительно кинулась в комнаты.

Спустя несколько минут Роза стояла на лужке возле того самого кустика, в котором пел утром соловей.

Солнце спряталось за горы. Длинные тени упали от них на заснувшую воду. Прозрачные облачка зарделись ярким румянцем. На небосклоне мигнула первая вечерняя звёздочка.

Дачники были на рыбной ловле. Соня, отправляясь туда, впопыхах забыла о Розе. А Розе — так хорошо, она так счастлива: возле неё, почти рядом на тонкой покачивающейся ветке орешника сидит соловей и поёт ей о просторе необозримых полей и зелёных долин, о лесной чаще, о журчащих ключах студёной воды; он рассказывает ей о голубой заманчивой дали, о глухом, угрюмом боре; он поёт ей дивные песни о свободе...

Вдали закуковала кукушка. Роза очнулась и шевельнула своими листочками. Соловей перепорхнул на ветку орешника и тихо запел о счастье.

Когда дачники вернулись с рыбной ловли, Соня вспомнила о Розе и перенесла её на окно, в свою комнату.

Лишь только тёплая майская ночь заблестала мириадами золотых звёзд, а все дачники заснули — соловей порхнул из кустов орешника к открытому окну и сел возле Розы. Роза сладко дремала, но тотчас при его лёгком прикосновении вздрогнула и очнулась.

— Останься со мною, не улетай!.. — с мольбою прошептала Роза. — Живи у нас, как жила жёлтенькая птичка...

— Я не могу жить в клетке... Я умру в ней... — поникнув носиком, чуть слышно ответил соловушек...

— Отчего! Живу же я! Нам будет хорошо... Тебе будут давать твоих любимых муравьиных яичек, поить свежую водицей, о тебе будут заботиться, слушать твои песни, хвалить и гордиться тобою...

— Не могу, не могу, Роза! — в отчаянии прошептал соловушек. — Я умру от тоски по своим лесам, полям, по своей воле и свободе...

— Тогда — возьми меня: я хочу быть с тобою, я не могу быть без тебя!.. — с мольбою прервала его Роза и стала дрожать своими листочками...

— Но можешь ли ты жить так, как живу я и как придётся жить нам с тобою? Перенесёшь ли ты непогоду, грозы, ливень? Здесь тебя холят, берегут от злобной непогоды, а там...

— Там я буду с тобой! — решительно прошептала Роза.



Когда на другой день поутру Соня, вставши с постели, подошла к окну, чтобы посмотреть на свою Розу — она нашла вместо неё один только зелёный стебелёк. Розы не было. Только на окне возле банки с цветком, свернувшись в трубочку, белел одинокий лепесток пропавшей Розы.

Соня громко заплакала и побежала к Наде.

— Где моя Роза? — с сердцем крикнула она на сестру. — Это ты оборвала мою Розу? Ты?

— Бог тебя наказал... Зачем не велела смотреть мне на Розу? — ответила с довольною ноткою в голосе Надя.

— Так вот же тебе!

И Соня больно ущипнула Наденьку, после чего они обе заплакали.

* * *

Там, где кусты дубняка и орешника сплетались в густую непролазную чащу, куда ещё не ступала нога человека и не проникал глаз его — там на зелёном травяном бугорке лежала бедная Роза. Возле неё сидел соловей и, беспомощно распутив крылышки, смотрел своими чёрненькими глазками на умирающую подругу.

В эту ночь дачники долго-долго, до самой зари слышали тоскливую соловьиную песню.

То была песня об утраченном счастье. Громко разливалась эта песня в тихом ночном воздухе, и тёмный сосновый бор отвечал ей своим эхом...





ХРАБРЫЙ ВОРОБЕЙ

Поспевала в саду малина. Рано утром, когда все в доме ещё спали, воробьи с шумом прилетали откуда-то и рассаживались по забору. Весело болтали они и одним глазом высматривали, где краснеет спелая ягодка. Как увидят такую ягодку, так сейчас же с прыска на куст. Хватить ягодку и опять на забор...

— Чирик-чирик! Вот так ягодка!..

Однажды прилетают воробьи в сад и удивляются: кто-то стоит в саду на одной ноге, растопырил руки, шляпу на затылок сдвинул и смотрит. Испугались воробьи, зачирикали все разом и марш с забора сперва на берёзу, а потом на крышу. Расселись и стали ждать, когда уйдёт человек на одной ноге. Все боялись его, только один оказался храбрым.

— Чирик-чирик! Ничего не боюсь!..

Подпрыгнул к нему самый трусливый воробей и начал вразумлять:

— Если бы это был человек с двумя ногами, так и я не испугался бы. А у этого, который стоит, — только одна нога...

— Это ужасно! — сказала старая воробыха, и пёрышки встали у неё дыбом от страха.

— Если бы это был человек с глазами, я и сам не испугался бы. А у того, который стоит, нет глаз, и нельзя догадаться, куда он смотрит...

— Это ужасно! — повторили все воробьи, а храбрый не унимался:

— Чирик-чирик! Ничего не боюсь!

— На крыше и я не боюсь, — сказал самый трусливый воробей, и все воробьи весело засмеялись над храбрым.

— Труссы! — сказал храбрый, встряхнулся и полетел так быстро, словно кто-нибудь бросил его с крыши.

— Это ужасно! — прошептала старая воробыха и закрыла глаза от страха.



И у всех других воробьёв замерло сердце — у одних от испуга, а у других от радости.

Одни бранили храброго воробья, другие хвалили, а третьи не знали, что им делать: хвалить или бранить, и молчали. Те, которые бранили, называли поступок храброго воробья глупостью:

— Поймает его человек на одной ноге... Только дураки могут этого не понять.

А те, которые хвалили, говорили так:

— Нас, воробьёв, называют трусами! Если бы это была правда, у нас не было бы таких героев, как тот, который улетел сейчас с крыши.

А те, которые молчали, — думали так: «Как будто бы он дурак и как будто бы герой...»

В это время храбрый воробей сидел в саду на берёзе и рассматривал сверху человека на одной ноге с растопыренными руками. Сверху были видны только шляпа и две руки, которые тянулись к кустам малины, но не двигались...

— Эй ты, человек! — задорно чирикнул воробей и спрыгнул на веточку пониже. — Не думаешь ли ты, что малина растёт для тебя одного?..

Человек на одной ноге не говорил и не двигался.

Храбрый воробей слетел с берёзы на дорожку и, подпрыгивая по песочку, приблизился к нему.

— Эй ты, одноногий! Смотри, как я боюсь тебя!..

С этими словами храбрый воробей вспорхнул и сел на шляпу одноногому. Шляпа покачнулась. Воробей вспорхнул, схватил налету спелую малину и полетел с нею на крышу.

— Чирик-чирик! Вот так ягодка!..

Изумились все на крыше, что не только он цел вернулся, но ещё и с ягодкой. Встрепенулись все воробьи и зачирикали.

Те, которые ругали храброго воробья, говорили:

— Стоило ли из-за одной малинки рисковать жизнью?

Те, которые хвалили храброго воробья, говорили:

— Воробьи никогда не были трусами.

А те, которые не ругали и не хвалили, спрашивали храброго воробья:

— Верно, эта ягода очень вкусная?

И просили попробовать...

— Кушайте!

И все подпрыгивали к ягоде, торопились попробовать и говорили, очищая носик:



ХРАБРЫЙ ВОРОБЕЙ

— Действительно, ягода вкусная...

— А ну-ка, дайте попробовать, — сказал самый трусливый и проглотил остаток ягоды.

— Всё съели и вам ничего не оставили, — ласково сказала старая воробьяха храброму и, вздохнувши, добавила:

— Это ужасно! Ужасно!..

Храбрый воробей привстал на ножках и гордо посмотрел на окружающих.

— Господа! Кто со мной? — спросил он.

— Все!

— Все! — зачирикали воробьи.

Храбрый полетел впереди и сел прямо на шляпу к одноногому. А все другие расположились по высоким берёзам, предпочитая наблюдать издали. И вдруг случилось ужасное происшествие.

Откуда ни возьмись, упал, словно камень с неба, ястреб и схватил храброго воробья острыми когтями. Воробей уцепился было за шляпу, но она скатилась с одноногого, и ястреб взвился высоко в небо и исчез за лесом...

Все воробьи примолкли. В саду сделалось так тихо, что слышно было, как стрекотали кузнечики. Наконец старая воробьяха прошептала: «Это ужасно!» — и заплакала.

— Так всегда бывает с глупцами! — сказал самый трусливый воробей, и никто с ним не спорил...

Шляпа валялась на земле. Теперь одноногий человек был без головы, а вместо шеи у него торчала самая обыкновенная деревянная палка.

Воробьи долго смотрели на изломанное пугало и, убедившись, что одноногий человек без головы совершенно безопасен, расселись по кустам малины и начали жадно насыщаться спелыми ягодами. Поедая ягоды, они оживлённо болтали между собою о случившемся и не одобряли поведения храброго воробья:

— Глупый! Он всё кричал: «Чирик-чирик! Ничего не боюсь». И не съел ни одной ягодки...

— Я всегда говорил, что он не столько храбр, сколько глуп! — говорил самый трусливый. — И за это он наказан...

— Это ужасно! — шептала старая воробьяха.

Только те, которые на крыше не бранили и не хвалили храброго воробья, продолжали упорно молчать. Теперь даже не думали о том, был ли погибший воробей дураком или он был героем...

«Бог с ним! Это не наше дело», — думали они и торопились как можно больше съесть красных и спелых ягод...



МОЯ ЖИЗНЬ

Повесть

I

О тца своего я не помню, но отлично помню мать. Она была рослая и красивая блондинка с карими глазами, с пушистым хвостом и звонким голосом. На шее она носила ожерелье — ременное ожерелье с блестящими медными кружочками и со стальным замочком. Этот замочек побрякивал, как бубенчик, когда мать играла с нами...

До сих пор в моей памяти с поразительной ясностью рисуется разлука с матерью, и до сих пор воспоминание об этой разлуке наполняет мою душу невыразимой грустью.

Мы жили в тёмном каретнике под старыми саями. Однажды вечером, когда мы лежали на рогоже и все мы — нас было шестеро — неистово сосали её тёплую грудь, заскрипела на петлях тяжёлая дверь, и полоса жёлтого света запрыгала на бревенчатой стене: вошёл с фонарём на руке дворник Степан и кому-то сказал:

— У нас их шестеро, выбирайте любого!

На стене запрыгали тени, и шаги людей гулко прозвучали в каретнике. Мы испуганно прижались к груди матери, а мать, насторожив уши, заворчала и прикрыла нас своими лапами. Думали ли мы, что скоро одного из нас отнимут навсегда и он не увидит больше своей матери никогда-никогда? Нет, мы, глупые, только и думали о том, чтобы побольше высосать молока из материнской груди, и изо всех сил упирались в неё своими лапками. А между тем полоса света обошла стену и упала под сани, осветив нас таким ярким светом, что мы зажмурились... Чья-то грубая рука шевырялась между нами, отрывала нас от матери и снова бросала на место. Мать стала лаять, залаяли и мы, как умели. Но дворник Степан закричал на мать:

— Тубо!.. Я тебе...



И мать жалобно заскулила и стала нас лизать. Дошла очередь и до меня. Я замер от ужаса и вцепился в мать, но человеческая рука была сильнее меня, и я очутился вверх животом под самым стеклом фонаря. Вы не можете себе представить того ужаса, который овладел мной в эту минуту. Для меня это было так же страшно, как было бы страшно вам, если бы громадный великан взял вас за шиворот, поднял и подставил к огню... Я жалобно заплакал и стал бессильно загребать в воздухе лапками, а человек рассматривал меня около фонаря и говорил:

— Маленькие они все хороши, а вырастет и окажется надворным советником.

— Поглядите на его хвост! — сказал Степан.

Кто-то дёрнул меня за хвост, и я поджал его. «Господи, — подумал я, — что они хотят делать с моим хвостом?..»

— Хвост ничего себе...

— Возьмите этого!..

Это говорили про меня... Мать встала и начала прыгать около людей и скулить. Я тоже заскулил... Хотя бы дали мне в последний раз поцеловать мать!.. Не дали... Больше я никогда уже не видал матери, никогда...

II

Меня положили в кулёк и понесли куда-то. Я плакал, цеплялся когтями за мочалу, а меня уносили всё дальше и дальше от матери... Куда меня несли?.. Мать рассказывала нам, что иногда люди бросают кутят в реку... Я вспомнил об этом и закричал...

— Не ори! — сказал человек и помотал кульком.

У меня закружилась голова, и я потерял сознание. Я очнулся, когда меня вытряхнули из кулька. Встав на плохо слушавшиеся ноги, я с недоумением огляделся вокруг: большая комната, много свету, музыка, незнакомые люди... Кругом смеялись, а я плакал, склонив набок голову... Я просил отпустить меня к матери, к моей милой матери в тёмный каретник под сани, умолял горячо и долго, а они не понимали. Они думали, что я голоден и прошу еды. Кто-то поставил около меня блюдечко с молоком и сказал:

— Пей, пёсик!..

Никто не хотел знать, что мне было не до еды. Чужое горе, должно быть, никому не понятно. Меня силой подтащили к блюдечку



и стали тыкать мордочкой в молоко. Я крепко сжал зубы, задыхался и фыркал, пока наконец не попал лапой в блюдечко и не опрокинул его...

— Унесите его: не могу слышать этого воя! — сказала барыня.

Я понял, что мои слезы неприятны ей, и завыл ещё сильнее, надеясь этим освободиться и вернуться к матери. А они стали спорить, куда меня девать:

— Пусть живёт в передней!

— Не позволю!

— Ну в детской?

— Нельзя. Отнесите в кухню!..

— А мне его больно нужно!.. — сердито сказала баба, подтиравшая пролитое молоко.

Никому было не нужно, а взяли... Зачем же было брать от матери?! Ей был я нужен; она плакала, когда меня отнимали!..

— А Бобка живет же в комнатах! — сказал маленький человек, которого другие называли Митей.

— Бобик — другое дело, а это — дворняжка! Пусть живёт в сенях под лестницей, — сказала барыня.

Долго они спорили и ссорились. Одни говорили, что я — дворняжка, другие брали мой хвост и говорили, что я не дворняжка; тянули меня за уши и отворачивали губы...

— Пусть ночует сегодня в кухне!..

III

Очутившись в кухне, я шмыгнул под печку в самую глубь, где было темно и безопасно, и стал думать о том, как всё это случилось и как бы убежать отсюда к матери. «Должно быть, это плохо, если я дворняжка», — думал я и смотрел на свой хвост. Но хвост был самый обыкновенный, и я не понимал, почему люди так много говорили про мой хвост. Пришёл в кухню маленький человек, которого называли другие Митей, присел на корточки и стал чмокать губами и свистеть, называя меня «кутькой», «пёсиком», желая выманить из-под печки. Но я понял эту хитрость и не двинулся. Так и ушёл Митя ни с чем. Долго я сидел в глубоком молчании. Баба, которая подтирала давеча пролитое мною молоко, ходила по кухне и кого-то бранила. Скоро я понял, что она бранит тех людей, которые отняли меня от матери.

— И зачем только приволокли его сюда! — ворчала баба.



Я подумал: «Эта баба может помочь мне убежать к матери». Я собрался с духом и завыл в темноте, как только мог, и, вообразите моё удивление, вместо помощи и сострадания я встретил в бабе нового мучителя: она сунула под печку какую-то длинную палку с железным крючком на конце и принялась ею тыкать с явным намерением попасть в меня! Но я сидел в закоулочке, и это спасло меня от ударов. Зато баба сердилась всё больше и больше:

— Ах ты, проклятуший! — кричала она, высказывала пожелания, чтобы я подавился, лопнул, околел.

За что? Может быть, за то, что я дворняжка?.. Плохо, должно быть, жить на свете дворняжкам... И я снова завыл, а баба опять стала шевырять палкой... Так продолжалось очень долго... Наконец баба устала и бросила палку... И всё стихло. Мы оба заснули, каждый на своём месте: я — под печкой, а баба — на печке... Во сне мне снился наш каретник, сани, мать. Будто бы лежу я около матери, и мне тепло и радостно так прижиматься к родной груди. А рядышком будто бы спят мои братики и сестрёнки, пряча свои головы друг под друга!.. И во сне я ворчал на чёрненького братца, который хотел отпихнуть меня от матери и сам лечь на мое место... Больно я кусал, бывало, за это чёрненького братишку, а теперь я охотно уступил бы ему своё место, милому чёрненькому братишке, который теперь там, с матерью!.. Во сне я целовал мать... Какой это был чудный сон! Наяву я никогда уже больше не видал своей матери, никогда!..

На другой день, когда я проснулся и прислушался, — в кухне было тихо. Только над окном громко жужжали мухи, да было слышно, как храпела на печке баба. Я осторожно выглянул, вышел из своего убежища и направился к двери, которая была сегодня притворена. У самой двери я оглянулся — не видит ли меня баба. Баба спала, с печки только выглядывали её босые ноги. Слава Богу, спит злая баба, а палка с железным крючком стоит у печки... Я шмыгнул в дверь, вышел в сени, а оттуда пролез под дверью и очутился во дворе.

На дворе, большом, незнакомом дворе, было пусто, неприветливо, холодно. За высоким забором страшно шумели деревья, и жёлтые листья тихо падали на жёлтую, мокрую траву... Моросил мелкий дождик. Где-то гудел свисток... У меня громко стучало сердце, и весь я дрожал от сырости и тумана... Куда же теперь?.. Разве я мог отыскать свою мать, когда я не знал дороги, когда меня несли в кульке?.. Кто мне поможет? Некому помочь... Я подбежал к воротам, но пролезть на улицу было негде... и вдруг хрипло и лениво залаяла где-то близко собака... Я оглянулся и увидел эту собаку; она вышла

из маленького домика, стоявшего около сарая (такие домики, как я узнал потом, люди называют «конурами»), и, громыхая железной цепью, направилась ко мне. Цепь не пускала её подойти близко, и она остановилась шагах в трех от меня и стала приветливо махать хвостом. Было в этой собаке что-то очень похожее на мою мать, и я вздрогнул от радости. Осторожно приблизившись, я понюхал большую собаку, а она меня лизнула и ласково ткнула мордой под живот...

Так же делала иногда мать... Я попробовал перегрызть железную цепь, но это мне не удалось. Собака позвала меня к себе в домик, и я с радостью пошёл следом за ней. В домике было темновато, как у нас в каретнике, на полу лежала старая рогожа и очень много обглоданных костей... И у нас было так же!.. Словно дома!.. Я покружился на месте и прилёг клубочком на рогоже. Старая собака села около меня и стала ласкать меня, отыскивая зубами блох... Я вздохнул от удовольствия и закрыл глаза от тёплой радости, которая приятно переливалась во всём моём теле... Мне было тепло около лохматого бока доброй собаки, и спокойно стало на душе... Я задремал, думая о матери, о братишках и сестрёнках, о нашем каретнике, слушая, как шумят жёлтыми листьями деревья и как по крыше домика стекает дождевая вода...

IV

Не помню, долго ли я дремал. Меня разбудил шум железной цепи и голос маленького человека, который громко закричал:

— Здесь он!
Кто-то схватил меня за хвост и вытянул из домика.
— Вот где ты спрятался!

Я открыл один глаз и увидел двух маленьких людей: одного в курточке, а другого в платьице. Сердце у меня запрыгало от страха. Я перевернулся на спину, подогнул лапки, а хвост прижал к животу. Пусть делают со мной, что хотят...

— Ты хотел убежать от нас?

— Что ты трясёшься? Ты боишься? — спрашивали меня маленькие люди.

Две нежные ручки подняли меня с земли и прижали к чему-то тёплому. Я посмотрел и увидел два весёлых смеющихся глаза, два ласковых глаза на круглом розовом личике, вокруг которого трепались золотистые волнистые волосы.





— Митя, от него пахнет молочком!

— Дай, Катя, понюхать!

Оба маленьких человека нюхали меня и кричали:

— Псятинкой пахнет!

— И молочком.

Тут я понял, что бояться мне нечего: маленькие люди добрее больших, и, наверное, им всё равно — дворняжка я или не дворняжка... Они принесли меня в сени и стали спорить о том, как меня называть. Митя предлагал — Шариком, а Катя — Верным.

— Спросим, как он сам хочет!

— Хочешь Верным?..

Мне было всё равно. Я смущённо закрыл глаза и наклонил набок голову; одно ухо у меня заболталось в воздухе, а Катя радостно захлопала в ладоши и закричала:

— Он кивнул головой! Он согласен Верным!.. Верный! Верный!

— Шарик, Шарик! — кричал Митя.

— А я не хочу Шариком!.. Ты — Верный? — спросила Катя.

Я лизнул ей мягкую ручку, а она сказала:

— Он благодарит, что я его назвала Верным...

— Отдай его мне! Отдай! — закричал Митя и стал отнимать меня у Кати.

Катя не давала. Они оба, должно быть, полюбили меня и не хотели уступить друг другу, и Катя тащила меня к себе, а Митя — к себе. Мне было больно, и я стал кричать.

— Дура! — обругал Митя Катю.

И они рассорились, и стали оба плакать. Пришла их мать и велела оставить меня в кухне, а самим идти в комнаты.

В этот же день под вечер Катя пришла в кухню и принесла меня в комнаты.

— Погуляй!.. — сказала она и поставила меня на пол.

Пол был гладкий, скользкий и блестящий, словно лёд, и мои ноги разъезжались в стороны, когда я попробовал походить.

— Мама не велела в комнаты! — сказал Митя.

Должно быть, он разлюбил уже меня. За что? Разве я был виноват, что они поссорились с Катей?

— Бобик! Бобик! Возьми его! — закричал Митя.

Из соседней комнаты выбежала маленькая кудрявая собачка, белая и пухлая, словно сделанная из ваты; маленькие глазки её сверкали в белой шерсти, словно две чёрненьких бусинки, а ног у неё почти не было видно — до того она была пушистая!

— Бобик! Возьми его! — кричал Митя и стал толкать беленькую собачку на меня. А та, глупая, думала, что я хочу напасть на неё, и стала злиться, скалить зубы и лаять. Потом она до того обозлилась, что стала уже сама кидаться на меня. Я залез под кресло, а Митя стал смеяться и радоваться и с хохотом убежал куда-то.

— Не смей! Не смей! У-у, завистливый! — останавливала Катя Бобика и стала дёргать его.

Бобик начал кусать Кате руки, вырвался, и не успел я опомниться, как он укусил мне шею. Катя схватила меня на руки. Милая Катя! Я прижался к ней и с ужасом смотрел на пол, где злой Бобик продолжал лаять и бросаться на Катю.

С этих пор я возненавидел Бобика и старался всячески избегать его. Зато я повадился ходить в гости к большой старой собаке, которая жила на дворе в маленьком домике. Она всегда бывала рада моему приходу, ласкала меня и утешала, когда мне было грустно, и тогда ко мне приходили воспоминания о родной матери, о братишках и сестрёнках.

V

Шло время, забывалось горе. Реже вспоминались мать и братья с сёстрами.

Только в минуты обиды, когда кто-нибудь побьёт, я возвращался памятью домой, в каретник. Скоро я освоился с новой жизнью и поближе узнал тех людей, которые меня окружали. Кухонная баба, которая сперва показалась мне чудовищем, оказалась вовсе не такой злой, как я думал. Звали её Прасковьей. Правда, она бранила меня и порой пихала ногою, но всё это она делала как-то добродушно, словно по привычке. Она бранила меня, когда давала есть:

— Жри, паршивый!..

Она бранила меня и тогда, когда хотела приласкать:

— Подь сюда!..

Я подходил, она гладила меня, протирала мне моим же ухом глаза и приговаривала:

— На кой пёс только Бог вас сотворил!.. Тварь бездушная!..

У этой бабы, как оказалось, был сынишка, мальчик лет десяти. Он жил у сапожника, учился шить сапоги, а по праздникам приходил к матери и сидел у нас в кухне. Часто он, сидя за чаем, плакал, утирал нос рукою и жаловался на свою жизнь:

— Бьют меня... Возьми меня жить на кухню...

— Господа не желают, чтобы ты жил со мной... — говорила ему мать и вздыхала.

Сперва я думал, что этого мальчика тоже утащили от матери в кульке, как меня, и очень жалел его. Подбежав к нему, я прыгал у него под ногами и шуточно лаял на него. Он брал меня на руки и разглядывал мои уши, чесал мне под шеей, потом мы с ним играли: он кидал щепку, а я бегал, хватал её в зубы и не отдавал ему. Иногда мы так увлекались играми, что Прасковья кричала:

— Будет вам! Я вот вас обоих кочергой!..

Кочергой называлась та самая длинная палка с железным крючком, которой я так испугался, сидя под печкой...

Однажды Ваня — так звали кухаркина сына — прибежал к нам вечером не в праздник, прибежал без шапки, в слезах. Он сильно плакал и говорил, что лучше ему утопиться, чем вернуться... Ваня залез на печку и долго там хныкал. Я хотел бы его утешить, но не мог, и мне было грустно-грустно... Несколько раз ночью я вылезал из-за печки, где у меня была постель, тихонько подходил и слушал:

Ваня плакал, а мать ему говорила:

— Бедный ты мой сиротинка! Нет у нас с тобой отца, и некому нас пожалеть...

— Я никому бы не стал мешать в кухне... Я бы стал тебе помогать пол мести, дрова носить, картошку чистить...

Прасковья вздыхала... Мне сделалось так тоскливо, что я потихоньку завыл... Ваня слез с печки и взял меня к себе. И мы все трое лежали там и вздыхали...

Ваня был мой любимец. Любил я ещё Катю: она давала Ване книжки с картинками, приносила пирожного и орехов. Меня Катя ласкала нежно и называла такими именами, что я просто таял от удовольствия: называла «деточкой», «мордочкой», «кутенькой». Мити я побаивался. Нельзя сказать, чтобы он был злой, но он придумывал всё такие игры, которые были мне неприятны: то привяжет к хвосту бумагу, то станет запрягать в детскую тележку, то поднимет за шиворот и плюёт мне в губы... Иногда я ворчал на Митю, желая показать ему, что это мне не нравится. Но тогда Митя злился и кричал:

— На хозяина огрызаешься?.. А?..

И шлёпал меня иногда больно.

Кто тут был мой хозяин и что значит это слово «хозяин»?.. Сперва я думал, что мой хозяин — Прасковья, потом думал, что хозяин — Катя, потом, что Ваня... Может быть, хозяином называется тот, кто чаще бьёт?.. Ваня часто жаловался, что его побил хозяин...

Всех больше я боялся барыни, Митиной матери. Как только я попаду в комнаты, так она кричит:

— Уберите! Псиной пахнет!.. Блох напустит!..

Я пробовал приласкаться к барыне, возьму и лягу, бывало, ей на платье, когда она сидит в кресле. Ничего не выходило.

— Это что за новости? — крикнет барыня. — Вон!.. Нежности какие!.. — и подберёт платье.

Она думала, что мне хочется полежать на мягком, а между тем я просто хотел ей показать, что хочу быть с ней дружным и не сержусь на её оскорбительные замечания.

Наши отношения с Бобиком обострялись всё более и более. Эта маленькая собачка носила в своей душе столько злости, сколько хватило бы на три больших собаки. От злости с Бобиком иногда делалась истерика: визжит, лает, кидается, а потом начнет кувыркаться. И что обидно, так это то, что в столкновениях с Бобиком всегда я оставался виноватым. Я ем себе из блюдечка то, что мне дали, подойдёт Бобик и начинает тоже есть; ему не хочется, но обидно,

почему это ест не он, а я... Ну пусть его ест! Я отодвинусь и продолжаю кушать. Так нет, возьмёт и начнёт меня отгонять, скалит зубы, тычет меня мордой... Согласитесь, что это обидно и несправедливо. Раньше я смирялся, но когда подрос и почувствовал, что достаточно силён, я перестал спускаться ему: он огрызается, огрызаюсь и я; он меня ткнёт, ткну и я... И потом пойдёт потасовка... Люди начнут нас разнимать и судить, кто виноват... Ох уж этот суд!.. Никакой справедливости! Бобик живёт в комнатах, у Бобика очень мягкая белая шерсть, Бобика моют в тазу, Бобик спит на диване, и поэтому я всегда виноват... я — невежа, я — груб, я — грязен, я — глуп!.. Посадили бы Бобика за печку — посмотрел бы я, какой он был бы чистенький... Я не умею, что ли, спать на диване? Не умею стоять, когда моют? Не умею жить в комнатах?... Попробуйте!

Только Прасковья бывала всегда на моей стороне, Ваня и Катя... А остальные: барин, барыня, Митя, горничная, дядя и все гости их жалели Бобика, а меня не жалели...

— Сам он, барыня, лезет! — скажет, бывало, Прасковья про Бобика. — Сам первый укусил Верного!..

— Бобик никогда не бросается... — ответит барыня.

Я посмотрю с упрёком на барыню и уйду себе потихоньку под печку... Когда барыня уйдёт и унесёт Бобика, Прасковья нальёт мне в плошку супу, покрошит хлеба и сунет под печку:

— Лопай, несчастный!.. Плюнь на них!..

VI

Долго тянулась зима, моя первая в жизни зима. Любопытно мне было смотреть, как с неба, словно бабочки, летели белые снежинки, как двор заносило сугробами, как Катя и Митя катались с горы, как они кидались снежками и иногда делали из снега уродливого человека... Мёрзли у меня ноги. Я стоял, бывало, и подгибал то одну, то другую лапу, а потом, продрогнув, скулил около кухонной двери и, когда меня впускали, бежал прямо под печку и с удовольствием грелся там... Я удивлялся, как это в такой мороз живёт в своём домике старый Руслан — так звали цепную собаку. Правда, Руслан был очень мохнатый, и у него в домике было положено очень много соломы, но ведь в домике не было дверей и не было печки... Руслан всё больше валялся на соломе и всю зиму был невесёлый. Говорили, что Руслан хворает, но я тогда ещё не понимал, что значит хворать... Загляну

к нему, попробую поиграть с ним, а он не желает даже поднять голову, которую прячет под живот, и не обращает никакого внимания на мои заигрывания.

Однажды я принёс Руслану большую кость; правда, обглоданную кость, но с остатками жил, вообще такую, над которой стоило ещё потрудиться. Руслан поднял голову, лизнул кость, лизнул меня и, грустно посмотрев в дверку, опять положил голову под живот... Мне стало жалко Руслана... «Вот если бы ему полежать под печкой! — думал я. — Проклятая цепь не пускает Руслана!.. Перегрызу-ка я ему цепь!» С этим намерением я стал кусать цепь, но едва я коснулся языком и губами, как закричал от боли!.. Губы и язык мой примерзли к холодному железу, и, отдёргнув их, я оставил немного языка на цепи!.. Я рассердился и ещё раз укусил цепь, и мне стало ещё больнее... Точно я обжёгся, так засадило у меня во рту... Стал я побаиваться этой цепи и больше уже не пытался освободить Руслана...

С двором я познакомился очень хорошо, но на улицу выглядывать побаивался... Бывало, высуну морду в калитку и смотрю. Едут извозчики, идут люди, бегут собаки — так, бывало, хочется познакомиться с собаками и побегать на просторе, но боюсь... Всякие бывают собаки. А вдруг нарвёшься на такую же злую собаку, как Бобик, да ещё вдобавок большую?.. А потом я слышал разговоры, что есть на свете какие-то собачники, которые ловят нас, сажают в клетки и потом увозят и травят... Нет, уж лучше не ходить... Зато я пользовался каждым случаем, когда Прасковью посылали в соседнюю лавочку. Тут уж я не отставал. Бежит Прасковья в лавочку, а я за ней...

— Куда увязался? Иди домой! — кричала Прасковья.

Она не любила, чтобы я бегал за ней, а мне ужасно нравилось это. Я опускал хвост и тихо шёл назад. Но как только Прасковья забывала обо мне, я возвращался и бежал по её следам. Прасковья входила в лавочку, а я оставался на крылечке и, дожидаясь, осматривал и наблюдал, что делается на белом свете. Шли мимо разные люди, мальчишки подманивали меня, приседая на корточки, ехали мимо извозчицы санки, торопились бабы с корзинками, похожие на мою Прасковью; иногда подбегала незнакомая собака и обнюхивала меня... Всё это было очень интересно!.. Когда Прасковья выходила из лавочки и замечала меня, она уже не сердилась:

— Сидишь? Ах ты, навязчивый какой!.. Пойдём!

И мы шли домой: я бежал впереди, Прасковья шла за мной.



По праздникам приходил Ваня. От него я научился первой собачьей грамоте. Ваня учил меня подавать поноску; возьмёт, бывало, свою рукавичку, плюнет на неё, даст мне понюхать и бросит.

— Пиль!

Я побегу, схвачу рукавичку и убегу с ней. Ваня отнимет и опять бросит.

— Подай!..

Скоро я понял, что когда бросают и кричат «пиль», то надо принести то, что бросают. Потом он придумал ещё одну игру: возьмёт кусочек хлеба, положит мне на кончик носа и не велит шевелить головой. Я держу голову ровно и смотрю себе на нос, чувствую, как вкусно пахнет хлеб, и мне ужасно хочется съесть его. Но Ваня грозит пальцем — не велит.

— Тубо! — кричит Ваня. Потом он начинает говорить так: — Аз, буки, веди, глагол, добро, есть!..

И как скажет «есть», так толкнет меня под морду, кусочек хлеба подпрыгнет, и я его поймаю и съем...

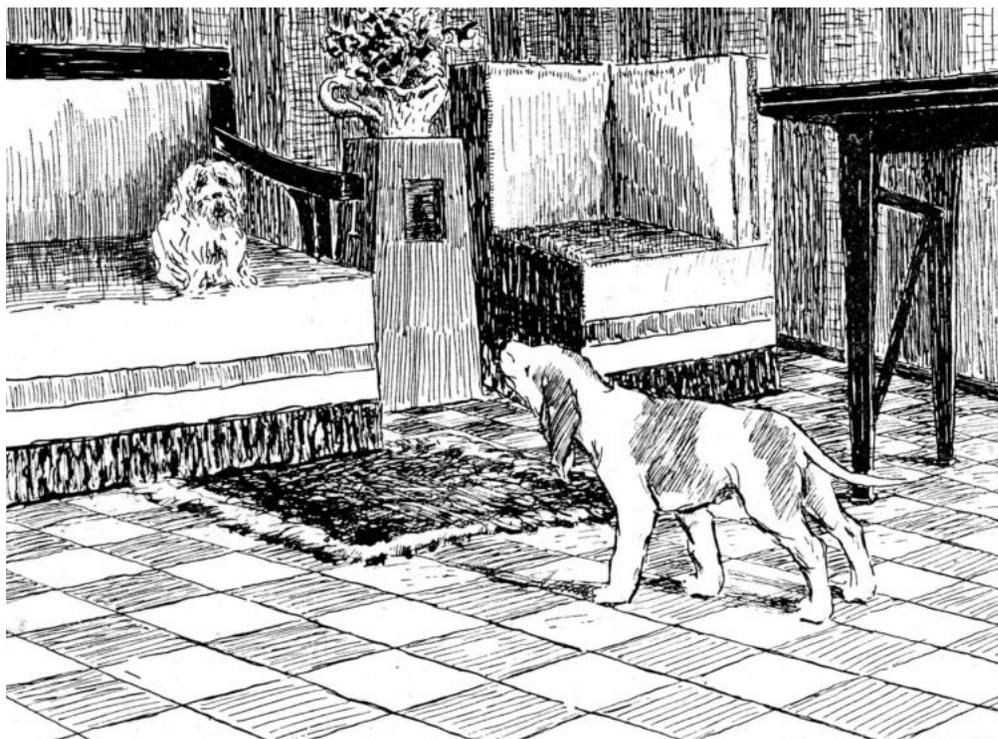
— Молодец! — скажет Ваня.

Так я понял, что значит «пиль», что значит «тубо», и начал ображать, когда люди сердятся и когда они довольны и одобряют. Потом я уже по глазам стал понимать людей и ещё по их жестам руками и головой. Раньше я не понимал, что значит «назад», и всё смешивал с «тубо», но когда Ваня один раз бросил рукавичку и остановил меня, крикнув «тубо», а потом — «назад», я догадался, что «тубо» значит не трогать, а «назад» — идти обратно, вернуться... Кое-чему ещё научила меня и Прасковья. Признаться, она меня иногда шлёпала рукой, тяжёлой рукой, и выгоняла за дверь. Сперва я не мог понять за что, но вскоре и это понял...

— Ты уж не махонький, должен понимать!..

А я действительно подросток: прекрасно бегал, научился глотать кости, отлично умел чесать лапой за ухом... Не могу забыть одного смешного происшествия. Однажды, забежав в комнаты, я увидел против себя собаку и начал лаять. Она тоже лает. Я ближе, и она ближе. Я стал её нюхать, и она меня тоже. Одним словом, передразнивает меня. Я хотел с ней поиграть: повалить её на пол и покусать небожно, ткнулся и ударился головой очень больно. Я думал, что это собака меня ударила лапой, и снова бросился с лаем на неё. И опять ушибся сильнее прежнего...

— Что ты, дурачок? — закричала Катя, взяла меня на руки и поднесла к столику, и тут я увидел, что там стоит ещё Катя, точь-в-точь такая же, как эта Катя, и держит тоже собаку...



— Тяжёлый ты стал!.. Не лай, дурачок, это — зеркало! — сказала Катя и опустила меня на пол.

Я подошёл поближе, посмотрел и понял, что это — волшебная штука: когда посмотришь в неё, то всегда увидишь там себя... Часто я потихоньку прокрадывался в комнаты и смотрел в это стекло... Иногда мне делалось страшно, и я тихо отходил прочь...

Теперь чаще стали пускать меня в комнаты, и Бобик, злая маленькая собачонка, побаивался меня трогать: поворчит, поскалит зубы, но близко не подходит. Теперь я был вдвое выше Бобика и, кажется, мог бы одной лапой отшвырнуть его в другую комнату. Бывало, я лягу под ломберным столом, а Бобик сидит на диване. Смотрим друг на друга и молчим, но я чувствую, как злится Бобик, позёвываю и насмешливо поглядываю на его маленькую беленькую фигурку... Мать Катина как будто бы тоже стала со мной ласковее. Это особенно сделалось заметным после того, как я принёс ей платок, который она выронила из рук, идя по комнате.

Бобику, конечно, это не понравилось: он желал, чтобы гладили только одного его. Бобик занял от зависти, а я обернулся и насмешливо посмотрел на него и нарочно потёрся около барыни...

VII

Бывали в моей жизни и крупные неприятности. Про одну из таких неприятностей я расскажу вам.

У нас бывало очень много народу, который люди называют гостями. Этих гостей кормят, поят и ухаживают за ними, как за Бобиком. Позвали меня в комнаты и заставили проделывать всё, что я умел: подавать им поноску, подкидывать с носу и есть кусочки сахара, ложиться на спину, прыгать через палку (этому меня тоже научил Ваня). Катя говорила стихи, и ей хлопали, а я проделывал всякие штуки, и все смеялись. И так было весело в комнатах, что я разыгрался. Прыгнув в последний раз через палку, я выбежал в переднюю, здесь, около стены, стояло множество калош, одну из них я схватил и начал с ней бегать. Надо сказать, что эти калоши люди делают из пахучего эластичного материала, который очень приятно жевать, особенно когда чешутся зубы. Вот я и решил сделать себе удовольствие: пожевать эту калошу. Незаметно я убежал в кухню, забрался под печку и занялся делом. Жевал долго, калоша приятно хрустела и упрямылась, сожму, а она расправляется, что меня немного сердило, и мне еще больше хотелось уничтожить калошу. Сидя здесь, я забыл про гостей и про всё на свете. А между тем калоши хватились. Кто-то позвал меня по имени, а я забылся и вылез из-под печки с калошей в зубах... Что тут было!..

Прасковья схватила меня за шиворот и вместе с калошей, которой я не выпускал изо рта, притащила в переднюю.

— Вот она, калоша, нашлась! — сказала Прасковья, не выпуская моего шиворота. — Изжевал, проклятый, вашу калошу!

Гости и мои хозяева, все вышли в переднюю, окружили меня и стали бранить. А я так растерялся, что продолжал держать калошу в зубах...

— Тубо!

— Отдай! Отдай!

Прасковья схватила другую калошу и стала ею бить меня по спине. А я так сконфузился, что не догадался, чего от меня требуют...

— Как же я пойду домой? — жалобно сказал один из гостей.

Подбежал Митя с ремнём и начал меня стегать. Другие кричали: «Будет! Не надо!» — а Митя стегал... Ужасная боль в спине, должно быть, от пряжки заставила меня обороняться, я выбросил калошу и стал огрызаться. Тогда Прасковья начала меня бить по морде.



И в конце концов меня, избитого, выгнали на двор... А был мороз, сильный мороз... Я был до того оскорблён, что в глазах моих дрожали слёзы, и я думал: «Теперь всё кончено! Больше я никогда не вернусь туда, где меня так бьют! Лучше замёрзнуть на улице, чем идти домой...»

— Иди, паршивый! — кричала Прасковья из сеней.

Но я отворачивался. «Не надо. Никто меня не любит, бьют, ненавидят... Убегу куда-нибудь далеко-далеко, и пусть меня поймают собачники и убьют», — думал я и сидел на грязном снегу около помойной ямы. Отсюда я видел, как в доме в окнах светился огонь и как там ходили люди... Жестокие люди!.. Неужели за то, что я пошалил и пожевал калошу — я был достоин такого ужасного позора?.. Вот если бы я изжевал кому-нибудь из гостей ногу, тогда, конечно, другое дело... Если бы я откусил кому-нибудь палец... Но ведь я ничего этого не сделал?!

Долго я думал так... В окнах погас огонь. Всё кругом стихло. На небе блистали звёзды. Деревья за забором стояли мохнатые от инея. Похрустывал изредка снег под ногами редких прохожих. Я тихо побрёл в маленький домик, где жила старая собака. Здесь было пусто, только железная цепь лежала на полу, словно холодная змея... Пропал мой старый приятель... Слышал я в кухне, что добрая собака умерла... Где теперь она?.. И что с ней?.. Что значит — умереть? Должно быть, это нехорошо... Говорят, что её где-то зарыли в землю... Свернувшись клубком на сене, я думал о старой собаке, о собачьей жизни, и мне было грустно и тяжело... А в отверстие смотрело синее небо и золотые звёзды, и деревья за забором стояли молчаливые и словно тоже думали вместе со мной о нашей собачьей жизни и грустили...

Где-то залаяла собака, далеко-далеко. Я вспомнил свою мать и потихоньку заплакал.

VIII

Проходила зима... Радостно было на душе, и всё тянуло на воздух под открытое небо. Я весь день проводил на дворе... Текли по канавкам лужи, с крыши капала вода, деревья за забором почернели, и часто на них садились какие-то чёрные птицы и кричали зычным голосом:

— Кра! кра! кра!..

Я начинал на них лаять, а они, взмахнув крыльями, улетали куда-то и опять там кричали «кра!»



Под забором, где обтаял снег, всегда толпились куры с петухом. Они шевырялись ногами в навозе и чего-то искали и находили там. Что там они находят? Я несколько раз подходил, рылся передними лапами, нюхал и никогда ничего не находил!.. Сперва они очень боялись меня. Как, бывало, петух увидит, что я выбежал из сени, сейчас приосанится, поднимет одну ногу, посмотрит на меня одним глазом и закричит:

— Кто-о-о такой?

И все куры начнут повторять:

— Кто-кто-кто-кто, кто-о-о такой?!

Потом они привыкли ко мне и перестали бояться; с петухом же мы подружились и нередко вместе кушали из плошки гречневую кашу, которую Прасковья выставляла у крылечка.

С крыши сарая скатывался снег и падал, по карнизам висели ледяные сосульки и тоже обрывались и разбивались, как стеклянные, вдребезги. Небо было такое весёлое, словно смеялось. Пахло землёй. Солнышко так грело спину, что хотелось поминутно почесаться... Я бегал по всем закоулкам двора, прыгал и лаял, и мне хотелось всех полизать и со всеми поласкаться. Бывало, Прасковья выйдет из кухни с помоями, а я сейчас подскочу к ней, начну на неё лаять, схвачу за подол зубами и тяну. И Прасковья стала веселее и добрее...

— Будет тебе, окаянный!.. Цима! — кричит Прасковья, а сама хохочет, громко хохочет...

Снегу делалось всё меньше и меньше, и скоро двор совершенно потемнел от земли, а кое-где у заборов выглянула зелёная травка. Я любил щипать эту травку и нюхать её. Всё сильнее стало тянуть меня на улицу к собакам, которые, забегая на двор, звали меня бегать с собою. Но я побаивался... И недаром!.. Словно чувствовало моё сердце, что на улице меня ждёт беда...

Однажды я не вытерпел и соблазнился: выбежал один на улицу, где слышался страшный собачий шум. Что такое? Смотрю: дерутся собаки. Из-за чего? Захотелось узнать, что случилось, и я подбежал поближе. Вижу — большая рыжая собака повалила на землю чёрную и грызёт её. Чёрная отбивается, обе треплют друг друга и готовы разорвать противника в клочки. А все другие собаки смотрят... Жалко мне стало чёрную. Я хотел остановить побоище и залаял:

— Брось! Брось! Брось!

Рыжая собака бросила чёрную, и не успел я опомниться, как кувырком полетел на землю... и почувствовал зубы около моей шеи... Чёрная собака, освободившись, вскочила и кинулась опять

на рыжую, а рыжая стала грызть меня... И другие собаки вмешались в дело, и пошла такая свалка, что я и рассказать не умею. Это было ужасно! Из соседних домов выскочили люди, один из них притащил ведро воды и вылил на нас... Тут только все собаки рассыпались в стороны и опомнились... Я с трудом встал на ноги и, громко подывая и прихрамывая, весь мокрый побежал домой. Кровь сочилась из моей шеи и из ноги, и болело прокушенное ухо... Я бежал, и мне казалось, что меня догоняет рыжая собака и вот-вот сейчас перевернёт меня и снова наляжет, и сверкнут её острые зубы... Я поджал хвост и запрыгал на трёх ногах к дому... Только очутившись на дворе, я облегчённо вздохнул и остановился. Уф! Устал!

— Это что значит?

Я оглянулся и увидел Катю с мячиком в руках. Мне было стыдно, потому что я был весь мокрый и очень некрасивый. Я потупился в землю и слегка шевельнул хвостом.

— Ты купался? — удивлённо спросила Катя. Но тут она увидела кровь на моей шее, на лапе, которую я поджимал к туловищу, и бросилась ко мне испуганная: — Что это? Бедненький! Тебя искусали собаки?

Я пожаловался. Катя взяла меня за искусанную лапу, мне сделалось больно, и я вскрикнул. Проходила мимо Прасковья.

— Искусали? — спросила она и добавила: — Так и нужно: не лезь, куда тебя не спрашивают!

Словно Прасковья была рада, что меня искусали собаки.

— Грязный, паршивый! — сказала она. — Бросьте его, барышня, а то всё платье испачкаете... Не стоит он вашего внимания... У-у, паршивый!.. На цепь тебя надо посадить, шатущего!

Я вздрогнул, услышав слово «цепь»... Было в этом слове что-то страшное, что пугало меня больше всего на свете. Я возненавидел эту цепь с того дня, когда зимой попробовал перекусить её, чтобы освободить покойного Руслана... И теперь, услышав предложение Прасковьи — посадить на цепь, я привстал и, прихрамывая, пошёл прочь... «Саму тебя надо посадить на цепь!» — подумал я про Прасковью и запрыгал на трёх ногах к крыльцу.

Катя догнала меня и поласкала.

— Пойдём, я тебя полечу!.. — сказала она.

Принесла тряпку, завязала мне искусанную лапу, промыла ухо и дала молока. Я поел и ушёл под печку. Там я лежал и трялся, словно в лихорадке, засыпал, и во сне мне снилась всё та же рыжая собака:

будто бы она пробралась в кухню, крадётся под печку и, скаля зубы, говорит:

– Вот куда ты спрятался!..

И глаза её сверкают в темноте, зубы белеют, и вытягивается шея... Вот-вот бросится и разорвёт на части!..

Я вздрагивал и просыпался... Никого нет! Всё это приснилось... Слава Богу, я дома, под печкой, и никто не может меня тронуть!.. И я снова засыпал с улыбкой на губах.

IX

В середине мая приехал Катин брат, студент Миша, и, когда перецеловал всех родных, первым делом сказал:

– Теперь покажите мне Верного!..

Я лежал под диваном и, услышав своё имя, выглянул.

– Вот он! Иси!.. Верный!..

Я вышел, Миша наклонился ко мне, осмотрел меня со всех сторон, потрогал за хвост и за уши и сказал:

– Не дворняжка!.. Есть в нём что-то, напоминающее пойнтера...

Я не понимал, что значит слово «пойнтер», но почувствовал, что это – хорошо, выпрямился и встряхнул ушами.

– Он поноску подаёт! – сказала Катя.

– И прыгает через палку! – добавил Митя.

Студент бросил платок, я принёс.

– Кто его выучил? – спросил он.

– Никто!

– Сам!..

Мне хотелось бы сказать, что выучил меня Ваня, но я не мог говорить, и мне было обидно, что никто не вспомнил про Ваню...

– Ну, теперь, братец, я тебя буду натаскивать!.. Как только переедем на дачу – будем ходить по болотам...

Сильно изменилась моя жизнь с приездом студента Миши. Миша завёл строгие порядки: кончилась моя беготня по двору и кончилась дружба с Ваней и Прасковьей. Наверху была комната, и там мы поселились с Мишей.

У окна стоял письменный стол, под столом постлали коврик, и на этом коврике заставляли меня лежать весь день и всю ночь. Миша надел мне на шею ременный ошейник с кольцом и только на шнурке выводил меня на двор и на улицу... Он каждый день заставлял меня подавать поноску, искать спрятанный платок, ползать на животе...

Сам кормил меня и купил хлыст. Надоедало мне лежать всё на одном месте под столом. Бывало, лежу и слышу, как на улице лают собаки, как на дворе кричат Катя и Митя, как Прасковья хохочет где-то... Если Миши нет в комнате, выйду из-под стола, встану передними лапами на подоконник и смотрю... Видны крыши зелёные и красные, видны трубы, колокольня, кусок неба синего-синего с белыми, словно из ваты сделанными, облаками... Видно, как по синему небу пролетают счастливые голуби, галки. Смотрю — и так мне делается вдруг скучно, что сил нет! Подбегу к двери и начну скулить и царапаться лапами. Тоска была ужасная сидеть взаперти, и я бывал рад, когда Миша привязывал меня на шнурок и выводил на двор. Конечно, на шнурке не то что на свободе: ни побегать как следует, чтобы пятки сверкали, ни попугать ворон и куриц, ни потрепать Прасковью за подол, — ничего этого нельзя было сделать... Но всё-таки лучше, чем в комнате. Один раз я всё-таки удрал из комнаты: растворил дверь мордой! Но не пришлось погулять как следует: увидал Миша, поймал меня, побил хлыстом и отвёл обратно.

Однажды в конце мая я заметил, что в доме творится что-то особенное: укладывали посуду, рылись в сундуках, выносили в сени узлы, складывали кровати... И все суетились, бегали, хлопотали... Что такое случилось?.. По двору на верёвках развесили ковры, тюфяки, одеяла... Прасковья кричала на дворе и с кем-то бранилась, барыня тоже часто кого-то бранила... Что, думаю, за история?.. Всё это меня сильно беспокоило, и я рвался из комнаты на двор, чтобы посмотреть и понять, что же это случилось... Однажды, очень рано утром, когда солнышко только ещё выглянуло из-за крыш, я услышал на дворе стук колёс, лошадиное ржанье, говор мужиков...

Миша спал на кровати. Я прыгнул на подоконник и посмотрел: три телеги, три лошади, три мужика... Мужики укладывают на телеги узлы, тюфяки, корзины, кровати... Всё это было так неожиданно и странно, что я вдруг залаял... Миша проснулся, потёр глаза, потянулся и, соскочив с постели, подбежал к окну.

— Поедем, собачка! — сказал он и начал торопливо одеваться, а потом вышел из комнаты, оставив меня одного.

Скоро на дворе забрякали бубенчики, и было слышно, как там распорядится Миша. Я, конечно, опять залез на подоконник. Вижу — на дворе ещё две пары лошадей, запряжённых в тарантасы... Катя и Митя стоят около тарантаса и разговаривают с ямщиком.

— На-ка, пожри, а то проголодаешься дорогой-то! Куда залез?.. — прозвучал вдруг голос в комнате.

Я оглянулся: это говорила Прасковья. Она принесла мне громадную плоску старых щей.

— Жри, окаянный!.. — сказала Прасковья и вышла вон.

Поел-таки я в своё удовольствие!.. Прямо скажу вам, что меня с этих щей раздуло... Я прилёг было на Мишину постель, потому что на моем коврике было не так мягко, но, заслышав голос Миши, спрыгнул, потому что Миша сам не спал на моём коврике, но зато не любил, чтобы и я спал на его постели.

— Ну!.. Иси!.. — сказал Миша, снял со стены ружьё и отворил дверь.

Вышли мы на двор. Здесь была вся семья, и все были необыкновенно веселы и довольны. Прасковья залезла на высокий воз и торчала там, смешная такая — в белом платке с самоваром в руках!.. Бубенчики брякали мелодично так, и лошадки кивали головами и фыркали. Начали рассаживаться. На одном тарантасе сели Митя, Катя, Миша и я, а на другом — барыня, тётя, горничная... Заскрипели телеги и выехали со двора, а потом выкатились и наши тарантасы...

Поехали!..

Я никогда ещё не ездил на лошадях и теперь испытывал некоторый страх. Тарантас покачивался, подскакивал — и я тыкался мордой в Катины колени. Голова немного кружилась, и казалось, что дома и улицы шевелятся и ползут мимо... Я пытался выпрыгнуть, чтобы бежать за тарантасом, но меня не пускали... Я выглядывал изредка из тарантаса и ворчал на пробежавших собак.

— Боже мой, как его раздуло! — сказала Катя, глядя меня по спине, и все стали смеяться.

— А он может лопнуть? — спросил Митя.

И опять все засмеялись. Митя похлопал меня по животу и сказал:

— Обкушался, голубчик!.. Точно шар сделался!..

Как только город кончился, ямщики остановили лошадей и развязали колокольчики... И пошла музыка!..

Обе пары поехали рысью по мягкой дороге, и запели колокольчики и бубенчики! Даже сердце запрыгало от радости!.. Кругом простор, зелёные поля, поют птицы, воздух такой вкусный, что так бы и дышал и дышал им. Я привстал немного, окинул взором небо, землю да как выпрыгну вон из тарантаса!.. Выскочил и побежал за воронами...

— Назад!.. Назад!.. — закричал Миша.

А я себе лечу по траве всё дальше, дальше... Будь что будет!.. Всё равно: семь бед — один ответ! Когда я догнал наших и побежал за тарантасом, Миша поворчал на меня, погрозил хлыстом,



но не ударил... Я запыхался, мой язык болтался под губами, слово красная тряпка, мне хотелось пить, ужасно хотелось пить... Я бежал, опустив голову, позади тарантаса, между вертящимися задними колёсами; пыль кружилась за тарантасом и, попадая мне в рот и нос, заставляла меня чихать... Долго бежал я и не заметил, как тарантас въехал в ворота, а потом покатился вдоль улицы... Дома здесь были маленькие, не как у нас в городе, и крыши у них были соломенные; маленькие люди не носили башмачков, а бегали босые и не носили шляп; женщины ходили без зонтиков, а взрослые мужчины вместо штиблет носили какие-то туфли из лыка, и здесь тоже жили собаки, и очень злые собаки... Со всех сторон побежали эти собаки за нашим тарантасом и подняли такой лай и визг, что я страшно перепугался: я вспомнил драку в городе, когда мне прогрызли ухо, прокусили шею и лапу, и, конечно, спрятался под самый тарантас и бежал там, а ямщик и Миша отгоняли злых собак кнутом и хлыстом, отчего те только ещё сильнее злились... Проехали мимо церкви, потом стали подниматься на гору. Лошади устали и пошли шагом, слез Миша, и мы трое пошли вместе. Въехали в гору; тут стоял какой-то странный высокий дом и махал громадными крыльями. Я посмотрел и залаял на этот живой дом с крыльями.

— Дурачок! Это — мельница! — закричала Катя.

Я понял, что бояться нечего. Подбежал поближе, заглянул в растворённую дверь, там был шум, вертелось что-то и скрипело, и на полу и везде лежала какая-то белая пыль, а пахло всё-таки чем-то вкусным. Мужик, весь белый, стоял в полутёмном углу — этого мужика я испугался... Дело в том, что я вспомнил сказку про колдуна, которую когда-то Прасковья рассказывала своему Ване, и теперь подумал: а вдруг это и есть колдун? Лучше уйти от греха!.. И я побежал к тарантасам. Опять выехали в поле... Пели над головой какие-то птицы, радостно так пели, звенели колокольчики и бубенчики, и ямщики, помахивая кнутами, покрикивали: «Эх, родимые!» — и свистели...

Тогда лошадки начинали бежать сильнее, только подковы сверкали на солнце, и я едва поспевал за тарантасом... Попалась на дороге лужа; вода в ней была коричневая и пахла глиной, но я так хотел пить, что обрадовался и этой воде. Сунул в лужу морду и пил-пил... Потом вошел в лужу по колени и фыркнул, а потом вылез и, встряхнувшись, побежал бодро, потому что освежился... Попадались на дороге встречные телеги с мужиками и бабами, попадались пешеходы... Я на всех их лаял просто от весёлости, а они боялись...

Скоро дорога пошла лесом... Здесь было темновато и сыро, и часто приходилось прыгать через лужи. Колокольчики звучали здесь очень громко, и шумели деревья. По кусточкам прятались какие-то маленькие птички и при моём приближении испуганно пищали и разлетались в стороны. Иногда попадались прекрасные зелёные полянки с ровными красивыми берёзками, в зелени краснели и желтели цветочки, а трава была высокая, так что я прыгал в ней, чтобы не путались ноги...

И вдруг мы свернули вправо и поехали тихо... Я посмотрел вперёд и через деревья увидел белый сосновый дом с балконом, маленький домик с трубой, ограду, качели... Катя с Митей закричали «ура!»

Этот дом в лесу, как я узнал потом, назывался дачей...

Х

С пал я первую ночь на даче как убитый. Устал, конечно, набегался, чуть на ногах держался; надо было поскорее лечь, да не хочется: интересно посмотреть, куда это мы приехали... До самой ночи ходил около дачи, был с Катей на речке, осмотрел все закоулки и переулочки, шевырялся в каретнике, в дровянике и попал в беду: наткнулся на какую-то жестяную штуку с ручкой и с носом, как у чайника, влез в неё мордой, а назад её вытащить не могу... Мотаю головой, она гремит, а не слезает... Пришлось побежать на веранду, где наши пили чай; тут надо мной много смеялись, но жестянку всё-таки сняли. В кухне меня Прасковья накормила — она приехала к вечеру — и тогда я залёг в кухонных сенях и проспал до утра без просыпу... На другой день у меня болели ноги, и я ходил, как старый Руслан... А на третий Миша взял ружьё и позвал меня с собою... Что такое ружьё, я хорошенько не знал ещё, поэтому немного побаивался его... От дачи шла узенькая тропинка в лес, и по этой тропинке мы отправились. Прошли лес и вышли на луга... Миша был в больших сапогах и сделался очень серьёзным и строгим, как только у него под ногами забулькала вода... Зачем, думаю, полез Миша в болото?

— Вперёд!..

Побежал я вперёд... Пошли кочки, а между кочками стояли лужи, и на них плавал словно жир какой-то... Понюхал — пахнет ржавчиной... И вдруг, не прошли мы десяти шагов, как я почувствовал, что пахнет какой-то птицей... Так в носу и зафинтило! Пошёл потише, осторожнее, повожу носом, а Миша стоит на месте, ружьё положил на руку и ждёт чего-то...



— Вперёд, вперёд! — тихо говорит Миша...

Я иду, поднимая ногу за ногой, и слышу носом, что где-то близко-близко пахнет птицей... У меня дух замер, и сердце застучало... Повожу мордой, вытянул шею... Слышу, из одной кочки так вот и несёт птицей!.. Птицы не вижу, но отлично чувствую, что она в этой кочке... Остановился, поджал одну переднюю лапу, вытянул, насколько мог, шею и замер... Мурашки даже забежали у меня по спине, и слюни потекли изо рта...

— Пиль! — крикнул вдруг Миша.

Я бросился на кочку и испугался: оттуда с шумом вылетела какая-то серая птица с длинным-предлинным носом и полетела над болотом, проскрипев как-то испуганно раза два-три... Я кинулся было за ней, но в этот момент раздался такой удар, словно гром прогремел, — и я шарахнулся в сторону... Смотрю: Миша опускает ружьё, а из ружья выходит дымок... И около Миши тоже дым крутится и падает по болоту...

— Вперёд! Ищи! Тут! Тут! Тут!

Миша махнул рукой, и я понял, что надо чего-то искать... Должно быть, надо найти эту самую птицу с длинным носом... Побежал я вперед и нюхаю... Кинусь в одну сторону, потом в другую; булькает у меня под ногами вода, брызги летят кверху; слышу — пахнет опять этой птицей... Стал кружиться, понюхивать, вертеть хвостом и встряхиваться... Унюхал!.. Вижу, на самой кочке лежит эта птица и не шевелится... Подошёл, понюхал и залаял от радости...

— Иси!..

Я схватил птицу за крыло и принёс Мише. Он взял птицу, похлопал меня по шее и сказал:

— Молодчина! Это, братец, дупель!.. Понюхай и запомни!.. А теперь — вперёд!..

Ещё я нашёл такую же птицу, и Миша опять ударил громом из ружья, но птица не упала; я видел, как она улетела далеко-далеко, через речку... Было мне очень досадно, и не хотелось больше искать. Проходили мы ещё часа два и больше ничего не нашли.

— Пойдём домой! — сказал Миша...

И мы пошли домой.

Там накрыли обедать, когда мы с Мишей вернулись. Миша вытащил из сумки птицу, взял её за длинный нос и сказал:

— Жаркое!..

А потом стал хвалить меня. И все другие хвалили и гладили меня, а я гордо смотрел то на них, то на птицу с длинным носом, поматывал хвостом и думал: «Вот то-то и есть!..»



Почти каждый день ходили мы с Мишей на болото, и я так полюбил это дело, что как только, бывало, Миша возьмёт ружьё, я запрыгаю от радости, завизжу, залаю и помчусь вперёд... И всегда приходили домой с дичью...

Другим моим любимым занятием было ходить с нашими на речку — купаться. Речка была красивая: по берегам ее росли деревья, на воде плавали белые лилии, кое-где зеленел камыш... Как разделутся наши и полезут в воду, я сейчас же начинаю плавать за ними и лаять... Весело! Поднимаем такой шум, что весь лес вздрагивает и смеётся вместе с нами! Иногда я озорничал: вылезу из воды мокрый, пойду к тем, которые только ещё разделись, и начну встряхиваться... Сердились иногда и гоняли прочь... Недалеко от того места, где мы купались, было небольшое болотце: там я ловил лягушек; поймаю, притащу к нашим и положу кому-нибудь на одежду!.. Вот, бывало, визг поднимется!.. В таких случаях я обыкновенно убирался подальше, потому что за это раза два меня били розгами.

Ходили мы в лес за ягодами. Любил я пожевать землянику, побегать по кусточкам и полаять: лаешь — кажется, что где-то ещё лает собака... Послушаешь — и опять начнёшь лаять... А Катя и Митя кричат «ау!» — и их голоса звонко разносятся по лесу... Одно было плохо: не было знакомых собак, а без собак, что ни говорите, скучновато бывает иногда... Верите ли, бывали дни, когда я бегал на опушку леса, чтобы полаять и послушать, как в лесу отдаётся мой собственный лай... Лаешь и слушаешь — и кажется, что нас двое... Теперь вы поймёте, почему я сдружился с поросёнком, который жил у нас в каретнике... Всё-таки немного да похож на собаку!.. Бывало, лежим мы вместе с поросёнком в холодке, а я воображаю, что это — собака. Ищу ему зубами блох, обнимаю его лапой... И все удивлялись нашей дружбе...

— Два друга: колбасник и его супруга! — смеялись над нами.

Шли дни за днями, и однажды, стоя в воде, я увидел себя и удивился: неужели это я, такой большой и красивый?.. Смотрел и понять не мог, когда я успел так вырасти?.. Неужели детство моё кончилось, и я сделался совсем большим? «Как быстро летит время», — подумал я, и мне сделалось грустно...

Куковала где-то кукушка, жалобно так куковала. Я вылез из воды, сел и задумался... Солнце садилось за лесом и играло на высоких соснах золотыми переливами. В лугах кричали коростели. Над речкой толпились стаей мошки... Кругом было тихо и печально, и мне захотелось плакать.



XI

Это проходило. Позднее светало, и раньше темнело. На берёзках и липах появились жёлтые листья. По утрам трава покрывалась росой, и вдали над речкой колыхался белый туман. Часто небеса меркли от серых туч, и дождь сыпался на землю иногда крупный, как горох, а иногда мелкий, как пыль. Тем приятнее были дни, когда солнышко не пряталось за тучами и ярко заливало скошенный луг, сжатые поля, желтеющий лес. Наши перестали купаться: вода сделалась холодной. Теперь мы с Мишей повадились ходить на озёра за утками... Утки сидели до вечера в гречихе и наедались там до отвала, а вечером, как только закатывалось солнышко, они со свистом летели на озёра и, выбирая чистенькие места меж камышей и плавающих растений, брякались в воду... А мы обыкновенно к этому времени уже сидели в засаде. Миша сидит в кусту. Я лежу около него, и ожидаемся... И у меня, и у Миши дух замирает... В воздухе то и дело слышится свист утиных крыльев... Я смотрю то в небо, то на Мишу. И вдруг — тррах!.. — выстрел, тррах! — другой... Уток поднимается с озера множество, разобьются они на несколько стаяк и летают над озером вереницами... Кружатся, кружатся и вдруг начнут опускаться ниже-ниже — хотят снова сесть... Если налетят на нас, Миша опять — трах-трах!..

Весёлая охота!..

Когда станет совершенно темно, я отправлюсь отыскивать убитых уток... Случалось, что мы приносили домой по четыре-пять уток, жирных, тяжёлых... Однажды, когда мы с Мишей сидели в засаде около озера и ждали уток, на другой стороне зашумели камыши, и кто-то тихо сказал:

— Джальма! Назад!..

Я вытянул шею и посмотрел: из камышей выставлялась голова человека и торчало ружьё. Понюхал я воздух — чувствую, что пахнет собакой... Я привстал было, но Миша хлопнул меня по спине, и я лёг, мучимый любопытством. И вдруг... лай, мелодичный звонкий лай!.. Разве можно было промолчать, не ответить?..

— Джальма! Тубо!..

Я не вытерпел и залаял!..

Миша встал и крикнул:

— Не убить бы нам друг друга!.. Надо сесть в разных концах!..

Они поговорили ещё, и мы двинулись в обход охотника, на другой конец озера. Когда мы проходили мимо, охотники поздоровали



лись, поздоровались и мы... Дивная Джальма!.. Никогда не забуду этой встречи!.. Белая волнистая шерсть с жёлтыми пятнами, большие зеленоватые глаза и гордая поступь!.. В зелёных камышах Джальма показала мне дивным видением. Я прямо остолбенел от изумления и радости. А она стояла; в зеленоватых глазах её сверкала лёгкая улыбка, и хвост её с белой бахромою слегка покачивался; на её груди была коричневая манишка, а на лбу — жёлтый кружок...

— Верный! Вперёд!..

А я стоял и не мог оторваться...

— Верный! Вперёд!..

Я пошёл, неохотно пошёл, и поминутно оглядывался назад, где в зелёных камышах сверкала белизною спина Джальмы. И меня тянуло, неудержимо тянуло назад; я отбегал в сторону, и меня подмывало удрать от Миши... Солнце большим багровым шаром сверкало через лес.

По озеру плыли розоватые и золотистые блики, в воздухе просвистели утиные крылья... Миша присел в камышах и сказал: «На место!..» Я прилёг позади Миши... Просидели мы не более десяти минут, как на другом конце озера грохнул выстрел... Миша привстал, чтобы посмотреть, а я нырнул в камыши и потихоньку пошёл прочь, всё дальше, дальше от Миши и всё ближе к тому берегу... Вылез на сухой берег и рысью помчался к Джальме... Скоро я достиг цели: стоял около Джальмы. Охотник, хозяин Джальмы, сердито сверкнул на меня глазами и тихо проворчал:

— Пшёл к чёрту!..

А я сел и любовался Джальмой.

Тогда охотник, ругаясь, встал и больно ударил меня плетью. Я слегка взвизгнул, отошёл шагов на десять и опять сел.

— Пшёл к чёрту!..

Джальма подошла ко мне, и я забыл всё на свете. И не заметил я, как охотник подбежал ко мне... Схватив меня за ошейник одной рукою, он начал хлестать меня плетью по спине... Долго и больно бил он меня, а Миша кричал вдали:

— Хорошенько его! Хорошенько!

Джальма сконфузилась. Она отошла прочь и легла в камышах, а я, избитый и поруганный, с обидою на сердце, тихо побрёл прочь... А когда я с опущенным хвостом приблизился к Мише, он тоже схватил меня за ошейник и начал стегать веткой тальника. Это уже было несправедливо. Разве недостаточно побил меня

хозяин Джальмы? Разве справедливо наказывать за одно и то же два раза?.. Я со слезами на глазах лёг и стих. А потом, когда Миша оставил меня, я шарахнулся в сторону и побежал домой... Бог с ними!..

Миша вернулся на этот раз с пустыми руками, сердитый и хмурый.

— Болван! — крикнул он мне и погрозил кулаком.

«Болван так болван», — подумал я и пошёл прочь, подальше от Миши. И я радовался, что он не принёс ни одной утки...

Ага... без меня небось ничего не принёс!.. Поди-ка полазь в воде, в холодной воде!..

С этого дня я стал думать, кто такая Джальма, где она живёт и как бы мне увидеть её... Я рыскал вокруг дачи, бегал в лесу, по дорогам, лаял и грустил. Под ногами шумели сухие жёлтые листья, грустно желтели сжатые поля, жалобно пищали в кустах какие-то птички...

— Джальма! Джальма! — лаял я, и мой лай одиноко замирал вдали, не вызывая ответа...

Надеялся я, что когда-нибудь на озёрах я снова встречу с Джальмой, но Миша на охоту за утками не ходил, а таскал меня к лесу на тягу за вальдшнепами... Я был рассеян, плохо слушался, делал промахи и сердил Мишу.

— Совсем дурак стал!.. — сердито говорил Миша и пинал меня ногою.

XII

Всерый пасмурный день возвращались мы с дачи в город. С утра моросил мелкий дождик, и по небу плыли серые тучи. Подувал холодный ветер, и дрожали на деревьях чахлые, жёлтые листочки, словно и им было холодно... На этот раз меня не посадили в тарантас, хотя я с удовольствием бы улёгся там, и я всю дорогу бежал, мокрый, грязный и печальный... На дороге была непролазная грязь, то и дело приходилось перепрыгивать через лужи и попадать в жидкую грязную кашу. На колёсах у тарантасов налипло много глины и чернозёма и швыркало их кусочками иногда прямо мне в морду... Попутные деревья стояли мокрые, как курицы, избёнки выглядели несчастными, скучными... И даже злые деревенские собаки куда-то попрятались и не кидались на меня, как это было, когда мы ехали на дачу... И мысли

у меня в голове бродили печальные... Пропало лето!.. Начнутся холода, меня опять засадят в кухню, и долго-долго я буду ждать весны, когда снова буду бродить по зелёным камышам озёр и, может быть, снова встречу белую Джальму. Сжатые поля были покрыты колючей отавой, иногда с придорожных болот поднимались противные надоедливые пигалицы и, поддразнивая, начинали летать надо мною и визгливо кричать:

— Пи-кий! Пи-кий!

И мешали мне думать и грустить...

Колокольчики звучали как-то вяло и тускло, и ямщики погоняли лошадей какими-то усталыми голосами:

— Ого-го-го!..

Поздно ночью в темноте показалось зарево огней: мы подъезжали к городу. Это было красивое зрелище, и я немного оживился... Огни мигали, вспыхивали, дрожали и тухли, и над городом стоял блестящий туман... Чем ближе мы подъезжали, тем ярче разгорались огни, но зато блестящий туман потухал и меркнул... Показались первые постройки. Ямщики остановили лошадей, подвязали колокольчики, и скоро тарантасы загремели и запрыгали по каменной мостовой...

Приехали!..

Катя и Митя отсидели ноги и едва вылезли из тарантаса. Они пошли на крыльцо, словно хромые, смеялись и радовались чему-то...

А я был зол и раздражителен, страшно хотел жрать и очень холодно принял заигрывания Бобика, который визжал от радости и кружился, как волчок, около Кати...

— Убирайся ты!.. — проворчал я и направился в кухню.

Прасковья уже растопила плиту и торопилась с ужином. Пахло чем-то очень вкусным, так что слюни текли у меня по губам, и надо было много характера, чтобы не сблудить, не стащить под шумок приготовленной жариться котлетки или не лизнуть молока из кастрюли. Я потянул Прасковью за подол и, когда она оглянулась, облизнулся. Она поняла меня, но не сжалилась:

— Поспеешь!.. Мы сами не жравши... Господин какой, подумаешь...

«Господин!.. Словно только господин хочет есть, а мы, собаки, не можем этого желать!.. Странные рассуждения», — подумал я.

И, когда Прасковья вышла в сени, стянул котлетку и разом проглотил её... Потом посмотрел на дверь — Прасковьи нет — и проглотил ещё одну... Чертовски вкусно!.. Мягкие, ароматные, без жил...



Прямо катятся в горло, и не успеешь насладиться, как проскальзывают в желудок... Я намеревался было проглотить ещё одну котлеточку, но в этот момент вошла Прасковья и закричала, словно случился пожар или какое-нибудь другое ужасное несчастье...

— Чтобы тебя разорвало, окаянный!..

Я понял, что Прасковья способна в эту минуту сделать всякую глупость, и поспешил шмыгнуть под печку...

— Ах ты, леший! А! Вот я тебя...

Я сидел в углу и облизывался, а Прасковья пихала кочергой и всё мимо...

Пришла барыня в кухню.

— Что такое?

Слышу: барыня ругает не меня, как бы оно следовало по справедливости, а Прасковью, словно Прасковья съела котлеты!..

— Разиня! Рохля! Он — дурак, а ты должна быть поумнее...

«Он» — это я... Слушаю и удивляюсь: Прасковья плачет... Стало мне неловко... Я положил морду на лапу и притих. Барыня ушла, а Прасковья начала ругать барыню...

Чудаки! Из-за меня поссорились и разбранились... А говорят, что я — дурак... Ошибаются...

Пришёл Миша с нагайкой.

— Верный! Поди сюда!

Я по тону голоса понял, что ничего хорошего не выйдет, если я вылезу, а потому притворился, что не слышу.

— Поди сюда, говорят тебе! — ещё строже приказал Миша.

«Как же, держи карман!» — думал я, лёжа под печкой.

Так я и отлежался. А к утру злость у всех прошла, и, когда я вылез, Прасковья ограничилась тем, что шлепнула меня мокрой тряпкой, а Миша обругал «вором».

Небось будешь вором, когда поморят голодом...

ХIII

Миша уехал в университет. Катя с Митей стали ходить в гимназию. Тихо стало у нас и скучно... Прошло моё детство, пролетела юность... Теперь я был совсем большой, и мне не хотелось играть и прыгать, как прежде... Теперь я жил в комнатах: в передней был постлан для меня коврик, на котором я спал, а днём я обыкновенно лежал в зале под роялем... Каждое утро я провожал Катю в гимназию:

она была ещё маленькой девочкой, и её могли обидеть на улице. Я обыкновенно брал в зубы её связанные ремнём книги и нёс их за Катей до самой гимназии, а потом возвращался себе не торопясь домой.

Зима наступила, вторая зима моей жизни, и в конце этой зимы я перенёс страшную болезнь, которую называют чумой.

Не помню, как я захворал и сколько времени пролежал. Уже начал таять снег, когда я впервые выглянул на двор. Похудел я ужасно: все рёбра торчали у меня, как у скелета, ноги, длинные и тонкие, плохо слушались, и болели глаза от яркого света... Ошейник снимался прямо через голову, до того тонка стала моя шея, а главная беда в том, что я потерял обоняние... Раньше, бывало, из другой комнаты слышу, чем пахнет: говядиной, хлебом или молоком, — теперь я перестал это чувствовать... Раньше по следам мог определить, кто прошёл по двору: Прасковья, Митя или дворник, — теперь не мог... Это — ужасное состояние! По-моему, это всё равно, что ослепнуть... А тут и глаза болели и слипались, текли слёзы, и надоедал насморк... Все меня сторонились. Тоскливо было на душе, и не хотелось смотреть на Божий свет... Надо ещё сказать, что, когда я заболел, меня выселили из комнат в сени, в холодные сени... Положили в большой ящик сена, прикрыли кошмой, и там я лежал, одинокий и забытый...

Когда приехал Миша, я уже оправился, хотя всё ещё был слаб, скучен, скоро устал... Я подошёл к нему с опущенной головой и хотел поласкаться:

— Пшёл!.. Опаршивел!..

Я печально отошёл прочь.

— Потерял он обоняние... Теперь ни к черту не годится, — сказал Миша...

Я вышел в переднюю и стал прислушиваться, что говорят про меня.

— Придётся другую собаку завести...

— А как же Верный?..

— Куда его?..

— Жаль всё-таки...

— Пусть караулит двор: посадить его на цепь, и пусть себе лает!..

Дрожь пробежала по моей спине... На цепь!.. Я вспомнил старого Руслана, который умер на цепи, и подумал: «Вот так же и я всю жизнь проживу на цепи, состарюсь и сдохну... Нет!.. Это жестоко, этого вы не можете сделать!..»



Однажды, когда я лежал на крыльце, грея спину на солнышке и слушая, как кудахчут курицы, петух вдруг закричал:

— Кто такой!..

Я оглянулся и вздрогнул от ужаса: Миша вёл на шнурке незнакомую легавую собаку, ласково трепал её и говорил:

— О-о, морда!.. Славная морда!..

Я залаял.

Миша посмотрел на меня и крикнул:

— Тубо!.. Свои!..

«Свои!..» Значит, эта собака взята в дом вместо меня... Заныло у меня сердце, и я завыл от обиды и досады...

XIV

Вот и теперь пришло благодатное лето, второе лето моей жизни. Много воды утекло за прожитый мною год жизни. Люди живут долго, а мы, собаки, совсем немного... Одного года от роду мы уже делаемся совершенно взрослыми... Прошёл год, и прошла моя юность, милая беспечная юность. Правда, много горя я видел в раннем детстве, но теперь горе ушло назад вместе со временем, и помнилось больше хорошее... Настоящее горе пришло ко мне только теперь... В комнате Миши, в мезонине, жила теперь новая собака... Как всё изменилось в моей жизни с появлением новой собаки!.. Все вдруг ко мне охладели, перестали меня ласкать, перестали пускать в комнаты... После болезни я остался худым, поджарым, и ребра обозначились на моих боках, как у скелета. На спине у меня образовалась плешина, и слезились глаза от солнечного света...

— У-у, паршивый!.. — кричали на меня люди, когда я пытался с кем-нибудь поласкаться...

— Противный стал!.. Убирайся! — говорила Катя, моя милая ласковая девочка, которая меня так любила раньше...

Я свободно бегал по улице, по двору, и казалось, что никому не было дела до меня. Аппетит у меня после болезни был большой, а есть стали давать мало. Все пожирала новая собака, а мне отдавали только то, что оставалось от неё, объедки... Обидно! Боже мой, как это было обидно!.. Бывало, лежу около конуры покойного Руслана и слушаю, как дети играют в комнатах с новой собакой.

— Фингал!.. Фингал!.. — только и слышно, что Фингал, а я, Верный, для них не существую...



Доходило до того, что меня забывали иногда покормить, и я, голодный, сидел под окном кухни и ждал, не выкинут ли из окна что-нибудь съедобное... Если бы была Прасковья, я, наверно, не голодал бы. Но Прасковьи не было. Она давно уже ушла со своими узлами со двора, чтобы никогда более сюда не возвращаться. Не знаю, что случилось, но вот что я видел и слышал: однажды барыня сильно поругала Прасковью, и, кажется, из-за Вани, который ночевал в этот день на кухне и поссорился с Катей. Прасковья заступилась за Ваню, связала своё добро в два больших узла, взяла за руку Ваню и ушла... Проходя мимо меня, Прасковья сказала:

— Прощай, Верный!.. Видно, уж не увидимся больше...

Я подошел к ней и поласкался...

— Собачья у нас с тобой жизнь, сынок! — сказала Прасковья вздохнув и добавила: — Пойдём, Ваня!

И они ушли... Ис тех пор я никогда не видал больше ни Прасковьи, ни Вани... Где они?..

На место Прасковьи пришла другая баба, так что в нашем доме была новая баба и новая собака... И новая баба сразу невзлюбила меня, перестала пускать в кухню и всякий раз, когда я попадался ей на глаза, говорила:

— Одёр какой! Подох бы, что ли, уж!..

Опять пришло время ехать на дачу, опять началась суматоха, хлопоты, оживление, опять на двор въехали телеги и тарантасы... Я вспомнил прошлое: вспомнил зелёные луга, пестреющие жёлтыми и синими цветами, вспомнил кочковатые болота со ржавчиной и задумчивые озёра в рамке камышей и осоки, вспомнил охоту, уток, дупелей, землянику, вспомнил белую Джальму — и моё сердце забилося радостной тревогой... И я тоже стал прыгать и лаять и от радости кидаться к Кате, к Мише, к новой собаке... Я сделался словно маленький, и мне хотелось лаять, лаять и бегать взапуски... Когда наши стали усаживаться в тарантасы, на один из которых посадили теперь Фингала, я выбежал за ворота, чтобы убежать впереди всех...

— Верный! Поди сюда! — закричал Миша.

Я вернулся, предполагая, что и меня посадят в тарантас, как то сделали в прошлом году. Но я жестоко ошибся.

— Подержите-ка Верного, а то увяжется за нами! — сказал Миша, схватив меня за ошейник...

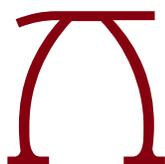
— Разве его удержишь? На цепь надо, а то всё равно убежит, — сказал дворник и поволок меня к конуре, где жил покойный

Руслан. Я упирался задними ногами в землю, мотал головой, скулил, но дворник не обращал никакого внимания. Дотащив меня до конуры, он защёлкнул кольцо цепи около моей шеи и сказал:

— Теперь не побежишь!..

Да, теперь не убежишь... Проклятая цепь приковала меня к конуре, и конура Руслана сделалась моей тюрьмой...

XV



Лошади тронули, забрякали бубенцы и подвязанные колокольчики, и замелькали спицы задних колёс у тарантасов...

— Прощайте! Прощайте! — жалобно лаял я вслед уезжавшим, потом рванулся вперёд и остановился в полном изнеможении: цепь, проклятая железная цепь, грубо дёрнула меня за ошейник, а ошейник сдавил горло.

— Прощайте! Прощайте!

Тарантасы выкатились и скрылись за воротами. Только стук колёс о мостовую да бубенчики ещё долго отдавались у меня в ушах и щемили сердце. Этот стук колёс и бубенчики наполняли мою душу безграничной скорбью и отчаянием, словно я терял всё дорогое в жизни... И если бы они могли понять это, они вернулись бы и взяли меня... Но они не понимали и не хотели понимать... Смолкли бубенчики, затерялись в общем хаосе городского шума... Всё пропало, и я — один на цепи...

Уехали, не пожалели...

Томительно тянулся день... Я думал о том, как меня обидели, и временами ненавидел своих хозяев. Мне хотелось моментами покусать всех их, облаять, как злых, чужих мне людей, меня оскорбивших незаслуженно... Я ходил около конуры, волоча тяжёлую железную цепь, и судьба Руслана стояла передо мной во всей своей жестокости... «Издых Руслан на цепи... Верно, моя судьба такая же... Неужели?.. Не хочу! Не хочу!» Я грыз холодные звенья цепи, пробовал передними лапами стащить ошейник через морду, уставал и в бессилии ложился и закрывал глаза... В голове шумело, и всё чудилось, что где-то звенят бубенчики... И слёзы катились у меня по щекам, бессильные слёзы прикованного железом... Трудно передать вам то, что я пережил в эти часы! Если когда-нибудь — чего не дай Бог! — вас посадят на цепь, вы поймёте меня... От тоски, злобы и отчаяния я царапал землю когтями и кусал свои ноги.





Пришла ночь, светлая и тёплая. В синем небе горели звезды, и месяц выглядывал из-за крыши и пристально смотрел на меня. Мне казалось, что месяц жалеет меня, и я начинал выть...

— Не вой, проклятый! — кричал спавший в каретнике дворник.
А я выл...

— Словно по покойнику... Ах ты, чтоб тебе пусто было!..
А я выл...

Дворник вышел из каретника.

— Что не брехаешь?.. И в караульчики, видно, не годишься!..
Он подошёл ко мне и звякнул цепью.

— Всю ночь провоешь... Пшёл! Брехай! Ну, пшёл, что ли!

Дворник пихнул меня в бок тяжёлым сапогом, я вскрикнул от боли и невольно шарахнулся в сторону. И, к моей радости и удивлению, цепь не потянулась за мной! Я не сразу понял, что случилось: на шее всё ещё оставалось такое ощущение, словно её тянет цепь.

Я осторожно помотал головой: легко! Прошёл к забору, посмотрел, не тянется ли за мной проклятая цепь, — не тянется!.. Значит, я свободен!.. Я зааял, громко зааял, повалился на спине, почесал ногой за ухом, встал и встряхнулся...

Слава Богу, я свободен!..

Но мысль, что меня могут снова посадить на цепь, заставляла меня пугливо настораживаться при каждом шорохе. Я подошел к дверям каретника, где спал дворник. Дворник уже храпел, а мне всё чудилось, что он кряхтит и грозит цепью... И конура казалась мне теперь тюрьмой, и я вздрагивал при виде сверкавшей на лунном свете цепи, что, как змея, изгибалась по земле, словно ползла в конуру... И прежде дорогие мне места теперь как-то сразу потеряли свою прелесть, и мне хотелось уйти от них далеко и навсегда... «Уйду!» — думал я и соображал, как выйти со двора... Ворота на запоре, под воротами — доска, забор кругом высокий... И тут я вспомнил, что в сарае есть дыра, через которую я когда-то лазил на чужой двор... Оглядевшись вокруг, я постоял перед домом, где пережил много радостей и горя. Дом смотрел на меня тёмными окнами угрюмо, неприветливо...

— Прощайте! Прощайте!..

Убедившись, что никто за мной не следит, я направился к сараю...

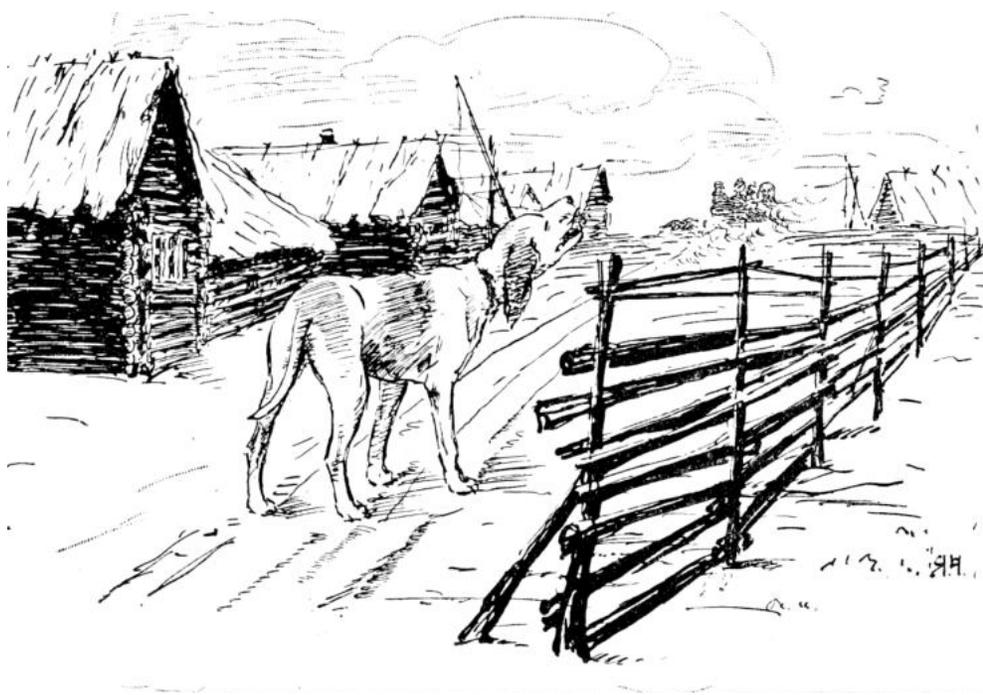
— Прощайте!

XVI

Я нырнул в дыру и пролез на соседний двор. Там была собака, с которой мы были в хороших отношениях.

— Куда? — спросила она меня, приветливо вильнув хвостом.

Я промолчал. Махнул только хвостом и выбежал на улицу. Долго я бегал по улицам и проулкам, пугая одиноких прохожих, пока не очутился за городом... Передо мной развернулась широкая поляна, вся залитая лунным блеском; серая дорога длинной лентой убегала вдаль и манила меня своей бесконечностью... Куда ведет эта дорога?.. Что там, где кончается эта дорога?.. Вдоль дороги стояли старые хмурые берёзы, и казалось, это шли великаны друг за другом, молчаливые и усталые... Побегу вперёд, всё дальше и дальше... Я прибавил шаг и двинулся вдоль по придорожной канаве. Моя тень падала на лужок и бежала вместе со мной, и часто я, углублённый в думы, пугался этой тени, принимая её за уродливую необыкновенную собаку... Долго бежал я... Не помню, что меня остановило: кажется, я услышал стук колёс... Остановился, оглянулся назад: город был далеко, очень далеко; в лунном свете сияли купола



далёких церквей и чуть-чуть мигали огоньки... Подул ветерок, зашумели старые хмурые берёзы и лес, сделалось жутко... Была минута, когда я был готов вернуться назад... Но, вспомнив цепь, я не вернулся... Отвернувшись от города, я тряхнул хвостом и побежал вперёд, всё дальше...

Добежал до деревни. Знакомые ворота, прясла... Когда я их видел? Ах, это та самая деревня, которую мы проезжали в прошлом году, когда ехали на дачу, та самая, где на меня набросились злые собаки...

Я устал, не было сил бежать дальше. Пробрался на зады, на огороды. Здесь в одном месте была свалена старая солома: в эту солому я зарылся и уснул как убитый.

А когда я проснулся, солнышко смотрело уже на землю, а около меня стояли два белоголовых пузатеньких босых мальчика и с любопытством наблюдали за каждым моим движением... Я приветствовал ребятшек слабым движением хвоста, и они подошли поближе.

— Тятя! Собака, да хорошая!
За плетнём стоял мужик.

— Смотрите, не укусила бы! — сказал он.

— Она хвостом дрягает!..

Один карапуз погладил меня. Я посмотрел на него ласковыми глазами. Тогда и другой потрогал меня за хвост.

— Не тронь за хвост! Укусит! — сказал мужик и перелез через прясло. — Никак господская собака-то!.. Охотничьякая...

Мужик подошёл и похлопал меня по плечу...

— Хорошая собака! Стоящая собака!.. Учёная, поди!.. Ну-ка, подай поноску!

Он поднял щепку, поплевал на неё и бросил. Я, конечно, подал её — и мы стали друзьями...

— Пойдём! Как тебя звать-то? Трезор, поди?..

Мы пошли все вместе. Меня привели на двор, крытый двор, где пахло скотиной и навозом. На крылечке стояла баба, очень похожая на Прасковью, до того похожая, что при виде её я вздрогнул и остолбенел от изумления.

— Где взяли собачку-то? — спросила она ласковым голосом.

— Господская, видно, отстала! — сказал мужик.

— Нашли! Нашли! — закричали ребята в один голос...

Так я нашёл себе новых хозяев...

С этих пор я сделался деревенской собакой, и жизнь моя текла по-другому... Много в этой жизни было нового, интересного, плохого и хорошего... Как-нибудь после я расскажу вам об этой жизни, а теперь скажу только одно: не кормили меня здесь мясом и щами, не постилали коврика для спанья, но сыт я бывал всегда, а спал на сене...

Шли дни за днями, я привыкал к новым людям и к новой жизни и всё реже вспоминал город. Иногда, когда мне на память приходили Катя и Митя, что-то вдруг скребло по сердцу; иногда, когда я вспоминал Ваню, мне становилось грустно, иногда я представлял себе ворчливую Прасковью и тоже жалел о прошлом, но зато, когда я вспоминал обиду, которую я пережил в городе, когда думал о том, как несправедливо и безжалостно поступили со мной там, в городе, я переставал грустить...

Однажды осенью, когда я сидел за воротами, мимо, по дороге, ехали две пары с колокольчиками.

Позади бежала собака... Как только я взглянул на эту собаку, я узнал всех: это Миша, Катя, Митя и прочие возвращались с дачи в город. В тарантасах смеялись и были очень веселы и оживлённы... Они, видимо, совсем позабыли про меня! Обидно! Злоба вдруг

заговорила в моём сердце, я весь вспыхнул и, рванувшись с места, погнался за лошадьми... Своим лаем я взбаламутил всех деревенских собак, и мы сообща набросились на бежавшую за тарантасом собаку и искусали её самым ужасным образом...

— Как похож на Верного! — крикнул кто-то из тарантаса по моему адресу.

Я услышал, но не обернулся. Слезы брызнули у меня из глаз, но я сдержался и с гордостью побежал к своей избе.

Вот уже три года, как я живу в деревне, и всякий раз, когда мои бывшие хозяева едут на дачу или с дачи, я облаиваю их и дарю презрением...





Х А В Р Ю Ш А

Всякий раз, когда я вижу поросёнка, живого или жареного, я вздрагиваю, и снова мне делается так скучно и грустно, что хочется заплакать... Впрочем, я вам расскажу всё, как это было, подробно и с самого начала...

Нас было трое: я, брат Володя и сестра Варенька. Я был старший, и мне было лет семь, Володе — пять, а Варенька ещё ползала и говорила только «гу-гу» и «ля-ля», но понимала много. Жили мы в городе, который не помню, как назывался, с папой, мамой и бабушкой. Папа у нас был невесёлый, утром уходил куда-то служить, а после обеда спал и храпел, а мама всё хворала. И тогда было так же. Маме очень надоедала Варенька: всё капризничала, просилась на руки, а ночью мешала маме спать. И мы с Володей больше играли с бабушкой. Иногда она нас наказывала, когда очень уж нашалим, но потом ей станет нас жалко, и она даст нам по конфетке. Мы очень любили ходить с бабушкой на базар, но она брала кого-нибудь одного, и из-за этого мы ссорились с бабушкой и с Володей. Вот один раз была моя очередь идти с бабушкой на базар, а я разбил блюдечко, и за это бабушка оставила меня дома, а Володю взяла с собой. Я, конечно, заплакал и стал бранить Володьку:

— Жилда! Жилда! — кричал я ему, когда он собирался на базар. А бабушке я сказал, что она упадёт на базаре: — Тебя накажет Бог за то, что ты вместо меня берёшь Володьку!

— Поговори ещё! — сказала бабушка. — Я поставлю тебя в угол носом.

Так мы поссорились, и бабушка с Володей ушли. Скучно было мне сидеть дома и очень досадно на Володю. Уж больно любил я ходить на базар! Там очень интересно и весело! Очень много народу, шум такой, что ничего не разберёшь. Лошади, телеги, мужики и бабы, на телегах телята, поросята, курицы, а то есть убитые коровы

и свиньи. Продают всякую всячину, вешают на весах, бранятся, а голуби бегают около того места, где продают овёс, крупу, семечки, и совсем не боятся людей. И игрушки есть! Только плохие... Пряники есть!

Мама шила на машине, а я залез на подоконник и озорничал, потому что было скучно. Муслил палец и рисовал на стекле домики с трубой и с дымом; потом пошёл в детскую, залез в игрушки и сломал у Володи железную дорогу. Это я сделал от злости... Нехорошо я сделал, да уж ничего не поделаешь; пробовал сделать, да только ещё больше испортил. Долго бабушка с Володей не приходили с базара, но наконец в кухне зазвонили, и я обрадовался. Было очень интересно, что бабушка купила на базаре. Вдруг Володя выбежал из кухни и замахал руками:

- Купили поросёнка.
- Мёртвого?
- Живого.

Тут уж я не вытерпел, закричал «ура!» и побежал в кухню. Я давно просил бабушку купить живого поросёнка, и наконец это исполнилось... Понятно, что я очень обрадовался и, когда бежал, не заметил Вареньку и наступил ей на ручку. Она закричала и сильно заплакала, но когда вышла мама, я был уже в кухне...

- Где? Где? Бабушка, где?..
- В корзинке.
- Здесь, — сказал Володя и отвернул краешек крышки.

Я взглянул и действительно увидел поросёночка. Он был такой чистенький, с розовеньким холодным носиком с двумя дырочками и с маленькими глазками. Высовывает мордочку и всё нюхает и пищит. Володя принёс кусок сахару; он, глупый, думал, что поросёнок обрадуется и съест, а поросёнку было наплевать на сахар, а хотелось вылезти из корзинки. Пришла мама с Варенькой на руках. Варенька всё ещё плакала, но когда ей показали поросёнка, она улыбнулась и сказала:

- Ля-ля...

И забыла, что надо плакать.

И Пегас — так звали нашу большую собаку — тоже пришёл в кухню. И ему было интересно, что такое в корзине. Пегас встал передними лапами на лавку, махал хвостом и нюхал корзинку. А когда ему показали поросёнка, он начал громко лаять. Пришла кухарка, посмотрела на поросёнка и сказала:

- Кто будет резать-то? Я не умею...



— Зачем резать?

— Не надо резать... Мама! Бабушка!

И мы с Володей стали умолять маму и бабушку не убивать поросёнка...

— Такого миленького, чистенького...

Володя заплакал, схватил маму за платье, а я за руку — и мы умолили маму подождать резать поросёнка хоть несколько дней. Бабушка упиралась, но когда я ей сказал, что её за это накажет Бог, она тоже согласилась подождать.

— А куда его деть-то? — сердито спросила кухарка.

— Пусть живёт в кухне... — сказал я.

— Больно мне нужно! Грязи-то!

— Ну в детской! — предложил Володя.

— В детской я не позволю, — ответила мама.

Вот тебе и раз. Нигде не позволяют... Надо же было где-нибудь жить? Я сильно испугался, что если негде поросёнку жить, то его заколют сейчас же, и, слава Богу, придумал:

— На подволоке! Ура! На подволоке...

С этим все согласились. Из кухни была дверь на подволоку — и там мы с Володей устроили квартиру для поросёнка: поставили ящик, положили в него сена, принесли большую плошку — кормить

нашего поросёночка, и ещё устроили ему двор: посыпали землю на подволоке песком и сделали загородку.

Там он и поселился.

Началась у нас с Володей интересная жизнь. Как только кто-нибудь из нас просыпался утром, он прежде всего вспоминал про поросёнка: «Что-то там, на подволоке, поделывает наш миленький Хаврюша?»

Мы называли поросёнка разными именами: Чушкой, Свинтусом, Хаврюшей... Чаще всего — Хаврюшей.

— Володька! Спишь?

— М-м...

Я будил брата:

— Пойдём к Хаврюше! Он, верно, скучает и ждёт...

— Он спит ещё...

— Сам спишь, так думаешь — и он тоже? Поросята встают рано.

— А ты почём знаешь?

— Пойдём, увидишь, — говорил я таким тоном, точно мне были открыты все тайны поросычьей жизни. Наскоро одевшись сам и одевши младшего брата, я потихоньку лез в буфет отыскивать чего-нибудь съедобного для Хаврюши. Пегас спал в столовой. Увидя меня, он вставал, потягивался, расставляя широко передние и задние пары лап, и помахивал хвостом. Пегас уже знал, что мы идём к Хаврюше, и шёл за нами на подволоку. Как только Хаврюша услышит, что мы несём ему молока и хлеба, он начинал визгливо похрюкивать...

— Сейчас, сейчас... миленький. Проголодался?

— Не спит.

— Вот видишь! Чья правда? Я уж знаю...

Сперва Пегас не особенно любил Хаврюшу и всегда хотел куснуть его за хвост или ухо. Но скоро привык к Хаврюше и только озорничал с ним: подсунет свою морду ему под брюхо и подкинет кверху. Хаврюша взвизгнет и начнёт вертеться на одном месте, точно танцует, и похрюкивает; хочет убежать, а места мало: везде загорожено. Мы его успокоим: погладим, дадим молочка, поласкаем.

— Ты чеши ему спинку, а я за ухом.

Володя чесал ему спинку, я — за ухом, а Пегас облизывал ему нос, потому что он пил молоко и замочил себе всю мордочку...

И скоро Хаврюша привык к нам, а Пегаса перестал бояться. Пегас понял, что нехорошо обижать маленького Хаврюшу, и только

шутил с ним и показывал вид, что хочет укусить, а сам не кусался. Очень интересовался Пегас Хаврюшиным хвостиком. Хвостик был у него закорючкой и очень смешно шевелился. Вот Пегас возьмёт в рот Хаврюшин хвостик и тянет его... или возьмёт за ушко и не пускает. А Хаврюша сердится: прыгает и всё хочет толкнуть Пегаса мордочкой, подпрыгивая на месте. Устроили мы Хаврюше сад: наломали в саду больших веток и натыкали около ящика. Но Хаврюша не захотел сада. Пришли на другой день и видим, что все деревья валяются: это он их вытащил и бросил.

— Он не любит сада... Ему надо грязную лужу...

— А ты почему знаешь?

— Вот глупый. А большие свиньи? Они всегда лежат в лужах...

Надо устроить ему лужу...

— А как?

— Вот тут, где земля... Принесём ведро воды, выроем яму и нальём.

— И посадим в неё Хаврюшу.

— Давай! Где у нас лопатки?.. Неси!

Володя принёс наши маленькие лопатки, и мы начали устраивать Хаврюше большую яму. Пегас понял, в чём дело: понюхал землю и тоже начал передними лапами рыть и выбрасывать землю...

— Дурак! В глаза мне попал землёй!.. — закричал Володя и ударил Пегаса.

— Ты сам виноват... Зачем встал тут? Помогай, Пегас!

Я погладил Пегаса, и он опять начал работать. Я пошёл за водой. Очень трудно было принести целое ведро, и пришлось ходить три раза. Вылили первую порцию воды и стали мешать... Потом вторую, потом третью... Вышла отличная яма с грязью, как на улице после дождя.

— Иди, Хаврюша. Купайся! Чего боишься, дурачок?..

— Он не любит на руках... Опускай скорее!

Опустили Хаврюшу в грязь.

— Не хочет...

— Сиди! Не бойся...

— Он не хочет.

— А вот хочет. Видишь — сел?..

Хаврюша сел, потом прилёг. Володя набирал в пригоршню жидкой грязи и подкладывал Хаврюше под бока, а я прихлопывал ладонью, чтобы было ровнее и красивее... А Пегас искал у Хаврюши блох, елозил своей мордой по его спине и пощёлкивал зубами.

— Хорошо, Хаврюша? — спрашивал я поросёнка, а он похрюкивал и моргал глазами. И было видно, что Хаврюше очень хорошо и приятно.

Но кончилось это большим огорчением. На подволоку вдруг прибежала кухарка и закричала:

— Что вы тут наделали?

— Ничего... Видишь — Хаврюшу купаем? — сказал Володя.

— Ах вы, такие-сякие... Что вы натворили?

Кухарка пихнула ногой Пегаса, отшвырнула нас от Хаврюши, а Хаврюшу взяла за шиворот и выкинула из ямы. Потом она взяла лопату и стала ломать у нас грязную лужу, засыпая её песком.

— Как ты смеешь? Мы вот маме скажем...

— Поди-ка: мать вам надерёт уши-то... Насквозь промокло. Весь потолок в зале испортили...

Оказалось, что мы очень глубоко вырыли яму и очень много налили воды. Вода протекла вниз и промочила потолок в зале...

— Убирайтесь отсюда!

— погоди. Дай поймать Хаврюшу.

— Вот вам Хаврюша!..

Кухарка схватила грязного Хаврюшу за задние ноги и бросила его с лестницы в кухню.

— Заколоть его надо...

Мы с Пегасом побежали следом за Хаврюшей в кухню. Что-то теперь будет? Мы боялись, что войдёт мама, начнёт браниться и велит заколоть нашего милого Хаврюшу... Надо было устроить так, чтобы только мы с Пегасом были виноваты и чтобы Хаврюша остался невинным. Но как это устроить? Наверно, злая кухарка уже всё рассказала и маме, и бабушке... Я посмотрел на Хаврюшу, который забился в уголок, и мне сделалось так жалко его, что я забыл всё на свете и, присев на корточки, начал ласкать его, бедного.

— Бедненький ты мой! Я не дам тебя зарезать. Никому не дам.

Я забыл, что Хаврюша купался в грязи, прижимал его к себе и весь испачкался... А курточка была у меня новая... Вот ещё беда!.. Ещё хуже теперь стало, потому что бабушка и в этом обвинит его же, Хаврюшу... Сошла с подволоки кухарка.

— Милая Степанидушка! Ничего не говори маме с бабушкой.

— А что же я им скажу? Меня послали посмотреть, отчего протекло...

— Скажи... скажи, что ты сама пролила воду.

— Больно нужно... Меня ругать будут из-за вашего поросёнка...
— Ну скажи, что это дождик... Насквозь — скажи — прошёл, — научал Володя.

— Видишь, какой ты хитрый. А хорошо обманывать мать-то? Подумай-ка!

— Ну а как же?.. Если сказать правду, Хаврюшу заколют... — сказал я.

— А куда его? Для того и купили, чтобы заколоть да съесть. Вот ты будешь скоро именинник — к тебе гости придут — вот и зарежем.

— Больно мне нужно.

— Тебе не нужно, так гости съедят.

— Гости! Пусть лучше не приходят.

— Не пустим гостей, — сказал Володя.

— Ты уж, пожалуйста, не говори маме с бабушкой, что это мы устроили на подволоке-то.

— Дурачки. Ведь не было давно уж дождя-то. Откуда она, вода-то, возьмётся?

— Бедненький Хаврюша!

— Какое придумали имя-то ему...

— А как же? — сказал Володя. — У него маму зовут Хавроньей, а он — Хаврюша...

— У-у, ты! Свиное рыло.

И кухарка пихнула Хаврюшу башмаком прямо в носик.

О ужас, вошла бабушка... Мы так и замерли на месте... Что-то теперь будет?

— Почему потолок промок? — спросила бабушка.

— Вот они, озорники-то. Всё со своим поросёнком...

— Милая бабушка, мы... мы... ему хотели устроить лужу...

Не сердись уж, он ведь не виноват, мы сами это...

— А в чём это ты курточку-то новую испачкал? А?..

— Сама испачкалась...

— Всё с поросёнком возитесь... Будет уж ему нежиться: пора колоть. Завтра пораньше попроси дворника зарезать... Надоел он... Грязь от него одна...

— Бабушка!

— Милая бабушка...

— Не надо резать!..

— Помилуй его, бабушка!..

Мы с Володей уцепились за бабушкино платье и со слезами умоляли пощадить бедного Хаврюшу.

— Он не виноват. Милая бабушка!
— Вот накажет тебя Бог... Скажи — не надо колоть!
— Убирайтесь! Пожил, слава Богу. Целую неделю прожил... Будет уж... Завтра же утром пусть дворник зарежет...
— Бабушка! Пусть поживёт хоть до моего ангела! Гости придут... — просил я, глотая слёзы и желая хоть ещё денька на три сохранить жизнь Хаврюше.

А бедненький Хаврюша ничего не понимал. Он не понимал, что его собираются зарезать и что ему осталось так мало прожить на свете. Хаврюша стоял около ведра с помоями и старался как-нибудь достать их мордочкой... Только Пегас понял, в чём дело. Он смотрел то на бабушку, то на Хаврюшу и тихонько скулил. Должно быть, и Пегас просил бабушку всё о том же, о чём умоляли её мы с Володей...

— Только до моего ангела!.. Милая бабушка! Погоди, послушай, что скажу...

— Ну что ещё?

— Ты мне хотела подарить на именины турецкий барабан... Ну так лучше ничего не дари, только не вели завтра колоть Хаврюшу...

— Ну ладно... Там посмотрим...

И бабушка ушла.

Мы отправились к маме. Бабушка успела уже рассказать про нашу лужу маме, и мама встретила нас сердито:

— Глупости делаете. Надоел ваш Хаврюша... Будет уж, надо заколоть.

Долго мы умоляли маму. Пришёл Пегас и тоже ластился к маме. Верно, и он упрашивал её. Но мама была неумолима.

— Идите в детскую. Не мешайте мне шить.

Бог помог Володе, как спасти Хаврюшу.

— Если бы меня велели заколоть — тебе было бы жалко? Да? А Хаврюша — маленький, и у него есть мама Хавронья, — сказал Володя.

Мама захохотала, поцеловала Володю и сказала:

— Ну, пусть подождут колоть. Успеем...

— Конечно, успеем, мамочка! Пойдём, Пегас! Идём, Володя!

Мы все радостно выбежали от мамы и опять направились в кухню:

— Радуйся, Хаврюша, мама помиловала тебя!

— Давай обмоем Хаврюшу, видишь, какой он грязный.

Хаврюша не давался, но мы всё-таки вытерли его тряпкой, а Пегас облизал его. И опять настали радостные дни. Хаврюша жил

по-прежнему на подволоке, но иногда вечером мы перетаскивали его к себе в детскую и укладывали спать под кроватью. У меня под кроватью стояла корзина, раньше мы в неё укладывали игрушки, а теперь — Хаврюшу; вытащили старый Варенькин тюфячок из колясочки и устроили постель для Хаврюши. Один раз Хаврюша ночевал со мной на кровати. Днём Хаврюша любил спать около Пегаса. Пегас ляжет на бок, протянет задние лапы, а Хаврюша заберётся ему под самое брюхо и уткнётся мордочкой в шерсть. И оба так сладко спали, что будить их жалко...

— Вишь, как дружно живут, — говорила бабушка и ставила их в пример нам с Володей. — Не ссорятся, не дерутся... Кабы вы, братья, так между собой жили!..

Прошла ещё неделя. Хаврюша хорошо кушал, подрос и сделался такой кругленький. Выросла на нём побольше шерсть, такая ровная, гладенькая, а на спинке стала расти щетинка, красивая, вся из одинаковых серебристых иголочек... Мы часто брали Хаврюшу на руки и рассматривали у него ножки с копытцами, хвостик, уши. Копытца были у него из двух половинок, а в ушах росли волосы, как у папы в носу. Глазки были маленькие и весёленькие, словно всё смеялись, а зубки — востренькие...

Вот один раз мы сидели на полу в детской и подробно рассматривали, как устроены у Хаврюши носик с пяточком, ротик и губы. Подползла к нам Варенька и сказала:

— Ля-ля! Гу-гу, ля-ля.

И ткнула Хаврюше пальчиком в рот. А Хаврюша, видно, рассердился, что ему лезут в рот прямо руками, и укусил Вареньке пальчик. Да до крови... И случилась опять беда, такая беда, что и рассказать невозможно... Варенька широко раскрыла рот и так заревела, словно у ней совсем откусили палец...

— Не плачь!.. Сахару дам!.. — уговаривал я сестрёнку и дул ей на пальчик. А она не переставала.

Прибежала мама и схватила на руки Вареньку. Мама очень испугалась.

— Что вы с ней сделали?..

— Ничего... Плакса она, — сказал Володя... Но мама увидела кровь на пальчике у Вареньки и испугалась ещё больше.

— Кто её? Что это?

— Ля-ля! — кричала Варенька и показывала ручкой на Хаврюшу.

— Поросёнок. Её укусил поросёнок?



Мы потупились и молчали. Что было сказать маме? Врать не хотелось.

— Она сама... плакса... лезет, а потом реветь...

— Поросёнок её? — сердито спрашивала мама... — Говорите же!

— Ля-ля!.. — кричала Варенька и продолжала показывать ручкой на Хаврюшу.

— Разве свинья кусается, мама?

— Да ты говори, о чём я тебя спрашиваю!

— Свиньи вовсе не кусаются.

— Не заговаривай мне зубы!

Мама шлёпнула меня рукой по затылку и пошла на кухню... За чем она пошла туда? Что она там кричит и говорит кухарке?.. Мы притихли и даже боялись слушать, о чём говорила мама. Но мы чувствовали, что дело очень плохо, потому что Варенька не унималась и ревела всё громче.

— Ах, Хаврюша, Хаврюша! Что ты, дурачок, наделал?!

Пришла из кухни кухарка и сказала:

— Где он, проклятый?..

— Кто? — спросил я и прикрыл Хаврюшу рубашечкой.

— Да поросёнок-то?.. Мамаша велела отобрать. Где он?

Кухарка ходила по комнатам, а мы с Володей сидели, как куклы: не шевелились.

— Пегас! Где у нас поросёнок-то? Залез куда-нибудь... — ворчала кухарка в детской и заглядывала под кровати, за комод, за сундук... Надо было нам убежать и спрятать куда-нибудь Хаврюшу, а мы так перепугались, что застыли на месте... Кухарка вернулась обратно и прошла мимо нас, да оглянулась. А Пегас стоял около меня, вертел хвостом и нюхал. И кухарка догадалась.

— У тебя он? В подоле?

— Да нет же.

— Ну-ка встань!

— Не хочу я вставать. Сидеть хочу.

Кухарка ткнула мне в рубашку, и Хаврюша хрюкнул.

— Эх, Хаврюша, Хаврюша, Хаврюша! Зачем ты, дурачок, хрюкнул?..

Кухарка схватила Хаврюшу. Мы с Володей не давали. Но кухарка была сильнее: вырвала у нас Хаврюшу и потащила его в кухню.

— Отдай! Куда ты его?..

— Заколоть его надо...



- Мама велела подождать до моего ангела.
- Нечего ждать... Завтра утром колоть приказано...

Мы подошли к кухонной двери и хотели опять умолять маму, но как только она увидела нас, закричала: «Убирайтесь!» — и захлопнула дверь в кухню...

Значит, всё кончено... Не спасёшь Хаврюшу...

Мы с Володей долго стояли около кухонной двери и с ужасом прислушивались, о чём говорили в кухне. Пришла бабушка:

- Вы что тут болтаетесь? Кыш!
- Милая бабушка! Помогите нам!

Я объяснил бабушке, в чём было дело, но бабушка и слушать не хотела.

- Будет, будет... Пожил он на свете довольно. Уходите прочь!..
- Хоть до моего ангела!
- Твой ангел через месяц. Если ждать твоего ангела, так не Хаврюша, а Хавронья будет.

И бабушка исчезла в кухне... О чём они там говорят?.. О ужас!..

- Завтра пораньше попроси дворника зарезать. Палить умеешь?
- Могу.
- Хорошенько опали, чтобы ни одного волоса не попало в кушанье.
- Слушаю, барыня. Постараюсь.
- Слышишь, Володя?
- Слышу.
- Зарежут нашего Хаврюшу...
- А как, барыня, приготовить-то его? — спросила кухарка маму.
- Зажарить с гречневой кашей...

Боже мой! Я отлично знал смысл этих слов и содрогнулся от ужаса. Ведь это значило, что Хаврюше разрежут животик и набьют туда гречневой каши... Слёзы подступили к моим глазам, и я убежал в детскую, чтобы не слушать больше этого страшного разговора. Здесь никого не было, и можно было поплакать. Я спрятался в уголок за шкафом и, отвернувшись к стене, потихоньку хныкал. Пришёл Володя и шёпотом сказал:

- Где ты? Я придумал.

Не хотелось мне выходить из-за шкафа с мокрыми глазами, но я не вытерпел:

- А?

Володя понял, что я за шкафом, и подошёл. Я не смотрел на Володю, но мне очень хотелось поскорее узнать, что придумал Володя.



— Ну! Говори!
— Давай выпустим Хаврюшу на улицу. Пусть он убежит, куда хочет...

— У-у! Я думал, что ты другое...

— А что же? Пускай убежит...

— Люди поймают его.

— А всё-таки останется жив...

— Съедят его люди, — угрюмо сказал я.

— А может быть, и не съедят. Ты почему знаешь?

— Да уж знаю.

— Не всех же съедают... Откуда же тогда берутся большие свиньи?

Этот вопрос поставил меня в затруднение. Действительно, если бы съедали всех поросят, то не было бы на свете больших свиней...

— Может быть, его поймают добрые и не заколют, — говорил Володя.

— А как мы его выпустим?

— Утащим у кухарки и унесём на улицу...

— А мама? Она задаст. И бабушка тоже...

— Не беда. Чего сделают? Пускай ставят в угол носом. Постоим, а зато...

— А розгами?

— Папа не велит розгами. Он велит только в угол носом...

— Бабушка не послушает и папу...

— Скажем, что я выпустил... Меня не будут розгами: я — маленький...

— Ну ладно, — согласился я и, улыбаясь, вытер кулаком слёзы.

Стоя в уголке, мы шёпотом совещались, как нам устроить всё это дело. Надо торопиться, потому что завтра рано утром хотят заколоть Хаврюшу. А времени осталось уже мало: скоро придёт со службы папа — будут обедать, потом скоро — чай, а там, немного погодя, и спать...

— А ночью? — спросил Володя.

— Ночью страшно идти на подволоку... Темно там...

— Темно-то не беда, а может быть, там Баба-яга живёт! — сказал Володя.

— Это всё глупости: никакой Бабы-яги на свете не бывает...

— А ты почему знаешь?

— Знаю уж...

— По-твоему, и чертей не бывает? — спросил Володя.



- Не бывает...
- У тебя всё не бывает... А вдруг из-за трубы и выглянет...
- Ничего не выглянет. Спроси у папы: он говорит, что никаких чертей нет, а это только врут всё...

Долго мы обсуждали, как лучше устроить, и решили так: после обеда, когда папа ляжет спать, а бабушка сядет штопать чулки, пусть Володя попросит маму идти с ним гулять; когда они уйдут гулять, я буду смотреть, не уйдёт ли куда-нибудь кухарка: в лавку или в другое место, и как только кухарка уйдёт — я утащу Хаврюшу, унесу его через задний двор на улицу и выпущу на волю... Если кухарка никуда не уйдёт, решили встать ночью, потихоньку пробраться на подволоку и похитить Хаврюшу; ночью его можно выпустить с парадного крыльца...

— Может быть, попросить ещё папу, чтобы не убивали Хаврюшу? — спросил Володя.

— Нечего просить... Папа сердитый и очень любит есть поросёнка с кашей...

- Думаешь — не помилует?
- Нет. Мама добрее, и то не хочет помиловать...
- Да, лучше выпустить...
- Кухарку будут бранить...
- Ну так и что? Что важнее: чтобы не бранили кухарку или чтобы не зарезали Хаврюшу?
- Хаврюша важнее...
- То-то и есть.
- Знаешь, что?..
- Что?
- На подволоку можно залезть: окошко есть, а рамы там нет. Можно подставить лестницу...

- Увидят... Дворник увидит...
- Скажем, что так... играем...
- Дворник не велит на крышу лазить...
- Пускай! А я полезу.

Отпросились у мамы гулять на двор. Осмотрели местность. Лестница была, только стояла не в том месте и была очень тяжёлая. Попробовали перетащить — мало силы... Но пришёл гимназист Вася и помог нам... Подвинули лестницу к окошку, и я полез. Было страшно, потому что лестница тряслась. Но, слава Богу, долез до самого окна. Заглянул: сразу показалось очень темно, а потом посветлее; стало видно трубу, верёвки для белья... А вон и Хаврюшин домик.

— Хаврюша! — прошептал я и стал потихоньку хрюкать.

Молчит. Должно быть, думает, что — чужие. Похрюкал ещё — не отвечает. Влез в окошко и стал потихоньку пробираться к Хаврюшину домику... Что за диво? Нет Хаврюши. Осмотрел все закоулки — нигде нет... Вот тебе и раз!.. Потихоньку стал пробираться назад — слышу: на дворе ругается дворник. Что случилось там? Гляжу в окошечко, стоит дворник и кричит:

— У меня не трогать лестницу! Уши надеру.

Посмотрел — нет лестницы: убрали. Вздрогнул даже, когда посмотрел из окошка на землю.

Гимназист стоял вдали и бранился с дворником, а Володи не было: должно быть, он испугался и убежал... Что же делать? Дверь в кухню заперта, а лестницы нет. Значит, на двор в окошко или стучаться в кухню?

— Дворник! Дай лестницу, а то как же я слезу?..

— Залез, так и сиди.

— Как ты смеешь?

— Не лазай другой раз... Посиди да подумай, какой ты озорник...

— Смотри: я спрыгну и ушибусь до смерти.

— Прыгай!

— Умру, тогда папа тебе задаст.

— Не умрёшь...

Ушёл куда-то дворник. Надо стучаться. Ничего не поделаешь. Будут бранить... А главное: спросят, зачем полез... Как сказать?.. Пожалуй, догадаются, что хотел утащить Хаврюшу. Осторожно спустился я по лестнице и приложил к двери ухо. Слышу, кто-то шеврется у замка.

— Ты, Володя?

— Я...

— Отопри скорей!

— Да ключ-то у кухарки...

— Ну, поймали нас. Бранится бабушка... Значит, нечего больше скрываться.

— Бабушка! Кто меня запер? Отопри!

— Как он залез туда? Зачем? Верно, думал, что поросёнок на подволоке...

— Ничего не думал... Отопри же!

— Ну и сиди! Сиди, пока отец не придёт... Пусть он тебя и выпустит...

Я заплакал и стал колотить ногой в дверь.



— Не дури!

— Выпусти! А то не перестану стучать, а буду всё сильнее.

— Вот я тебе задам. Выпорю.

Забрякал замок, и дверь растворилась. Бабушка хотела поймать меня за ухо, но ей это не удалось: я проскочил у неё под рукой и выбежал из кухни.

— Вот отец придёт, он тебе... Не получишь нынче малины с молоком.

— И не надо.

— А я ему половину своей отдам... — сказал Володя.

— Ну так и ты ничего не получишь.

— И не надо.

Мама не особенно рассердилась. Она была рада, что у Вареньки прошёл пальчик, и только улыбалась, когда бабушка рассказала ей, как я очутился на запертой подволоке.

— Скажи: зачем залез?

— Играть.

— Не ври! Ты думал, что там Хаврюша...

— Ну и думал... А где он, мама?

— Не скажу.

— Скажи! Мы только погладим его. Мама!

Мы стали приставать к маме, и она сказала, что Хаврюша заперт в чулан под лестницей.

— Позволь нам поиграть с ним!

— Будет. Завтра его кушать будем...

— Позволь. В последний раз! Надо же проститься.

— Нечего прощаться...

— Вот ты какая нехорошая... Неужели тебе не жалко Хаврюшу?..

— Жалко, да что же делать, голубчик?..

— Пусть поживёт до моего ангела!..

— Нет... Нельзя... Папа хочет поросёнка с кашей...

— Купи другого!

— И другого будет так же жалко, как этого...

— Нет! Нам только Хаврюшу жалко... Хаврюша такой хорошенький... Любит нас...

— И мы его любим... Очень любим... — сказал я.

Звонок оборвал наши разговоры: это папа пришёл со службы. Сердитый пришёл. Нечего и просить. Стал браниться, что не накрыли стола к обеду. Он очень хотел кушать.

— Поросёночка зажарили? — спросил папа.



— Нет... Завтра уж...

— А я просил — сегодня.

— Завтра непременно зажарим...

— С кашей! Побольше масла... Чтобы зарумянилась кожа, подсохла немного...

— Он, папа, маленький очень. Лучше бы дать ему пожить, чтобы вырос побольше. А то мало у него мяса... — попробовал я спасти Хаврюшу.

— Маленький вкуснее. Ничего ты не понимаешь...

Я вздохнул и ушёл в детскую. Не спасёшь Хаврюшу... Увидел под своей кроватью корзинку, в которой спал несколько раз Хаврюша, и так мне сделалось жалко, что слёзки выступили на глазах.

— Ах, папка! Злой ты какой! Тебе бы только съесть Хаврюшу, — сказал я и очень рассердился на папу.

После обеда, когда папа лёг спать, Володя стал звать маму гулять.

— Гуляй один.

— Я с тобой хочу...

— Куда же мы пойдём?

— Так, по улицам...

— Не хочется, голубчик.

— Пойдём со мной, — предложила бабушка.

— А ты куда?

— К вечерне...

— А мама?

— Я останусь дома.

— А кухарка? Она пойдёт куда-нибудь?

— А зачем тебе это знать?

— Надо.

Какой глупенький Володя. Зачем было спрашивать про кухарку?.. Догадаются вот.

Володя ушёл с бабушкой, а я остался... И кухарка куда-то ушла, да беда была в том, что чулан был заперт на замок, а ключ был у мамы. Постоял около чулана, послушал и позвал Хаврюшу. Услыхал. Хрюкает... Миленький! Экая досада! Так бы сломал дверь и выпустил Хаврюшу!.. Взял я палочку, всунул её в дверь, поискал ею Хаврюшу. Да что толку? Проклятая дверь! Стукнул в неё каблуком. Что-то упало с полки в чулан... Убежал. А время

шло и шло... В столовой уже приготавливали стол к чаю. Папа проснулся и умывался, плескаясь водой... Вернулась бабушка с Володей...

– Ну что? – шёпотом спросил у меня Володя.

– Не удалось.

– Эх ты!..

– Заперт чулан, а ключ у мамы...

– Утащил бы! – сказал Володя.

– Ай-ай... Разве можно?..

– Сказал бы, что я... Меня нельзя розгами: я – маленький...

Напились чаю. Стало темнеть на улице, и всё меньше оставалось жить на свете нашему Хаврюше. Как только пробьют часы, у меня вздрогнет сердце, потому что ещё прошёл час Хаврюшиной жизни. Принесли зажжённую лампу. Велели уходить в детскую... Папа сел заниматься и запретил ходить взад и вперёд по комнатам. Пошёл дождик. На двор больше не пустили. Мы сидели с Володей в детской и смотрели на двор... Нам было очень скучно и хотелось плакать. А дождик всё шумел по крышам и ручейками сбегал по окошку. Опять пробили проклятые часы...

– Ложитесь! – сказала бабушка.

– Не хочется...

– Как это не хочется? Девять пробило... Я вот позову отца... Идите прощаться с родителями.

Пошли прощаться с папой и мамой. Хотел я ещё последний раз попросить папу о Хаврюше, но папа писал, и у него было очень сердитое лицо. Так я и не решился. Когда мы прощались с мамой, я подтолкнул Володю локтем, чтобы он начал разговор.

– Ну, ложитесь с Богом! – сказала мама, поцеловав нас обоих.

Мы не уходили.

– Ну, идите!

– Мамочка! Позволь проститься с Хаврюшей!..

– Вот придумали.

– Ведь завтра уж... не увидимся с ним...

– Никогда не увидимся! – сказал я, заплакал и убежал...

Не пустили проститься с Хаврюшей. Мы разделись, но очень долго не спали. Мы всё слушали, как шумит дождик по крыше, как со звоном вода стекает по сточным трубам и как папа считает на



счётах... Лампадка горела в углу перед Богом, и на потолке был светлый кружочек от неё...

— Спишь? — спросил Володя.

— Нет, а ты?

— И я — нет...

— Я знаю, про что ты думаешь.

— Про что?

— Про Хаврюшу.

— Да. А ты?

— И я тоже.

Мы замолчали. Потом Володя присел на кровати и спросил:

— А что, Бог может спасти Хаврюшу, если Ему помолиться хорошенько?

— Наверно, может...

— Ведь Бог всё может? Бабушка говорит, что Он всё может сделать, что угодно...

— Да, если захочет...

— Давай — попросим! — сказал Володя.

— Давай!..

Мы присели на кроватях и стали молиться и просить, но не вслух, а про себя. Я уже кончил, а Володя всё молился и шептал что-то. Потом мы опять долго молчали. Я всё думал, как может Бог спасти Хаврюшу, если ключ от чулана у мамы, — как вдруг Володя сел в кроватке и спросил:

— А у Хаврюши есть душа?

— Не знаю...

— Наверно, есть...

И опять лёг... И опять мы молчали... Ещё раз громко пробили часы — опять мне стало так жалко Хаврюшу, что я ткнулся лицом в подушку и потихоньку заплакал. И больше я уже не слышал, как бьют часы. Верно, уснул...

Утром я проснулся первый. Был яркий такой солнечный день. Дождик хорошо вымыл двор, дома, камешки, листочки на деревьях за забором. Всё было светлое, чистое, весёлое такое. В церкви звонили к ранней обедне, и где-то кудахтали курица. «Верно, снеслась курица», — подумал я и вдруг вспомнил про Хаврюшу... И мне стало страшно думать про Хаврюшу и захотелось, чтобы Володя не спал.

— Володя, курица кудахчет, как на дворе! Слышишь?

Володя не просыпался. Тогда я подбежал к нему и потрогал его за ногу, которая выставилась из-под одеяла. Володя поджал ногу, но всё-таки не проснулся. Тогда я сердито дёрнул его за руку и громко сказал:

— Спи, спи! А Хаврюшу зарезали...

Володя раскрыл глаза и зажмурился от свету.

— Чего спишь? Проспали Хаврюшу-то.

Тогда Володя заморгал глазами, сел в постели и начал чесать себе обеими руками затылок. Я ещё раз сказал то же самое — и тогда Володя спрыгнул с кровати и начал быстро надевать чулочки. Мы кое-как оделись, не застегнули даже башмаков и потихоньку вышли из детской. Было тихо в комнатах, только в столовой кухарка брэнчала чайной посудой... Мы подошли к двери в кухню и остановились. Страшно было нам войти в кухню.

— Иди!

— Иди ты вперёд!

— Боюсь.

— И я.



— Думаешь, убили?

— Наверно...

— А может быть, Бог спас... — сказал Володя, перекрестился и приоткрыл дверь в кухню.

— Казнили! — сказал он и быстро затворил дверь.

— Там?

— На столе...

— Мёртвый?

— Мёртвый...

Меня тянуло пойти в кухню и посмотреть на мёртвого Хаврюшу, но было страшно туда идти.

— Что вы тут толчётесь? — спросила кухарка, проходя в кухню.

— Закололи? Да?

— Закололи, голубчики... До смерти жалко и самой-то мне... Поглядите! Тёпленький ещё...

Кухарка ушла.

— Иди посмотри!..

— Не хочу...

— И я...

— А-а, слёзки...

— А у самого-то?..

Мы разошлись в разные стороны и перестали говорить про Хаврюшу. Но мы не переставали думать о нём — и оба были невесёлые. Не хотелось идти на двор играть, не хотелось пить чай с хлебом и здороваться с папой и мамой...

— Пегасик! Нет у нас Хаврюши, убили его! — жаловался я Пегасу, когда он, грустный, пришёл к нам в детскую. Пегас опустил хвост и голову. Я обнял его за шею и поцеловал в морду... Пегас лизнул меня, встал посреди комнаты и задумался. Потом он покружился на месте, лёг и вздохнул, положив морду на передние лапы. Тянулся день, длинный и скучный, и опять били проклятые часы... «Дон, дон, дон». Три часа... Вчера, когда часы били три раза, Хаврюша был ещё жив, а теперь нет его... И завтра будут бить три часа, и послезавтра, и всегда... всегда. А Хаврюши никогда не будет на свете...

Пришёл папа со службы. Позвали обедать.

— Не хочется, мамочка...

— А мы не пойдём! — хмуро сказал Володя.

— Папа сердится... Идите!..



- Ну, останетесь без обеда... А сегодня поросёночек с кашей.
- И не надо, ешь сама!
- И малина со сливками.
- Не надо.

Мы не пошли обедать... Мы боялись увидеть жареного Хаврюшу с распоротым брюшком, набитым кашей... Мы вылезли через окошко на двор и там около сарая плакали о Хаврюше. Когда всё кончилось, мы пошли домой через кухню. Лучше бы не ходить!..

Кухарка мыла посуду, а Пегас жадно ел косточки, так, что они трещали у него на зубах... Сперва я не догадался, что ест Пегас, но когда увидел Хаврюшин хвостик, то понял...

— Скверный ты пёс, гадкий! Володя! Он ест Хаврюшу... Все вы гадкие, все, и ты, кухарка!

- А мне, думаешь, самой не жалко?
- Скажешь — не ела?
- Ела... Чего уж... А как жарила, так поплакала...

Пегас подошёл ко мне и замахал хвостом, но я пнул его ногой:

- Пшёл!.. Хаврюша любил тебя, а ты... Ах ты, негодный пёс!..
- Только папаша и кушали... Мамаша не могли... А бабушка и поела бы, да зубов нет.

— Все вы гадкие! Не люблю вас! — закричал я и убежал опять на двор.

Пришёл Володя.

— Вот бабушка говорила, что Бог всё может... А Хаврюши нет на свете...

Вечером, когда бабушка пришла укладывать Володю, он сказал ей:

- Наврала ты, бабушка.
- Чего я тебе наврала?
- А про Бога-то?.. Говорила, что Он может...
- Ну?

Володя рассказал, как мы молились и просили Бога спасти Хаврюшу. Бабушка рассердилась и сказала:

- И молиться за поросёнка грех! Будет Бог обращать внимание на свиней!.. Он с людьми-то, поди, устаёт, не успевает...
- А ты говорила, что Бог всех любит!.. И людей, и зверей...
- Молчи! Сами вы ещё поросята, а туда же про Бога разговаривать...

— Теперь не буду тебе верить...

— Молчать!..

— Врунья!

Бабушка подошла и нашлапала Володю. Володя начал плакать и бранить бабушку. Я заступился за Володю...

— Злая ты, а ещё бабушка! — крикнул я.

И меня нашлапала бабушка. И оба мы лежали в кроватях и долго плакали... Про бабушку я давно забыл, но не мог остановиться, потому что мне было жалко Хаврюшу... «Хаврюша! Хаврюша! Милый, бедный наш Хаврюша! — шептал я. — Никогда больше не увидимся, никогда!»



III

Детские
радости





РАННИЕ ВСХОДЫ

I

Весна идёт!..
Солнышко греет, припекает... По улицам стремительно катятся шумные ручейки и потоки. С домов и карнизов валяются и разбиваются вдребезги ледяные сосульки... Небо чистое, прозрачное, голубое, и маленькие облачка плывут в нём, как белые лебеди, куда-то мимо... Везде хорошо, приветливо и радостно: и на небе, и на земле... Люди добрые, весёлые, радостные: все чего-то ждут и на что-то надеются, словно с приходом этой новой весны они будут и жить по-новому, жить не так, как жили и живут до сих пор...

За высоким, утыканным гвоздями забором гимназического сада воробьи подняли такое чириканье, такой гвалт и содом, что дремлющему на припеке солнечных лучей старому усатому будочнику, что стоит на углу, недалеко от сада, грезится какой-то скандал, и сердце тревожится смутно сознаваемой потребностью вмешаться в это «безобразии»...

На обсохших от грязи проталинах и на крышах воркуют голуби: нахохлившись и распутив крылья, увиваются вокруг и около своих голубок и, верно, напевают им прекрасные романсы о любви и счастья... Галки, собравшись толпою на угрюмых башнях тюремного замка, гадят, словно бранятся.

Все рады!.. Даже и вон тот серьёзный старый пёс, что лежит на площадке парадного крыльца, видимо, очень доволен: он сперва почесал задней ногой за ухом, потом лениво потянулся, лёг на спину и устремил свой взор в глубокую небесную синеву, застыв в позе блаженного созерцателя...

Но, без сомнения, всех больше довольны и рады классики, реалисты и гимназистки: сегодня у них был последний день занятий. Уроки прошли как-то вяло, беспорядочно. Мальчуганы были непоседливы, не могли «внимать» и не были расположены боять-



ся... Да и сами преподаватели больше разговаривали, чем поучали, и лишь для видимости сердито покрикивали: «Тише!» — когда школьники, чуя близкий отпуск, входили в такую ажитацию, что класс напоминал тех самых воробьёв, которые тревожили сердце дремавшего на солнышке городского... Как-никак, а все четыре урока, назначенных по расписанию, прошли, и, наконец, распустили... В души школьников повеяло волей, простором, свободой, и теперь, расходясь по домам, они радостно и весело стучали ногами по панели, двигаясь по разным направлениям шумливыми и драчливыми стайками. Две недели отдыха казались ребятам столь продолжительным временем, что понедельник Фоминой недели рисовался в далёком тумане... До этого понедельника можно успеть переделать массу всяких дел, пережить много всяких радостей и горестей.

II

 тделившись от шумной компании, по панели торопливо шли два второклассника, Петров и Павлов, и разговаривали между собою:

— Опоздали! Мариинок отпускают ведь раньше!..

— Ничего... Они как идут-то? Бабы! Мы с тобой в пять минут, а они в двадцать пять, — ответил Петров и заметил товарищу: — Отвороти брюки-то!.. Засучил, словно приготовишка.

Петрова компрометировали эти «завороченные брюки».

Павлов приостановился, наклонился и «отвортил». «Не забыть бы опять завернуть, как к дому приду, а то мамаша опять бранить станет», — подумал он и побежал вдогонку за быстроходным Петровым, который на всех парах летел по направлению к женской гимназии.

— Только бы узнать, где она живёт! Кажется, на Никольской улице. Я вчера следил, да упустил: зашла за угол, а я прямо продрал... опростоволосился... — быстро, на ходу, бросает слова Петров.

— А фамилию не узнал?

— Нет. Зовут слышал как: Лёля. Да узнаю и фамилию, только бы того... Имя хорошее... Значит — Елена...

— А может быть, и не Елена? Вот у нашей «курносой балалайки» сестрёнку тоже Лёлей зовут, а она — не Елена, а как-то по-другому.

Гимназисты завернули влево и стали подниматься по проулку в гору. Здесь они убавили шаг, так как навстречу уже стали

попадаться гимназистки разных возрастов, начиная от сформировавшихся девушек, шедших молча и величаво, до крошечных девчуток с треплющимися локонами, звонко щебечущих своими серебристыми голосами.

— Гм... Она! — произнёс Петров, подтолкнув локтем в бок Павлова.

— Где?

— Вот! Слепой... С реалистом идёт...

— Да, да...

— Еamus на другую сторону!

Навстречу, по другой стороне проулка, шла миленькая гимназисточка, подросток лет двенадцати-тринадцати, с русой золотистой косой, с румяными щёчками и весёлыми, умными, бойкими глазёнками. Она оживлённо болтала с кавалером-реалистом и весело поматывала книжками в ремнях в такт замедленному шагу. С книжками лежал жестяной пенал, и он побрякивал очень бойко и звонко.

Это и была она.

Петров был несколько озадачен: «Значит, у неё уже есть», — подумал он, и ему стало досадно и грустно.

— Ну, иди скорее! Опять с тобой упустишь! — недовольно заметил он Павлову, спущенные брюки которого попадали под пятки и замедляли передвижение. Товарищи пошли следом за Лёлей. Петров очень внимательно разглядывал косу, голубую ленточку в ней и оборку коричневого платица. У Лёли новые калоши, и след ясно печатается на сырой панели. Петров норовит попадать своими ногами в этот след: это ему очень приятно. Павлов — тюря, и недаром Петров раза три уже обругал его «кислым молоком»: не умеет он поддержать разговор, чтобы обратить внимание Лёли, или начнёт говорить тогда, когда надо молчать и слушать. Реалист давно уже почувал «преследование». Он несколько раз обёртывался уже назад и сердито сверкал глазами. Но Петров не смущался: он был достаточно храбр, хотя и не силён...

— Яичница с луком! — как бы про себя бурчит Петров в ответ на сердитые взгляды реалиста.

Реалист не отвечает, но на лице его ясно сквозит затаённая мысль: «Постой! Дай только проводить, — я тебе всыплю», — в то время как язык его продолжал занимать даму разговором.

— У нас вскоре после Пасхи — экзамены, и 15 мая конец всему! Распустят!



— Счастливики! А у нас только 10 мая начнутся... Да, Алевтина Николаевна, прощайте! — грустно говорил реалист.

— Слышишь? Алевтина Николаевна, — шепчет, подталкивая товарища, Петров.

Вероятно, Лёля услышала голос, назвавший позади её имя: она обернулась, и на её милом личике скользнула довольная улыбка.

Лёля очень самолюбива и тщеславна... Очевидно, идущие позади гимназисты ею заинтересованы, а это так льстит самолюбию!

Лёля грациозно мотнула головкой, как бы небрежно откидывая свою косу, и заговорила с реалистом несколько приподнятым тоном, как говорят, когда знают, что есть другие слушатели, кроме собеседника, и когда желают, чтобы и «другие» тоже слышали:

— А у гимназистов, кажется, позже всех экзамены? Бедненькие! — произносит Лёля самым певучим голоском. Петров счёл необходимым кашлянуть и крикнуть. Реалист молчал, только лицо его сделалось ещё более недовольным.

Павлов испачкал в грязи концы своих новых брюк, и это его сильно беспокоило; он подумывал уже, «не заворотить ли» их опять, но почему-то не решался...

Так они дошли до Никольской улицы, где вчера Петров упустил Лёлю. Лёля с реалистом свернула влево. Гимназисты — тоже. Прошли три-четыре дома — и не только местожительство Лёли обнаружилось, но была открыта — по визитной карточке на двери, куда вошла Лёля — и её фамилия — Троицкая.

— А может быть, она на хлебах, и это не её папаша? — усомнился было Павлов.

— Дурак! Видишь — Николай? А её величают Николаевной. Значит — отец...

И таким образом Петров добился узнать, как её зовут, как её фамилия, где она живёт... Но этого ему было мало, — он решил во что бы то ни стало познакомиться. «Уж я добьюсь! — говорит Петров. — Она, наверно, будет говеть у Покрова»...

А реалист прошёл уже шагов десять вперёд и нет-нет да и оглянется.

— Яичница с луком! — крикнул Петров в один из таких моментов.

— Молчи, синяя говядина по грошу за пуд и собаки не жрут!.. — отчеканивая каждое слово, ответил реалист.

Петров предложил было Павлову вздуть реалиста, но Павлов струсил. И все «проводжатели» мирно разошлись в разные стороны.

III

Стояла страстная седмица. Весна шла быстро. Солнце светило всё ярче, и небеса делались всё глубже и прозрачнее. Снег совершенно стоял. Кое-где уже выставляли зимние рамы.

Люди готовились к встрече великого праздника.

По утрам и по вечерам раздавался протяжный благовест к «часам» и «вечерне». По улицам тянулись вереницы говельщиков, медленно шагающих по направлению к приходским церквам.

Петров и Павлов тоже говели, как и следует.

Они мыкались по церквам, как угорелые... Полетят к Покрову, протолкаются вперёд, встанут, торопливо перекрестятся и с одышкой, словно сейчас только бегали взапуски, начинают вопросительно обводить взорами молящихся, видимо, кого-то отыскивая... Поят минут десять, Петров толкнёт Павлова локтем — и говельщики лезут вон из церкви. Выбравшись на паперть, они мигом накрывают головы фуражками и стремительно летят к Петру и Павлу. И там повторяется та же история. Благоговейно настроенные старики и старухи сердятся:

— Вот, прости Господи, утомону нет! Взад-вперёд! Взад-вперёд!.. Но гимназисты не смущаются — лезут себе, куда им надо.

Эти поиски продолжались очень долго. Петров уже отчаивался, как вдруг судьба улыбнулась.

— Зайдём, что ли, ещё в Семинарскую! — сказал Петров уже совершенно печально, когда они тщетно путешествовали со свечами в руках из церкви в церковь во время чтения «Двенадцати Евангелий».

Они вошли в Семинарскую домовую церковь.

Петров повёл взором: сердце его вздрогнуло и застучало — он увидел золотистую косу с голубой ленточкой.

— Здесь! — переводя дух, шепнул он Павлову.

Павлов вытянул шею, но по близорукости не находил. Однако, не желая выказать себя ротозеем, Павлов шепнул в ответ:

— Вижу!..

Петров протискался вперёд и стал недалеко от Лёли, сбоку. Лёля словно почувствовала устремлённый на неё пристальный взгляд и, полуобернувшись и встретя знакомое лицо гимназиста, чуть-чуть улыбнулась и опять стала неподвижна, как статуя...



Теперь Петров уже никого не возмущал и никому не мешал. Он смиренненько стоял на месте и усердно молился, несколько скашивая глаза в правую сторону на Лёлю...

Храм был битком набит молящимися. Слышалось чтение евангелий, редкие удары колокола на колокольне и глубокие вздохи старушек вблизи. Потом неслись стройные, торжественные звуки хора, замиравшие в вышине, под потонувшими в таинственном полумраке сводами храма. Блиставли огоньками сотни восковых свеч, и, когда кончалось «евангелие», огоньки эти мигали, гасли и к запаху ладана примешивался запах дыма и копоти от тлеющих фитилей.

У Петрова была свечка, но она была тонкая, стояла всего пяточок, и притом Петров половину её уже успел сжевать от скуки и волнения во время поисков. Петров купил себе новую свечку, потолще, в десять копеек, «с золотом». Когда приближалось чтение евангелия, он первый зажигал свою свечу с золотом и приближался к Лёле. Он даже несколько нагибал свою свечу в её сторону, и, как только Лёля выказывала своим движением намерение зажечь свой огарок, Петров подсовывал ей огонёк.

— Мерси! — чуть слышно шептали Лёлины губки. Она слегка улыбалась, зажигала свою свечу от блиставшей золотом свечи Петрова и опять делалась неподвижной, серьёзной, как «большая»...

Но у товарищей было уже наперёд условлено, как надо действовать.

Павлов, стоявший позади Лёли, с другого бока, тихо, незаметно дул через плечо на огонёк свечи, и она потухала. Тогда Петров быстро подставлял свой огонёк. Потом Петров умышленно тушил свою свечу и тянулся, чтобы позаимствоваться огоньком у Лёли, причём называл уже её Алевтиной Николаевной, что для той было столь же неожиданно, сколь и приятно.

Когда настало время «прикладываться», Петров пошёл следом за Лёлей, не отставая от неё ни на шаг. Немного толкались, но это было ничего, даже веселее. Мямля Павлов отстал, был оттёрт толпою и пропал бесследно... Не таков был Петров: он таки «приложился» сейчас же за Лёлей к тому же самому месту и пошёл за нею обратно. Навстречу проталкивался тот реалист, который смущал Петрова, и последний мимоходом ткнул его локтем как бы нечаянно... Но и реалист затерялся в толпе. Лёля шла к выходу. Петров не отставал. Лёля, видимо, кого-то поджидала.

— Нам ведь Алевтина Николаевна, по пути... Я через Никольскую хожу всё равно, пойдёмте вместе, — приврал Петров. Лёля

была рада; она потеряла свою провожатую, горничную Феню, а одна идти боялась: было поздно и темно.

Петров пошёл провожать. Дорогой он с успехом поддерживал разговор с дамой и, между прочим вспомнив реалиста, не преминул уронить его «шансы».

— Ведь реалистам в университет нельзя... Их не принимают туда...

— Нет, если выдержать какой-то экзамен, так можно.

— Где им? Не придётся: мелко плавают.

— Но зато они могут в офицеры!

— В офицеры? Эка штука! В офицеры и мы можем, если захотим... Не стоит только.

— У офицеров очень красивая форма...

Петров не подыскал возражения.

— Чего особенного! — вскользь заметил он и перевёл разговор ближе к цели. Он узнал, что Лёля во втором классе, что она ходит каждый день в пять часов гулять с папой и что на Пасхе у них на дворе будут играть в крокет.

IV



Был прекрасный весенний день — второй день Пасхи.

Над городом разносился радостный несмолкаемый гул от сотен трезвонящих колоколов. По улицам мыкались на извозчиках визитёры в цилиндрах, и двигались по панелям разряженные «плебеи», поплёвывавшие шелухой подсолнечных семечек.

Природа ликовала вместе с людьми, празднуя своё обновление.

Петров и Павлов прохаживались около четвёртого дома на Никольской улице. Со двора этого дома вырывались на улицу весёлые детские голоса, смех и крики. Там во что-то звонко стучали, перекликались и спорили. Конечно, там играли в крокет. Петров это сразу понял и сообщил Павлову. Обоим хотелось зайти во двор и присоединиться к играющим, но как-то не было решимости. Особенно колебался Павлов.

— Наверно, и реалист там! Отдует палкой, вот тебе и крокет.

Петров прислушивался и узнавал звонкий голосок Лёли. Ему так хотелось поиграть с ней в крокет, так тянуло на этот двор. Растворив тяжёлую калитку, с цепью в воротах, он заглянул внутрь. Но ничего не видать: справа — стена, слева — крыльцо, и двор загибается



за угол. Слышались лишь голоса и крики, да стук молотков о шары.

— Ну, идём, что ли? — сказал Петров, шагнув в калитку и оборачиваясь к Павлову.

— А реалист?

— Ах ты трус презренный, — ответил с сердцем Петров, вытаскивая обратно свою ногу.

Но — чу! Лёлин голосок близко, близко... Слышен топот её ножек и хохот. Шар выкатился со двора в узкий проулок, ведущий к воротам. Петров моментально всунул свою голову в калитку, под цепь, и посмотрел.

— Ах! Кто там? — испуганно вскрикнула Лёля, увидя просунутую в калитку голову с улыбающейся физиономией.

— В крокет играете, Алевтина Николаевна? — спросил Петров, ещё более всовываясь в калитку.

— Ах, это вы, Петров? Что же вы не идёте? Идите. Будем играть в крокет.

— Я не один. Тут ещё есть!.. Мой товарищ.

— Пусть и он идёт!

Но — увы! — товарища уже не было у ворот, когда Петров обернулся, чтобы позвать его. Павлов, как только услышал выкрик: «Кто там?» — так сейчас же представил себе «реалиста с палкой» и дал тягу.

«Дурак и трус!» — подумал Петров и смело вошёл в калитку.

Запустив руку в карман мундира, он вытащил оттуда специально приготовленное им для Лёли яичко с нацарапанной на нём надписью:

*Я на этом на яичке,
Как на красной на страничке,
Про любовь свою пишу
И красоте подношу...
Христос воскресе!!!*

А. Н. Т. от меня

Вытащил и, подавая яичко Лёле и жадно смотря на неё своими чёрными глазёнками, сказал:

— Христос воскресе, Лёля!

Лёля взяла яичко, смутилась, вспыхнула, как розанчик, потушилась и тихо ответила:

— Но... но я не христосуюсь... с мужчинами!

— Вот беда какая! — проговорил Петров и, моментально подскочив к Лёле, обвил левой рукой её талию и стал целовать её щёчку.



Фуражка с Петрова спала наземь и была смята ногами. Тщательная причёска «с прибором» спуталась.

Настойчивый Петров, вероятно, долго бы не выпустил из рук Лёлину талию, если бы не раздался вдруг близкий окрик появившейся из-за угла девочки:

— Ай да Лёля! Ай да Лёля! — закричала эта девочка, захлопавши в ладоши.

Петров опомнился и выпустил Лёлю. А из-за угла выскочил вдруг реалист и действительно с палкой...

— Ах ты, синяя говядина! Да я тебя! — закричал реалист, замахал палкой и побежал с явным намерением отдуть Петрова.

Петров подхватил с земли свою запылённую фуражку и весьма проворно выскочил в калитку.

«Ладно! Всё-таки похристосовался!» — думал Петров, спасаясь от преследования реалиста, и когда понял, что опасность миновала, обернулся к воротам, погрозил кулаком и прокричал:

— А тебе, яичница с луком, мы бока намнём! Погоди!..

V

Это Петров провёл в деревне Ольшанке, у дяди Гриши. Сильно тосковал Петя первое время по приезде о Лёле. Круглое одиночество чувствовал он в большом барском доме и тоскливо слонялся по комнатам, не находя никаких

развлечений. В прошлом году здесь было весело. Тогда очень весёлый был дядя Гриша: они с ним были большими друзьями, вместе ездили в лес и в поле, пускали змея, удили рыбу в пруду... Вообще тогда дядя Гриша относился к Пете внимательнее, чем теперь. Теперь не то. Дядя Гриша женился на тёте Дуне и всё вертится около своей молодой жены... Дядя, казалось, позабыл о существовании на свете Петрова... Это обидно, но Петров не станет навязываться: не хочет и не надо!.. Новая тётя тоже не особенно интересуется Петровым, да Петрову и не больно нужно... Идут в лес под руку, а Пете ничего не говорят... Уж когда вышли за ворота и стали спускаться под горку, тётя Дуня обернулась и крикнула торчавшему у ворот Петрову:

— Петя! Не хочешь ли с нами?

— Не хочу, — ответил громко Петров и тихонько прибавил: — Давеча не звали, а теперь лезут...

И остался у ворот... Потом пошёл в сад и срезал себе из вишни палочку. На коре он вырезал две буквы «л», что означало «люблю

Лёлю». В беседке Петя изрезал перочинным ножом весь стол и все подоконники вензелями «Л. Т.».

Скучно Пете... Брякнется он на траву, закроет глаза и начинает думать о Лёле... Русая головка с вздёрнутым носиком встанет перед его мысленным взором, маленькое сердечко запрыгает от радости и тоски, и всем существом своим Петя устремится в город, где... где, в сущности, теперь и Лёли-то нет вовсе... «Дяде весело, — думает Петя, — потому что у него есть жена, а у меня нет жены, и потому мне одному скучно»... Хорошо бы привести сюда Лёлю... Они ходили бы с ней под ручку, как ходят дядя с тётей, и тоже не брали бы их с собой гулять.

Первую неделю Петя тосковал так сильно, что наводил тоску даже на тётю Дуню.

— Что ты ничем не займёшься? — спрашивает с досадой тётя.

— Нечем заниматься...

— Читал бы!..

— Всё давно прочитал...

— Ну, пошёл бы играть...

— Не с кем...

— Пускай змея!

— Ветру нет...

— Так неужели же никакого дела так и не можешь себе придумать?

— Никакого дела здесь нет...

Но прошла неделя, другая, и Петина тоска стала понемногу утихать. Прошла ещё неделя. Петя нашёл себе столько дел, что решительно не успевал уже их переделывать. Он привык к новой тёте и опять подружился с дядей Гришей. Впрочем, теперь и дядя, и тётя ушли на второй план, да, пожалуй, Петя не особенно опечалился бы, если бы их совсем и не было... У Пети завелись друзья-приятели из крестьянских ребятишек, и масса игр и развлечений поглотила его с головой. С утра до позднего вечера Петя носился по деревне, по огороду, по саду. Прибегал, запыхавшись и покрасневшись, в кухню к Аграфене и наскоро пил воду, тыкаясь головой в ведро.

— Ковшик взял бы! Разя хорошо прямо мордой лезть?.. На!..

И Аграфена совала Пете ковш.

— Как ты смеешь!.. — произносил наскоро Петя, вынырнув из ведра, и быстро исчезал за дверью.

Как обедать — начинаются поиски: Петрова, как говорится, собаками не сыщешь.

— Ба-ри-н!.. Пётр Васил-и-ч!.. — орёт Аграфена с кухонного крыльца. А Никита выйдет за ворота на косогор и кричит оттуда.

Каждый день новые игры и забавы. Одной из таких забав было сражение с крапивой.

Вдоль плетня по огороду росла высокая густая крапива. Пыльная, колючая, с кистями жёлтых цветов, она представлялась большим препятствием при прямом сообщении с речкой через плетень. Петя считал эту крапиву врагом и порешил её уничтожить. Из Прощек, Тришек, Мишек Петя составил воинственную армию, вооружил её деревянными саблями и водил сражаться с крапивой.

— Сабли вон, — командовал Петя. — Насту-пай!..

И начиналась атака.

Ребята с какой-то злобою и остервенением накидывались на крапиву и изо всех сил рубили её своими саблями. Неприятельские головы так и сыпались, так и клонились долу под ударами храбрых воинов и частенько жгли руки своими колючками. Но это только ещё сильнее воодушевляло бойцов:

— Колоться? Вот ты как!.. Так вот тебе! Вот! Вот! — кричал Петя и отчаянно махал на обе стороны саблей и ногами топтал неприятеля.

Армия утомлялась. Пот градом катился с героев, мускулы рук начинали ныть, а между тем неприятель стоял ещё сплошной стеной вдоль плетня с гордо поднятою головою — и Пете вдруг надоедало «сражаться».

— Будет, Прощка! Не стоит, надоело... — лениво говорил он неутомимым соратникам и валился на траву отдыхать.

VI

Купанье на «яру» было так же приятно, как и сражение с крапивой.

— Петя, пойдём купаться! — кричал Прощка, ежедневно в полдень появлявшийся у решётки палисадника барского дома.

— Сейчас! Дозавтракаю!.. — звонко отвечал Петя, выставляясь в открытое окно.

— А ты — скорей!..

Петя быстро кончал с завтраком и галопом вылетал на крыльцо.

— А где Тришка и Мишка? — осведомлялся он о своих приятелях, наскоро прожёвывая хлеб с маслом...



— Уж купаются...

И Петя с Прошкой отправлялись в огород, а оттуда, через плетень, за околицу, к новому мосту. Здесь речка Ольшанка — пошире и поглубже и почему-то называется «Яром», хотя глубина этого яра не больше аршина...

Вот к этому-то «Яру» и бегут Петя с Прошкой.

Теперь здесь дым коромыслом: крик, гам, смех, плач и ругань... Парнишки и девчонки бултыхаются в грязной взбаламученной воде и проделывают всевозможные фокусы: и «берёзку ставят», и «блины едят», и в чехарду играют, и с моста вверх тормашками кидаются, плавают и по-бабьи, и по-собачьи, и по-лягушачьи, стараясь перещеголять друг друга...

Петя с Прошкой моментально сбрасывают одежонку и бултыхаются в речку. В воде масса русых головок, голых рук и ног. Трудно разобраться и рассортировать их по принадлежности. Вдоль берега сидят измазанные с ног до головы жидкой грязью ребята — отдыхают. По перилам моста восседают рядком, как птицы, такие же фигурки.

— Прошка! А, Прош! Поставь берёзку!

Прошка кувыркается, скрывается в грязной воде, и через несколько секунд оттуда выставляются Прошкины ноги. Это и есть «берёзка».

— Ширну-мырну где вымырну!

— Огашка! Огашь!

— Чиво?

— Глядь, сколь блинов съем! — кричит выходя из себя маленький карапуз с большой головой.

Карапуз кидает по воде черепок. Черепок подпрыгивает и оставляет на воде круги, всё шире и шире расплзающиеся на поверхности.

— Один, два, три... четыре!.. пять!..

— Пять только!.. А вот гляди — я!..

Общество с каждой минутой разрастается. То и дело подходят новые партии ребятешек, торопливо сбрасывают рубашонки, бегут на мост и, перекрестившись, бросаются вниз головой, поднимая при падении целый каскад грязных брызг...

Своим примером новички увлекают выкупавшихся и успевших уже обсохнуть ребят... Стараясь опередить друг друга, они тоже сбрасывают рубашонки и кидаются в речку.

Петя совсем «опростился», он так сроднился с этим новым обществом, что чувствовал себя теперь равноправным членом его.

Ребятишки успели к нему привыкнуть и скоро стали называть его Петькой; никакого почтения к нему они теперь уже не чувствуют и вообще обращаются с ним запанибрата. Впрочем, такое отношение Пете кажется теперь совершенно правильным, так как он давно уже отвык разделять мальчишек, как собак, на две категории: уличных и комнатных.

День проходит быстро, незаметно... А каждый новый день приносит новое удовольствие, новое наслаждение.

Лёля совсем вылетела из памяти. Петя уже не только не тосковал о ней, но даже перестал думать... Некогда было: с утра до позднего вечера — на улице с друзьями и приятелями; домой возвращается утомлённый, ложится и спит как убитый, без просыпа, до следующего утра... А там опять — дела...

Незаметно пролетел и вакал... Был уже август в начале. Погода стояла прекрасная, но вечера сделались уже прохладными, и в саду начали желтеть листья. Невольно мысль останавливалась на городе, на гимназии, а главным образом, на «вакационных работах»... Ничего не готово, и нет никакой охоты браться за книги...

Однажды, за несколько дней до отъезда в город, дядя Гриша получил вместе с газетами письмо, на конверте которого было написано старательным детским почерком: «С передачей ученику III класса Н-ской гимназии Петру Петрову». Дядя долго дразнил Петю. Подняв руку с письмом кверху, дядя не давал Пете письмо, а Петя прыгал около дяди и старался вырвать его. Петя покраснел как рак и уже готов был обидеться и сказать: «Не больно нужно», — но тут в дело вмешалась тётя Дуня и, выхватив у мужа письмо, отдала взволнованному адресату.

Убежав в сад, в беседку, Петя дрожащей рукой разорвал конверт. Оттуда выглянула голубая почтовая бумага... «От Лёли», — подумал Петя и жадно впился глазами в развёрнутое письмо.

«Здравствуйте, Петров! Как вы поживаете, а я, слава Богу, ничего. Ваше яичко я подложила под наседку, потому что очень хотела, чтобы из него вышел цыплёнок, а оно оказалось вкрутую, и его съел противный петух. Мы уже приехали в город, и в понедельник я пойду в гимназию. Больше писать нечего, до свидания, всего вам хорошего.

Алевтина Троицкая».

Внизу была сделана приписка: «Приезжайте скорее, будем играть в крокет».



Воспоминания хлынули в Петину душу и разбудили там прежнюю, померкнувшее было чувство... Опять Лёля встала перед ним, как живая, и опять его потянуло в город. Всё ему вдруг здесь надоело, и всё стало казаться таким пустым и неинтересным.

— Петенька! Пойдём с крапивой сражаться, — предлагает Прошка.

— Вот больно нужно, — рассеянно отвечал Петя.

Теперь он уже не находит более удовольствия в этих «сражениях» и лелеет в душе одну встречу с милой Лёлей...

VII

По приезде в город Петя прежде всего отправился к Павлову.

Встреча была самая простая, без волнений, словно они вчера только виделись:

— Сделал вакационную задачу? — спросил Петров.

— Сделал, только по ответу не выходит... Верно, в задачнике навроно?..

— Всё равно... Дай, голубчик, содрать!

— Сдирай! Приходи завтра!..

Пете хотелось поскорее узнать о Лёле, но что-то мешало ему спросить о ней Павлова.

— В крокет играешь? — спросил он издалека.

— Вчера играли...

Петя хотел спросить, где играл Павлов в крокет и играла ли Лёля, но опять спросил обходом:

— Много народу играло?

— Много... Лёля ловко играет...

Петя вздрогнул и вспыхнул.

— Как-нибудь надо сразиться, — произнёс Петров как бы мимоходом.

— Пойдём сейчас! — предложил Павлов. — У них, наверно, теперь играют... Они переехали на новую квартиру, и теперь двор у них большой... Лужок... Теперь только в крокет играют редко, а больше — в «ловильшки»...

— Что же, в «ловильшки» тоже весело...

— А реалиста помнишь? — спросил Павлов.

— Ну?

— Я с ним помирился... Вместе теперь играем...



— Не стоит обращать внимания...

— У Лёли есть двоюродный брат Кукушкин... Он к нам в гимназию поступил, прямо в третий... Живут на том же дворе...

Петя слушал с некоторой завистью. Он видел, что Павлов успел всё узнать и, видимо, хорошо познакомился с Лёлей: Павлов говорит о ней, как о товарище...

— Ты, верно, влюбился в Лёлю-то? — высказал Петя с умыслом: он хотел узнать, как отнесётся к такому предположению Павлов.

Павлов обиделся:

— Ты сам втрескался, так думаешь — и все...

Павлов надул губы. Товарищи замолчали. Павлов, пожалуй, и совсем рассорился бы с Петровым, да дело в том, что Петров написал перевод из латинского, и придётся у него содрать...

— Так я тебе завтра принесу из латинского, а ты мне дашь списать задачу, — желая прервать неловкое молчание, произнёс Петров.

— Хорошо, — ответил Павлов и подобрал губы.

— Ну, идти так идти, — сказал Петров.

— Куда?

— Как куда? Сам звал, а теперь...

Павлов долго искал свою фуражку.

— Вот она! — сказал Петров, поднимая фуражку из-под стола и таким образом стараясь смягчить нанесённую товарищу обиду.

На козырьке фуражки у Павлова было написано чернилами: «Кто возьмёт сие без спросу, тот останется без носу...».

Петров и Павлов отправились.

Сильно волновался Петя дорогой. Ему было приятно и как-то страшно; то хотелось дойти поскорее, то подольше не приходиться и оттянуть минуту свиданья с Лёлей...

Выдался тёплый августовский вечер. Приятная прохлада носилась в воздухе, и кое-где из окон вырывались аккорды пианино.

Какое-то новое неведомое чувство проснулось в душе Петрова. Какая-то восторженная радость овладела им всецело, и так хорошо было дышать и слушать музыку, и смотреть вокруг. Так давно уже он не был в городе, и теперь всё ему кажется новым: и громохание пролёток, и выкрикивание разносчиков, продающих лимоны, и вся эта городская сутолока...

Петя несколько раз поправлял блин своей фуражки: ему хотелось, чтобы фуражка выглядела молодецки, браво, как у офицера, а не так, как она выглядит у Павлова... Несколько раз он вытаскивал пальцами белые рукавчики и воротничок крахмальной рубашки,

чтобы их было виднее; несколько раз вынимал платок и отирал выстуживший на лбу пот; несколько раз оправлял причёску на голове...

Но вот дошли!..

Дом — большой, двухэтажный и смотрит как-то особенно важно и торжественно. Какой-то дымкой таинственности и привлекательности окутан этот дом для Петиного взора... «В этом самом доме, где-нибудь там, внутри, живёт Лёля», — думал Петя, и дом казался дорогим, близким, родным, а отчасти и святым даже. И всё в этом доме как-то иначе, чем во всех других домах: и окна, и выглядывающие из них цветы, и ворота, и трубы для стока дождевой воды... Вон, например, одна труба кончается раскрытой пастью какого-то зверя — не то дракона, не то крокодила.

VIII

С чувством благоговения вошёл Петя во двор этого чудного дома. Большой лужок пересекается крест-накрест перебегающими тропинками... Два флигеля с палисадниками смотрят из-за желтеющей уже листвы красными железными крышами. Индейский петух ходит, гордо распутив хвост, около единственной индюшки. «Пырин, пырин нехорош, пырка лучше тебя», — подразнил Павлов индюка. Тот побагровел от злости и проболтал что-то очень недовольно. На чёрном крыльце лежит породистый пёс: он приветливо замахал хвостом, увидя Павлова (видимо, они хорошо знакомы)...

— Как зовут? — спросил Петров.

— Картуш...

На дворе пусто. Только через растворённые настежь двери каретника видна кумачовая рубаха кучера Ивана, моющего пролётку, да на мгновение из окна кухни выставилась чья-то голая рука и выплеснула на двор из полоскательной чашки содержимое.

Павлов направился к каретнику.

— Где Кукушкин? — спросил он Ивана.

Кучер обернулся, но, не обратив никакого внимания на вопрос Павлова, продолжал мыть пролётку, тихо напевая какую-то грустную песенку.

Из раскрытых окон главного дома доносился звон посуды и говор — там обедали.

С замиранием сердца Петров прислушивался к этому говору, желая услышать голосок Лёли. Но голосок не звучал.



— Где живут Троицкие-то? — решил спросить Петров товарища.

— Наверху... Вон окно, четвёртое с краю...

— Павлов! Я сейчас! — вырвался вдруг голос из окна флигеля. Петров вздрогнул и спросил:

— Кто?

— Кукушкин, двоюродный брат Лёлин.

Кукушкин вырубил. Наскоро допивши чай, он выскочил на двор и предложил играть «в ямки».

— Народу мало, — заметил Петров.

— Я позову... Лёлька придёт...

Петрову только это и надо было.

Кукушкин проворно взбежал на крыльцо и скрылся, топая каблуками по лестнице, а Петров и Павлов остались ждать.

Томительное ожидание! Петров прихорашивался незаметно для товарища и едва переводил дух. Как только где-нибудь хлопала дверь, Петров вздрагивал, краснел и начинал играть с Картушем, как бы совершенно не интересуясь выходом Лёли. Между тем его сердце билось громко и порывисто... Вот опять стукнула дверь. Кукушкин стучает каблуками по лестнице: он бежит... А вот ещё слышны шаги, мягкие, торопливые... Это она! Лёля!..

У Петрова захватило дух и замерло сердце...

— Ах, Петров! Как это вы?.. — воскликнула поражённая Лёля, остановившись на последней ступени крыльца.

— Моё почтение! — ответил вспыхнувший Петров, сняв фуражку, так сильно прищёлкнул ножкой, что даже взбил под ногами пыль.

Лёля радостно побежала ему навстречу. Они пожали друг другу руки и несколько мгновений не знали, что сказать теперь.

— Весело было на вакате? — спросила, наконец, Лёля.

— Страшная тоска! — меланхолично ответил Петров, которому теперь казалось, что действительно в деревне он всё скучал по Лёле.

— А яйцо-то, которое вы подарили, петух съел... Такая досада.

— Будет вам — про яйца... Давайте же играть, — перебил их Кукушкин.

— В «ямки»! — громко крикнул Павлов.

Они стали играть в «ямки».

Петров с любопытством осматривал Лёлю. Лёля стала выше; загорела, голос как-то по-другому звучит, а может быть, это только так кажется, потому что давно Петров не слышал этого милого голоса... Лёля ещё лучше стала. Смеётся она всё по-прежнему, звонко...



Лёля в белом ситцевом платице. Она так жива и подвижна. Когда бежит — трясёт головкой и звонко, звонко визжит... Он не сводит с неё глаз и играет рассеянно, не отдаваясь игре всецело, как другие.

Долго играли в «ямки». Когда Лёлю позвали домой, Петров захотел пить, и Кукушкин повёл его к себе.

— Ты ведь тоже в нашей гимназии? — спросил Кукушкин.

— Да...

Кукушкин подскочил от восторга и ударил Петрова по спине так больно, что, не будь он двоюродный брат Лёли, Петров дал бы сдачи. Больше уже не играли. Игра без Лёли для Петрова была совершенно неинтересна, и они с Павловым ушли.

Петров уходил довольный, удовлетворённый: впереди смутно рисовалась дружба с Кукушкиным и возможность таким образом часто видаться с Лёлей.

IX

Расчёты Петрова оказались верными: осенью он то и дело бегал к Кукушкину, а вскоре «затесался» в гости и к самой Лёле.

Теперь Петров был в третьем классе гимназии, а Лёля в пятом. Но это ровно ничего не значило, так как у гимназисток классы считались, как говорили гимназисты, шиворот-навыворот; так что в сущности Петров и Лёля были по классу ровнями.

Петров по будням то и дело бегал к Кукушкину справляться, что задано то из русского, то из немецкого, а перед праздниками ходил к нему в гости.

После двух игр «в короли» и в особенности одной игры в жмурки Петров понял, что он любит Лёлю бесповоротно и просто не может жить без неё... Петров решил жениться на Лёле... Классы ведь считаются шиворот-навыворот, поэтому Лёле недолго придётся ждать, пока он кончит своё учение и сделается, как папа, мировым судьёй.

Но любит ли его Лёля — вот что главное...

Да в этом не может быть никакого сомнения!.. И вот почему.

Однажды, когда они играли «в короли», Лёля заметно старалась сделаться «королём», а Петрова пристроить в «принцы», даже сплутовала в этих видах, что Петров заметил, но никому не сказал. Лёля толкнула тогда его под столом ножкой. В другой раз Лёля спросила Петрова: «Придёте вы в следующую субботу?» — и при этом добавила: «Если вы придёте, и я — тоже»... Наконец, однажды Лёля



сказала: «Петя!.. Голубчик!.. Садитесь сюда!..» Дело было за чаем, и Петров сел против Лёли, а она хотела сидеть непременно рядом...

Так что, конечно, Лёля согласится выйти замуж за Петрова.

Сперва Петрова беспокоило то обстоятельство, что Лёля, приходя к Кукушкиным и уходя от них, целуется с Василием, но потом он успокоился и сообразил, что двоюродным братьям и сёстрам целоваться можно, но выходить друг за друга замуж нельзя. Впрочем, после одного памятного вечера у Петрова не осталось никаких сомнений на этот счёт. Они были у Кукушкиных и играли в жмурки. Лёля нарочно сделала так, что с её платья свалился маленький голубой бантик; Петров поднял его с пола и спрятал...

Он хранил этот бантик в хорошенькой разукрашенной разноцветными ракушками коробочке и никому не показывал его. Зато сам каждый день перед тем, как идти в гимназию, вынимал бантик из коробочки и, прикладывая его к своим губам, мысленно говорил: «Милый бантик, спаси меня сегодня из латинского!..» Петров убедился, что бантик действует: как-то раз он не приготовил хорошенько урока из латинской грамматики, а когда спросили — получил четвёрку. Да это было просто чудо!.. Совсем не знал с вечера исключений, а как вызвали, вспомнил бантик и начал валять:

*Много есть имен на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis...*

— Довольно! Отлично! — останавливает учитель, а Петров жарит себе без запинки. Получил бы пять, если бы не сбился в склонении...

Х

Наступила и зима. Приближались рождественские каникулы, и наши герои начинали мечтать об ёлках... Если ёлка вообще вещь очень занимательная, то ёлка у Троицких в глазах Петрова являлась, бесспорно, грандиозным событием, поглотившим всё его внимание и все помыслы.

Лёля пригласила Петрова, ещё когда их распустили, и Петров начал тщательно готовиться к этому знаменательному событию. Никогда ещё на Петрова не находило такого наплыва опрятности, как случилось теперь. Стёрши в порошок кусок унесённого из гимназии мела, Петров, напевая весёлые мотивы, чистил на своём мун-

дире пуговицы и галуны; затем купил на 20 коп. бензину и принялся мыть лайковые перчатки, купленные ещё к Пасхе и потому немного грязные. Своей матери он надоел с просьбою купить новые сапоги.

— Да ведь у тебя ещё крепкие?

— А это что? — горячо возражал Петров, поднимал ногу и показывал каблук.

— Ну что же!.. Немного каблук скривился.

— А ты думаешь, мне не трёт ногу?.. — убеждал Петров.

Сапоги купили, так как Петров начал хромать и решительно отказывался надевать сапог на левую ногу.

Когда Петров окончательно привёл себя в порядок, ему пришла в голову мысль подарить что-нибудь Лёле на память. Он остановился на альбоме и потратил на него весь рубль, скопленный по три копейки, которые давала ему мать в гимназию на завтрак ежедневно. Альбом был изящный, в красном сафьяновом переплёте, с золотым тиснением и с букетом цветов на первой странице. До глубокой полночи мучился Петров, придумывая, что бы написать ему собственноручно на память Лёле в этом альбоме. Наконец придумал. Под букетом цветов он очень красиво вывел:

*Ты прекрасна, словно роза,
Только разница одна:
Роза вянет от мороза,
Твоя прелесть — никогда...*

*Ученик III класса
основного отделения
N-ской гимназии Пётр Петров*

Всё было готово, делать уже было нечего, и ожидание становилось прямо мучительным. До ёлки оставалось ещё два дня, и Петров слонялся по комнатам из угла в угол, всем надоел и ссорился с маленьким братишкой.

— Займись чем-нибудь! — кричит мать, выведенная из терпения. Но в том-то и дело, что Петров мог теперь только думать об ёлке и о Лёле... Присядет за книжку, пробежит несколько строк и бросит. «Не сходить ли к Кукушкиным? — размышлял он. — Неловко... Все убираются к праздникам, а Лёля так и сказала, что до Рождества ей некогда, и гулять даже она не будет ходить... Всё-таки пройдусь».

Надев пальто, Петров отправляется бродить по улицам, и как-то невольно его клонит всё в одну и ту же сторону, а именно — к Лё-

линому дому. Пройдёт мимо этого дома, заглянет во двор и пойдёт дальше. Пройдёт до угла и снова вернётся, и снова пройдёт мимо этого дома и заглянет во двор.

Скучно! Ах, как скучно!..

Но вот наконец настал и желанный день... Ровно в семь часов вечера Петров с тщательно завернутым в бумагу альбомом появился в квартиру Троицких.

Роскошно убранная ёлка торжественно возвышалась посреди зала. Масса ярких огней придавала ей вид красивой пирамиды из звёзд. Разноцветные фонарики прятались в ветвях ёлки, как в густых таинственных аллеях какого-то волшебного сказочного парка. Позолоченные и посеребрённые орехи и картонные ордена, металлические игрушки и зеркальные стеклянные шарики, покачиваясь на ниточках, сверкали искрами, как снежинки в лунную морозную ночь...

Сколько заманчивых вещиц, сколько красивых бонбоньерок и вкусных сладостей скрывалось в этой волшебной пирамиде из звёзд! Кругом красиво ниспадают гирляндами разноцветные бумажные цепи. Огни отражаются и на поверхности гладкого, налощённого паркета. А на самой верхушке горит розовый глазок-фонарик и словно подмигивает окружающему ёлку обществу.

XI

Общество состояло исключительно из маленьких людей, большие предоставили им полнейшую самостоятельность — им некогда. Мамочка засела с гостями за зелёный стол и «винтит», папочка завёл нескончаемый разговор с отставным усатым полковником на тему о значении и великих заслугах русского дворянства перед престолом и отечеством (оба собеседника — дворяне, имеющие заложенные имения). Бабушка сидит в столовой за самоваром и с ворчанием подсыпает в чайник всё новые и новые «заварки». Горничная сбилась с ног, едва успевая выполнять различные приказания.

Лёля и её братишка Володя прекрасно выдерживали роли радужных и гостеприимных хозяев. Завитой барашком, в изящном костюмчике моряка, Володя с ловкостью гостиного кавалера скользил своими тоненькими ножками по паркету и занимал дам разговорами. Лёля тоже не уступала в этом отношении брату: она старалась со всеми подругами походить под руку и каждого кавалера

подарить своим вниманием. Живая, востроглазая хохотунья, шалунья и проказница, Лёля была душою общества. Она знала массу всевозможных игр и всюду являлась инициатором и организатором. Громкий, звонкий голосок её серебряным колокольчиком звенел безостановочно. Крики, возгласы и хохот Лёли покрывали общий гам непринуждённого общества... С завитыми, ниспадавшими на плечи локонами, с открытым задорным личиком и бойкими синими глазёнками, эта двенадцатилетняя красавица всецело овладела вниманием и симпатиями не только кавалеров, но даже и всех дам, которые наперерыв друг перед другом стремились поймать Лёлю под руку, погулять с ней вокруг ёлки и написать ей в подаренный Петровым альбом стихи на память. Альбом быстро заполнился автографами. Нина Блохина, друг Лёли, вписала ей па память:

*Всё на свете пустяки,
И любовь игрушка.
Все мужчины гураки,
Моя Лёля — гушка!..*

Из мужского персонала больше всех выделялся реалист Гриша, знакомый уже нам соперник Петрова. Он был старше всех классом и только один — реалист. Ощущая себя в некотором смысле единственным, реалист держался с сознанием собственного достоинства. Он критически относился к играм, явно отдавая предпочтение танцам, раскланивался с дамами, как настоящий кавалер: покорно склонял свою остриженную под гребёнку голову и пристукивал по-военному ножкой; к мальчикам в курточках относился, как большой, серьёзный пёс относится к маленьким шавкам, — отчасти снисходительно, отчасти покровительственно. На гимназистов смотрел свысока.

Дирижёрство в танцах, бант распорядителя на груди и часы с цепочкой, белые перчатки и особенно свободное курение папирос невольно содействовали поднятию престижа реалиста в глазах общества и особенно дам.

Исключение представляли только двое — Петров и Павлюк. Петров смотрел на реалиста пренебрежительно и сам закурил, а Павлюк был родным братом реалиста и потому не чувствовал к нему решительно никакой почтительности: в глазах Павлюка, хотя он и ходил в курточке, реалист был самым обыкновенным смертным. Павлюк — человек резкий, радикальный, мужествен-

ный; он никогда не плачет, не хнычет, не ябедничает, а чуть что, сейчас запустит «дурака» или обратится к содействию собственного кулака; авторитетов для него не существует. Игрушек Павлюк терпеть не может, потому все куклы его сестёр представляют всегда калек и уродов: у одной нет носа, у другой — ноги, третья — без волос... Всех, кто плачет, Павлюк называет «бабами»; однажды назвал бабой даже маму. Голос у Павлюка грубый, басистый, и манеры угловатые.

Итак, общество чувствовало себя превосходно, и всё шло прекрасно. Павлюк вертел ручку герофона, остальные танцевали. Играли в «почту», в «гуси-лебеди домой» (Павлюк оборвал у Лёли оборку); потом стали играть «в фанты». Когда раскрасневшаяся Лёля подошла к серьёзно и молчаливо сидевшему в углу реалисту и скороговоркой произнесла:

*Барыня прислала сто рублей,
Что хотите, то купите,
Чёрное с белым не берите,
Что желаете купить? —*

реалист подпустил скептицизму:

— Глупая игра, — сказал он. — Уж лучше — в «свои соседи»! Лёля обернулась к обществу и неожиданно объявила:

— Эта игра надоела! Глупая! Давайте, господа, в «свои соседи»!

Общество поддержало. Гости расселись по стульям. Петров, всё время увивавшийся около Лёли, конечно, поспешил воспользоваться моментом и сел рядом с Лёлей.

И здесь-то крылась причина крупного столкновения на вечере, о котором вы узнаете из следующей главы.

XII

После того как Лёля заявила, что она недовольна своим соседом Петровым, и тому пришлось убраться на другой стул к несимпатичной совсем даме, — Петров сделался вдруг злым. «И не больно нужно», — шёпотом пробурчал он, идя на другое место, хотя ему страшно хотелось иметь своей соседкой Лёлю... Впрочем, кому этого не хотелось! Реалист тоже об этом старался... Павлов — тоже. Даже грубый Павлюк норовил быть поближе к Лёле!



С этого момента Петров перестал быть любезным кавалером, неделикатно огрызнулся на дам и, сидя в глубоком молчании, исподлобья поглядывал в сторону отвергнувшей его дамы... Петров заметил, что когда на его место, по требованию Лёли, сел реалист, она стала говорить: «Довольна! Очень!..» — а реалист, перебивая её, восклицал: «И я — тоже!» Петров два раза пытался разъединить их. Он сердито кричал:

— Всеми недоволен!

Но толку не выходило никакого. Когда крики и визги стихали, а общий переполох и сумятица прекращались, Петров видел, что реалист только поменялся с Лёлей стульями...

«Изменница!..» — думал Петров. До сих пор Лёля всюду, где им приходилось бывать вместе, всегда отдавала явное предпочтение перед другими Петрову. Например, дамы приглашали кавалеров. Лёля стремглав бежала прежде всего к нему. Когда играли «в рекруты», Петров шёл прямо к Лёле и всегда угадывал свою избирательницу...

И вот сегодня вдруг — «недовольна!».

В душе Петрова вспыхнула страшная злоба на реалиста.

Сели играть в «на кого принц похож?». Спрашивать пришлось Лёле, а принцем быть реалисту.

— На кого? — шёпотом спросила она, подставляя своё ушко Петрову.

— На бесхвостого осла... — не задумываясь ответил Петров (он давно уже придумал для реалиста это обидное сравнение).

Лёля сконфузилась и покраснела: ей казалось совершенно невозможным сказать такое название вслух и притом в лицо распорядителю танцев...

— Нет, другое что-нибудь придумайте!.. Скорее!.. — попросила Лёля.

— Нечего мне придумывать... Сказал — на бесхвостого осла! — настойчиво и дерзко ответил Петров.

— Ну, смотрите! Я скажу, только...

— На бесхвостого осла! — ещё раз и с ещё большей твёрдостью повторил Петров.

Лёля, пригибая к ладони пальчики, шёпотом стала припоминать все названия, которые надавали реалисту, но названия Петрова не проговорила, а только произнесла: «М-м» — и прижала мизинчик. Потом она ещё раз обошла всех играющих и с каждым пошептала, только к Петрову не подошла, а прошла мимо...

— На бесхвостого осла! — тихо напомнил ей ещё раз Петров, подбежав сзади; Лёля не обратила внимания.

Реалист волновался: он словно предчувствовал что-то недоброе и сидел на стуле под ёлкой, как преступник, ожидающий судебного приговора, с низко опущенной головой и с устремлёнными в пол взорами.

Подошла Лёля и начала:

— На розу!.. На... офицера!.. На... на... рыцаря!.. На... кого ещё? Ах, да... На самовар! (это сказал Павлюк)... На кикимору! (реалист обидно ухмыльнулся)... На милого молодого человека!.. На...

Тут Лёля замялась...

— На осла! — решительно проговорила она вдруг, набравшись храбрости.

— На бесхвостого! — во всё горло присовокупил Петров, внимательно следивший за тем, чтобы его обидное название было передано в точности...

Реалист покраснел до ушей и окончательно смутился. Всё общество закричало, завизжало, захохотало и захлопало в ладоши. Особенно доволен был Павлюк.

— Ура!.. Ура!.. На бесхвостого осла! — кричал он басом, хлопал в ладоши и судорожно болтал ногами. — Ура!

— Совсем ничего не смешно, а даже очень глупо, — проговорил наконец дрожащим голосом глубоко оскорблённый реалист. — Ослов бесхвостых на свете не бывает. Вот и видно, что естественную историю не знает. Невежество!..

— Мало ли что! — закричал, вскочив со стула, Павлюк. — Кикимор ведь тоже не бывает?.. Ослу можно хвост отрубить... У нашего бульдога нет же хвоста! А раньше был: его отрубили... Нечего, бесхвостый осёл! Ура!..

— Я вот уже скажу отцу, он тебе задаст, — пригрозил реалист брату.

— А ты — ябеда! Дурак!.. — ответил Павлюк.

Наступило глубокое, неловкое молчание.

— Выбирайте! — тихо, как-то виновато сказала Лёля.

— На рыцаря, — выбрал реалист.

— Это я сказала! — радостно воскликнула Лёля и прогнала прочь вспотевшего от волнения и обиды реалиста.

— А я не играю... — объявил неожиданно Петров.

— Нельзя! Ты ещё не был принцем... — запротестовал Кукушкин.

— Он трусит... Ба-ба! Ба-ба! — закричал Павлюк.



— Трус, — презрительно заметил реалист.

— Трус! Трус! — повторила, хлопая в ладоши, Лёля.

— А ты, бесхвостый осёл, не лезь! С тобой не разговаривают, — злобно крикнул Петров.

— Молокосос! — ответил реалист, закуривая папиросу...

И тут с Петровым случилось что-то странное... Он вдруг заплакал самым отчаянным образом и пошёл вон из залы.

— Ба-ба! Ба-ба! Ре-вёт! — кричал вдогонку Петрову Павлюк.

— Что тут у вас вышло? Из-за чего поссорились? — недовольно спросила мадам Троицкая, появляясь среди смущённого общества.

— Петров Гришу бесхвостым ослом обругал и сам же ревёт, — выступая вперёд, объяснил Павлюк.

— Гриша! — обратилась хозяйка к реалисту, не разобрав, в чём дело. — Что же это такое? Вы ведь постарше... Стыдно!..

— Я... его не тро...гал... Он сам же полез, а я ви...но...ват!..

И реалист, возмущённый и обиженный несправедливостью, расплакался вдруг, позабывши всякую солидность.

Рёв раздался теперь в двух различных комнатах, и хозяйка решительно не могла понять, кто тут прав и кто виноват...

— Надежда Васильевна! Ваша сдача! — сказал появившийся в дверях господин в пенсне и быстро исчез, словно провалился.

— Ах, Господи, какое наказание! Поиграть не дадут... Извольте сию же минуту прекратить ссоры и слёзы, иначе я велю погасить ёлку! — раздражённо проговорила мадам Троицкая и торопливо отправилась «сдавать»...

ХIII

По воскресеньям Лёля обыкновенно приходила с папой и мамой на каток.

Разумеется, Петров тоже ходил туда. За три пятёрки подряд из арифметики мама купила Петрову американские коньки, и он не пропускал ни одного праздничного дня. Кое-как пообедав, не отведавши часто даже второго блюда, Петров хватал коньки и направлялся на каток... Ноги его решительно не слушались, — бежали скорей, чем заставлял их Петров; его сердце ёкало, щёки горели... Хотя каток находился и близко от дома, где жил Петров, но ему казалось, что путь бесконечно долог... Петров тогда только мог перевести дух, вздохнуть свободно, когда вступал на лестницу, которая вела в теплушку катка. Наско-

ро пристроив коньки, он выходил на лёд, делал несколько оборотов на месте, поправлял фуражку, справлялся рукой, чисто ли у него под носом, и начинал вглядываться в окружающих... Глаза Петрова искали енотовый воротник и шапку с зелёным околышем; по этим признакам он узнавал Лёлиного папу. А уж если енотовый воротник и при нём шапка с зелёным околышем отыскивались, — значит, Лёля тоже здесь... А это только и требуется...

Отыскав взором Лёлю, Петров закладывал руки в карманы пальто и как будто ни в чем не бывало катился солидно, гигантскими шагами к Лёле... Перед самым её носом он делал крутой поворот, и Лёля его замечала:

- Петров! Давайте вместе!
- Ах, Алевтина Николаевна!..

Петров ленивым движением ноги подворачивал к Алевтине Николаевне, они брались за руки и катились быстро, так, что замирал дух...

Павлов тоже ходил на каток, но катался он очень плохо: низко наклонялся всем корпусом вниз, махал руками и то и дело брякался. Полы его пальто, сшитого с большим запасом на рост, возились по льду и всегда были в снегу, как и фуражка... По правде говоря, Петрову было совестно кататься вместе с Павловым, и он сторонился его на катке...

Что касается реалиста, то он вовсе не умел кататься на коньках и приходил только смотреть и гулять по льду вместе с Лёлей... Лёля катится, а реалист идёт рядом и разговаривает. Петрова это обстоятельство возмущало: на льду нечего гулять, а надо кататься; гуляющие только мешают...

Если Петров падал, он обвинял именно гуляющих и всегда очень досадовал... Хорошо, если Лёля не видала, а если она видела, как некрасиво он упал, дрыгнув в воздухе ногами?..

Происшедшая на ёлке размолвка надолго нарушила эти приятные свидания на катке. Петрову было совестно перед Лёлей, которая, как он слышал от Павлова, называет его плаксой. Вместе с чувством горячего стыда на душе Петрова накупала какая-то горечь обиды, оскорбления, и его терзали ужасные муки ревности... «Яичница с луком!» — называл он мысленно счастливого соперника и создавал десятки планов ужасной мести. «Я ему всю морду сворочу», — хвастался он перед Павловым; но, в сущности, Петров сознавал, что этого сделать не может, так как реалист сильнее его... «Нашла себе бесхвостого осла, ну и ладно! Пусть! Им в университет нельзя... У него и так всё колы да двойки... Выгонят из "реалки"»

и отдадут в сапожники... И Лёлька будет сапожницей», — злорадствовал Петров. Но увы! — в его воображении вставала эта «сапожница» с золотистой косой и с синими, как незабудки, глазами, в его ушах звучал её мелодичный голосок, и сердце Петрова замирало от сладкого чувства благоговения перед той «сапожницей», а руки тянулись к коробочке и открывали её: там лежал заветный бантик... Воспоминания лучших дней моментально воскресали перед Петровым, и он впадал в какое-то отчаяние... «Возьму у папы револьвер и застрелюсь... вот и будет тогда знать», — шептал он.

И воображение рисовало Петрову такую картину:

Он застрелился... Прямо — в сердце... Папа с мамой плачут и говорят: «Ах, бедный Петя, зачем ты это сделал?» Петров оставит записку, и они узнают зачем... «Прощайте, папа и мама! Передайте Алевтине Николаевне, что я не желаю мешать её счастью» — так будет написано в записке... Лёля узнала... Она испугалась, не верит... Но как же не верить, когда у их дома выставлена крышка гроба?... Лёля идёт мимо и тревожно спрашивает, кто здесь умер. «Гимназист Петров застрелился», — говорит дворник... «Неужели?» — «Да, вчера выстрелил прямо в сердце...» Да, всё кончено!.. Не воротись! Петрова хоронят... Он лежит в белом парчовом гробу, в цветах, в церкви у Николы... Рыжий дьячок читает... Толстые свечи в высоких подсвечниках пылают огнями у гроба... Лёля входит тихо в церковь и, подходя к гробу, опускается на колени... «Петя, милый, голубчик... Я виновата пред тобою». Лёля рыдает и горько раскаивается, что изменила Петрову... Как бы рада была она, если бы Петров ожил!.. Но этого не может быть... Вот уже поют: «Со святыми упокой»... Скоро будут прощаться...

Так фантазирует Петров, лёжа в постели в сумерках зимнего вечера, и ему так жалко делается себя, что на глазах его показываются слёзы.

Однажды, в скучный зимний день, Петров сидел один у окна в гостиной и предавался грустным думам о своей преждевременной смерти... Когда он развил тему о своей смерти до момента появления в местном «Листке» описания его похорон, в окно кто-то постучал. То был Кукушкин. Он близко подошёл к окну и прижался носом к стеклу...

Сперва Петров испугался, так как расплоснутый нос и губы Кукушкина совершенно обезобразили его физиономию, но потом, когда Кукушкин отдёргнул своё лицо от стекла и улыбнулся во весь рот, Петров узнал его и вздрогнул от предчувствия какой-то радости...

Петров усиленно замахал руками, прося жестами Кукушкина зайти. Кукушкин зашёл.

— Ты что к нам не ходишь? — спросил Кукушкин.

— Так... Читаю теперь всё.

— Тебе Лёлька кланяется...

Петров вспыхнул. Чувство радости сменилось в нём чувством недоверия, и потому он сказал:

— Враки!..

— Она вчера у нас сидела и думала, что ты придёшь, ждала. Играли в «короли». Приходи в воскресенье на каток; Лёлька тебе велела приходить... Непременно!.. Мы рассорились с реалистом...

— Враки! — повторил Петров, не веря своим ушам.

— Ей-Богу!.. Клянусь Богом! — поклялся Кукушкин.

— Из-за чего?

— Лёльку кокеткой обругал...

— Болван! — заметил Петров. — Его выгонят скоро из «реалки»-то; у него всё колы да двойки...

— А на ёлке-то, помнишь, хвалился, что пятый ученик?

— Пятый с конца, — злорадно сострил Петров.

Петров живо вспомнил ёлку и вспомнил, что он постыдно ревел там... Но воспоминание же подняло и дух его: «И он ведь ревел... Уж если плаксы, так оба», — утешил себя Петров.

— Смотри, приходи в воскресенье на каток-то! Лёлька велела... Она тебе скажет там что-то очень важное...

— Не врешь?

— Ей-Богу!.. Клянусь Богом! Так и сказала: «Пусть непременно придёт — я ему скажу очень, очень важное».

Кукушкин ушёл, оставив Петрова в мучительном и вместе с тем радостном настроении...

XIV

Настало воскресенье, — день, назначенный Лёлей для свидания...

Петров целый день накануне думал, что бы такое могло быть это «очень, очень важное», и потому не успел выучить к понедельнику ни одного урока... Хотя он и смотрел целый час в латинскую «Книгу упражнений» да два часа в греческую грамматику, но ровно ничего не видел и не понимал... В его руках, которые он прятал под столом, была коробка с голубым



бантиком, и Петя то и дело отрывался от книги, чтобы смотреть и целовать его... «Очень, очень важное», — мысленно повторил он, в то время как губы его говорили: «Леонид и 300 спартанцев погибли при Фермопилах»...

Петров плохо спал ночью. Он долго ворочался в постели и вздыхал. Подушка казалась ему невыносимо горячей, и он поминутно переворачивал её с одной стороны на другую... Петров сердился на старую няньку: она очень громко и страшно храпела, беспрестанно кряхтела, что-то шептала, кашляла и мешала Петрову спать... Только когда большие стенные часы в столовой пробили два, Петров закрыл глаза и в полном изнеможении заснул, наконец, как убитый...

Как долго тянулось сегодня время до обеда! Петрову казалось, что часы совсем перестали двигать стрелками, а что они отстают, — в этом он был глубоко убеждён... Петров взобрался на стул с намерением помочь часам двигать стрелками, но вошла мать и запретила:

— Это ещё что за новости? — удивлённо спросила мать...

— Отстают, мамочка!.. На полчаса отстают...

— Не ври, пожалуйста! Часы идут верно... — ответила мать, посмотрев на свои золотые часики.

— Опоздаю вот завтра в гимназию...

— Оставьте, пожалуйста! Слезьте!..

Наконец-то горничная загремела тарелками — стала накрывать на стол.

— Поворачивайся, поскорей!.. Я есть до смерти хочу, — торопил Петров горничную...

Сегодня Петров пренебрёг даже своим любимым клюквенным киселём. И всё это из-за Лёли, из-за «очень, очень важного», что пообещала она сказать ему на катке...

Выскочив из-за стола раньше всех и не прожевав даже взятого в рот куска мяса, Петя на лету чмокнул маму, папу и намеревался было уже отправиться на каток, но отец остановил его:

— Разве ты не знаешь, что после обеда следует перекрестить лоб?..

Петя машинально перекрестил лоб и намеревался бежать за коньками, но отец опять остановил его:

— А уроки готовы?

Петя несколько замялся, но, оправившись, бойко, хотя и глядя в сторону, ответил:

— Да учить-то нечего... Из латинского — старое, из русского — не задано, а из арифметики — я давно это знаю...

Но отец, бывший с самого утра почему-то не в духе, потребовал у Пети журнал. Петя с огорчением вытащил его из ранца и принёс отцу.

— Перевод написал? Покажи! — хмуро спросил отец, посмотревши в Петин журнал.

— Перевод?... Успею... Вечером... — смущённо ответил Петя.

— Гм... А задача № 1784 сделана? Объяснение написано? Покажи!

— Нет, папочка... Я успею...

— Изволь сесть за уроки. На каток не пойдёшь, — небрежно бросил отец, швырнув Петин журнал, и уткнулся бородою в тарелку с клюквенным киселём.

О, если бы отец знал, какое горе причиняет он своему Пете!.. Он никогда, никогда не сказал бы этого...

Петя не просил пустить, он знал, что когда отец скажет что-нибудь таким спокойным тоном, то никогда не изменит своего решения. Петя рассердился только на папу... Когда Петя вырастет большой и сделается мировым судьёй и когда у них с Лёлей будут свои дети, он никогда не поступит с ними так жестоко, как папа...

Петя ушёл к себе наверх, со злостью раскрыл ранец и, вытаскивая из него книгу за книгой, сердито бросал их на кровать. Задача № 1784, как нарочно, не решалась. Петя бранил её «проклятою», ругал учителя арифметики, ёрзал на стуле, три раза ломал карандаш, перемарал половину общей тетради — и всё-таки не решил. Перевод из латинского выдался, как назло, тоже какой-то бестолковый. Все слова вылетели из памяти, и приходилось их отыскивать в словаре и записывать. А перо топырилось и только царапало тетрадку...

— Господи! Да что это за мучение такое! — со слезами на глазах вскрикивал время от времени Петя, привскакивая на стуле.

А день погасал и мерк. Часы пробили четыре, полпятого... Стало темнеть. Няня принесла лампу с зелёным абажуром. Из окна было видно, как в противоположном доме мигнул огонёк. А спустя ещё несколько минут зажгли и фонари на улице.

Значит, сегодня нельзя уже идти на каток, поздно. Значит, сегодня Петя не увидит Лёлю и не узнает так сильно мучившее его «очень-очень важное»...



XV

Что же, что теперь делать? Ещё одна последняя надежда: идти к Василию Кукушкину. Может быть, Лёля у них теперь...
Обстоятельства благоприятствовали: папа с мамой поссорились из-за театра, и отец, хлопнув дверью кабинета и сердито откашлявшись, прошёл в переднюю, оделся и куда-то ушёл.

Петя побежал к матери.

— Мама, мне надо к Василию Кукушкину; я не записал, что задано из русского...

— Ах, Петя, какой ты рассеянный! — певуче протянула мать. — Ты вечно что-нибудь не запишешь, не отметишь...

— Что же, мамочка?.. — довольно неопределённо сказал Петя в своё оправдание.

— Ну, хорошо, иди! Только ненадолго...

Петя подскочил на месте, перевернулся на каблучке, и не прошло десяти минут, как он уже звонил у парадных дверей, где желтела медная дощечка с надписью: «Николай Николаевич Кукушкин».

Когда Петя вошёл в переднюю, он сразу догадался, что Лёли нет: когда она бывает у Кукушкиных, на все комнаты звенит её серебристый голосок... А теперь — тихо-тихо. Слышно только, как со звоном тикают стенные часы, да где-то вдали сердитый, хриплый бас кричит: «Болван!.. Оболтус!.. На третий год, что ли, хочешь остаться?» (Это отец ругает Василия Кукушкина.)

— Кто там? — грозно окрикнул вдруг бас, переставши браниться.

— Это — я... — пискнул Петя и, робко войдя в зал, спросил: — А где Вася?

— В углу стоит! — сердито буркнул бас, и в дверях показалась тучная фигура Николая Николаевича в туфлях и в халате. Петя ещё более смутился: чрез раскрытую половину двери он увидел, как из «проулочка» между письменным столом и стеною торчат толстые ноги Василия Кукушкина...

— А вам что угодно, молодой человек?

— Я так... — пискнул Петя.

— «Так»... «так»... учиться следует, почаще в книгу заглядывать, а не баклуши бить, молодой человек, — вот что!..

— Я не бью...

Петя стоял перед сердитым господином и смотрел на кисти низко спустившегося на его животе пояса.

— Гм! — кашлянул Николай Николаевич, потом зашлёпал туфлями, подошёл к тазику с песком и плюнул.

— П-шёл! — крикнул он вдруг на все комнаты.

Василий Кукушкин, красный, потный, с взъерошенной головой, вынырнул из «проулка» и, подойдя к окну, стал молча и задумчиво водить по стеклу пальцем. Петя подошёл к товарищу. «Пойдём в детскую», — тихо шепнул тот, не отрывая глаз и пальца от стекла.

Лишь только они очутились в столовой, Василий преобразился: он как-то прыснул, скорчив отвратительную гримасу, дрыгнул ногой и понёсся вверх по лестнице сломя голову.

— Что не приходил на каток? Дурак!.. Сделал задачу? Дашь содрать, голубчик?

— Папа не пустил меня на каток.

— Не пустил! Эх ты! Лёлька на тебя рассердилась... Она тебе прислала письмо... На вот!..

Кукушкин подал Петрову записку.

Петров торопливо поймал бумажку и быстро запрятал её в карман.

Проболтавшись минут десять у Кукушкиных, Петров распрощался и ушёл домой.

Там, у себя наверху, он трясущимися от волнения руками вытащил из кармана записочку, поднёс её к лампе и прочитал: «Вы меня обманули и не пришли сегодня на каток. Я этого никак от вас не ожидала, поэтому между нами всё кончено, и вы отдайте назад мой бантик от платья. Алевтина Троицкая».

Петров перечитал письмо ещё раз.

На ресницах его блеснули две слезинки и, скатившись, стукнули о корочку латинской грамматики. Его сердце сжалось от боли. Откуда-то со дна души поползло вверх что-то тяжёлое, неприятное, гнетущее и клещами сдавило Петрову горло.

Голова Петрова упала на латинскую грамматику.

— Лёля! Милая! Ангел мой! Святая моя!.. — тихо шептали его губы. — Если бы ты только знала, почему я не пришёл! Если бы ты знала! Ах, папка, папка, что ты наделал?..

Петров вскочил со стула, бросился на постель и, спрятав лицо в подушку, горько-горько разрыдался...





ССОРА

Миша упорно молчал... Он не желал вовсе разговаривать... Его звали обедать, он категорически отказался:
— Не желаю...
Его звали пить послеобеденный чай — он ответил очень спокойно, с твёрдой решимостью в тоне:

— Пейте, пожалуйста, чай, кофе, а меня оставьте в покое: мне ничего не нужно.

Старшая сестра Нина, получившая такой ответ от Миши, естественно громко расхохоталась и сказала:

— Ты думаешь, кому нужно?.. Сделай одолжение: можешь прекратить и еду, и питьё, никто не заплачет.

Сказала, весело вспорхнула и скрылась за дверью. Миша, впрочем, уловил как в её голосе, так и в этом чересчур беспечном ответе, и в том, как она порхнула, нечто говорящее в свою пользу... Конечно, она притворяется, показывая вид, что и папе, и маме, и всем «не больно нужно», что он не обедает и не пьёт чаю... Наверно, все очень беспокоятся и не знают, как склонить его к согласию обедать и пить чай. Ну и пусть помучатся!.. Сами виноваты. Не выучить урока — ещё не такая вина, чтобы срамить его при всех и говорить, что он лучше пойдёт в сапожники... Ну, в сапожники, так и ладно, и прекрасно, а обедать он всё-таки не будет...

Миша сидит в гостиной на диване и прислушивается к тому, что делается в соседней комнате. Там, наверное, говорят о нём и о том, что он не обедает, ничего не ест и не пьёт и что он, в сущности, «способный мальчик».

— Где же Михаил? Всё ещё дует губы? — слышится голос матери.

— Они сердятся, — как-то протяжно и с ударением отвечает Нина.

— Надо ему всё-таки оставить чего-нибудь! — басит голос отца.



«Ага!.. Оставить!.. Больно-то мне нужно!.. — мысленно произносит Миша. — Зачем же сапожнику оставлять?..»

— Михаил!.. — кричит отец.

Миша молчит. Отец повторяет окрик.

— Что? — глухо, но с достоинством отвечает Миша, ниже наклоняясь к книге.

— Иди сюда!.. Будет дуться-то!..

— Я не дуюсь, а читаю... Сапожнику неприлично сидеть за столом...

— Болван!..

— И прекрасно... болван так болван, — вслух ответил вспыхнувший Миша и тихонько добавил, шевеля губами: «От болвана слышу».

— Прочванится... — звонко доносится голос сестры.

— Молчи ты, безмозглая! — шепчет Миша, и страшная ненависть к сестре вспыхивает вдруг в его сердце. Миша жаждет мести... Если бы не было тут отца, он бы показал ей... И чего она лезет? Кажется, её никто не спрашивает?!

Заметив на столе шляпу Нины, Миша швыряет её на пол.

— На мой стол этакой дряни не класть! — говорит он громко, хотя знает, что никто его не услышит.

Миша чувствует себя врагом решительно всех... Ему кажется, что дом разделен на два враждебных лагеря: в одном он, Миша, в другом — все остальные. Поэтому когда в комнату Миши вошла горничная, он встретил её враждебно.

— Михаил Павлыч!..

— Проваливай!..

— К вам гость пришёл...

— Проваливай, говорят!

— Не емши — вот и сердитесь...

Миша отлично понял, что горничную подсылали к нему... Раскаялись и стараются как-нибудь исправить... Он — не маленький... Пусть теперь помучатся!..

А есть действительно хочется... Разве зайти в кухню?.. Нет, не стоит: кухарка скажет горничной, горничная — Нинке, и начнут потешаться...

Лучше потерпеть... Пусть придёт сам папа, или даже мама, и скажет: «Не сердись, Миша! Ты знаешь, что если не будешь есть и пить, то можешь захворать, и знаешь, как это огорчит нас... Ну, извини, больше этого не будет». Тогда Миша, конечно, согласился бы и сей-

час же пошёл бы в столовую. Конечно, ему оставили... Сегодня, кажется, борщ готовили...

Миша проглотил слюну и, подойдя к двери, стал поджидать, когда послышатся мягкие шаги матери... Отец-то не придёт, это уж верно, а вот мама может прийти и попросить извинения...

Но мама не шла, а есть хотелось...

Вместо ожидаемой мамы появился в дверях красивый сеттер Фальстаф. Тихой ленивой поступью вошёл он в комнату, понюхал Мишу и вяло помахал хвостом...

Фальстаф — любимец отца, и его место — под письменным столом отцовского кабинета. Чего же он лезет сюда?.. Пусть идёт к своему хозяину и виляет хвостом. Нажрался как!.. Даже брюхо раздуло...

— Пшёл! — сердитым шёпотом крикнул вдруг Миша и толкнул ногой собаку так больно, что та взвизгнула сперва громко, а потом тише и, обиженно поджав хвост, медленной рысью оставила комнату...

А есть хочется...

Миша долго сосал палец левой руки, сосредоточенно обдумывая своё положение... Наконец поймал счастливую мысль, которая избавляла его от всяких разговоров с врагами. Одноклассник Миши, Иванов, недавно продал на толкучем рынке братнину алгебру и купил себе там же кинжал...

А Миша может продать свою книгу, прошлогоднюю, и купить себе в булочной пирожков и ватрушек, и даже пирожного... Можно ещё зайти в молочную... А они будут мучиться... И пусть!.. Сами виноваты... В другой раз не станут...

Порывшись в своём книжном шкафчике, Миша вытащил наконец одну тощенькую книжонку... «Понадобится, да не скоро... Тогда забудут, что покупали, и можно будет — новую», — подумал Миша и окончательно решил продать книгу...

Идти через столовую ему не хотелось... Там все сидят и подумают, что он навязывается и хочет как-нибудь помириться... Наплевать!.. Миша отлично обойдётся и без дверей...

Миша вылез в окно, запрятал за пазуху книгу и отправился на толкучий рынок. Время близилось к вечеру... Скоро могут запереть лавки, надо торопиться... Миша летел на всех парах... Проходя около строящегося дома, он для сокращения пути двинулся по груде досок и мусора и запнулся... В результате была дыра



на сапоге, на самом видном месте... В другой раз подобное несчастье огорчило бы Мишу, тем более что сапоги куплены недавно и вручены ему с предупреждением, чтобы беречь... Теперь — наплевать!.. Пусть!.. Пускай покупают новые... Они, конечно, скажут: «Ходи без сапог, как сапожник». Но ведь он отлично понимает, что купят... Им же будет стыдно, если он, сын присяжного поверенного, будет ходить в худых сапогах... Не бойсь, купят!..

Вот и толкучий рынок. Здесь так оживлённо, весело... Галдят, кричат, ругаются... Просто — содом какой-то!..

— Пира-аги горя-ячие!.. — гнусаво и пронзительно выкрикивает широколицый мужик в грязном фартуке, с жирным носом. Этот мужик посмотрел на Мишу и предложил:

— Хошь пирогов?.. С пылу, с жару — пятак за пару!..

— С чем? — приостановившись, спросил Миша...

— Возьми у меня! Барин! У него холодны, а у меня горячи! — завизжала баба и встала с корчаги, в которой хранились горячие пироги...

— Потом куплю!.. Некогда... — произнёс Миша и полез между густой толпой грязного пёстрого люда к воротам, в гостинный двор с лавками старьёвщиков.

В сильном волнении и впопыхах подошёл он к книжной лавочке... Лавочник стоял у своего шкапчика в выжидательной позе. Старик, в очках, с глубокомысленным взором, этот лавочник походил по крайней мере на профессора. Завидев гимназиста, он спрятался внутрь своего шкапчика и, раскрыв какую-то книгу, углубился...

— Покупаете книги?

— А что продаёте?

— «Азию, Африку и Америку»! Совсем новая... — впопыхах проговорил Миша...

— «Европу» взял бы ещё... А этих много, — произнёс лавочник, нехотя принимая от Миши книгу.

— Старое издание... Гривенник дам, — добавил он, перелистав несколько страниц.

— Велели — за двадцать!.. Меньше не отдавать, — застенчиво ответил Миша.

Лавочник зевнул и отдал книгу Мише.

— Ну — пятнадцать!.. Ведь она совсем новая?!

Лавочник ничего не ответил...

— Ну ладно... гривенник...

— Себе в убыток, — позёвывая, произнёс лавочник, положил на прилавок два пятака, а покупку небрежно бросил на полку и опять уставился в книгу.

— Я, может быть, и «Европу» принесу, — проговорил Миша, прячя пятаки в карман.

— Несите... Только какая «Европа» опять? Другая и гривенника не стоит... Это какое издание... Словарей нет ли? Арифметики? Посылайте товарищей. Я всех больше даю...

— Пришлю...

Миша вышел и отправился осматривать съедобный товар. Не дошёл до пирогов и соблазнился халвой с маком. На три копейки купил халвы и съел её с большим удовольствием. А вот и баба с пирогами...

— С чем есть?

— С груздями, с говядиной, с морковью.

— Почём?

— Пятак пара...



— С морковью не люблю... Давай один с говядиной, другой с груздями!

Съевши оба пирога, Миша захотел пить. На оставшиеся за всеми расходами две копейки он выпил две кружки какого-то розового квасу. Вторую кружку едва допил... Было немного противно и приторно, но оставлять всё-таки было жалко.

— Уф!.. — выпустил Миша, с трудом допивши последнюю кружку квасу.

— Что? В нос вдарило? — хвастливо спросил квасник и громко и певуче закричал:

— Квасу ядрёнаго, хал-лоднаго, прохладительнаго!..

Вернувшись домой, Миша нашёл на своём столе тарелку с куском холодного мяса, хлеб, стакан молока и три вафли. Единственно, что соблазняло Мишу, — это вафли. Это любимое блюдо Миши, но самолюбие не позволяет ему воспользоваться вафлями. Если бы ещё не помнили, сколько вафель дали: две или три, — он одну съел бы... От каждой вафли Миша отрезал осторожно по краям по узкой ленточке и ел. Отхлебнул глоток молока. Вкусно!.. Всё, наплевать!..

Розовый ядрёный квас то и дело ударял в нос Мише, а халва с маком и пироги с груздями и тухлой говядиной будоражили желудок...

— Фу ты!.. — сердито говорил Миша и время от времени плевал на пол...

— Где ты пропадал? — спросила Нина, появляясь в комнате.

— Это — моё дело... Я тебя не спрашиваю, где ты шляешься...

Нина мимоходом взглянула на стол, где стоял Мишин обед в неприкосновенности.

— Мама велела тебе съесть кусок мяса!

— Я могу и не есть... Я — болван и сапожник... Вы присяжные поверенные. Значит, и нечего!

— Ну, как хочешь...

— И прекрасно!..

— Дурак!.. — бросила с раздражением Нина и ушла.

Миша чувствовал себя способным выдерживать осаду врагов и отражать все их приступы своим полным равнодушием к еде. Пироги с груздями и мясом, халва с маком явились его союзниками.

Может быть, так продолжалось бы ещё очень долго. Но случилось непредвиденное обстоятельство, положившее конец взаимным обострённым отношениям.

У Миши стал побаливать живот. И чем дальше, тем сильнее... Резь в животе заставила его лечь на постель вверх спиной и тихо охать. Миша не хотел выдавать своего безоружного положения и долго крепился и охал в подушку... Но пироги с груздями и квас ядрёный, прохладительный, делали своё дело. Миша начал стонать громче и бить кулаками в подушку.

— Ах, да что это за наказание! — плаксиво гнусил он время от времени и дрыгал ногами.

К ночи Миша уже кричал, не сдерживаясь, и все враги толпились около его постели, кроме отца, который был по обыкновению в клубе. Мать мерила Мише температуру, сестра Нина тёрла горчичники, горничная побежала за доктором. Даже Фальстаф пришёл навестить больного и, вертясь между хлопочущими врагами, смотрел на Мишу своими умными глазами печально и сочувственно.

— Что же ты наделал? — тревожно спрашивала мать, страшно боясь в глубине души, не выпил ли Миша какого-нибудь ядовитого вещества, чем он грозил и тогда во время таких же обострённых отношений...

— Ты чего-нибудь принял? А? Миша! Скажи же, голубчик! Поскорей!..

— Я, мама... Ох! Ай-ай-ай!.. Я продал, мамочка, «Азию, Африку и Америку»... Ох!.. Ай-ай-ай!.. И купил пирогов с груздями...

— Что ты! Миша! Он бредит... Господи!.. Что же доктор? Пошлите за отцом в клуб... Ох, Господи!

Мать наклонялась над Мишей, держала руку на его лбу и целовала Мишу. Сестра со слезами на глазах бегала по комнате и, оставиваясь у окна, тревожно смотрела на улицу, ожидая появления доктора.

Приехал наконец и доктор.

— Ну-с, молодой человек, где у вас больно? Перевернитесь!

Миша послушно перевернулся. Доктор его осмотрел, ощупал, выслушал.

— Что вы сегодня кушали?

— Ах, доктор, он совершенно ничего не ел сегодня... Как пришёл из гимназии, ничего в рот не брал...



ССОРА

— Это тоже нехорошо... Может быть, вы, молодой человек, всё-таки скушали что-нибудь? Скажите по совести!

— Да... я ел пироги с груздями... Я продал «Азию, Африку...».

— Что такое? — шёпотом спросил встревоженный отец, прискакавший на извозчике из клуба.

Спустя час в доме всё стихло... Миша с компрессом на животе лежал в постели, а около него сидели мать и сестра... Обе они ухаживали за Мишей и послушно исполняли все капризы, требования его...

Боль в животе стихала, и Миша начинал чувствовать полное удовлетворение...





СОСЕДКА

Переехали на новую квартиру. Целое событие: старая надела до смерти — это раз, в новой есть сад, а в старой не было — это два, а самое главное — в новой у меня отдельная от маленьких братишек комната. Своя комната! Только у папы и у меня своя комната. Никогда ещё в жизни у меня не было своей комнаты.

В квартире ещё пусто, чисто и звонко. Полы — жёлтые, блестящие, косяки и подоконники белоснежные, обои без трещин и клочков. Так хорошо пахнет краской и ещё чем-то. Папа с мамой заняты: привезли мебель, кровати, пианино, сундуки, всякую всячину; папа ссорится с мамой — спорят о том, где что поставить, кричат на ломовиков, пыхтящих под тяжестью пианино, на прислугу, стоящую без дела, кричат на меня: суюсь и мешаю... Бог с ними: лучше уйти подальше от этого содома! Вихрем помчался вверх по витой лестнице в свою комнату. Прекрасная комната: длинная, узенькая, с обрезанными краями, с венецианским окном. И даже запирается! На крючок. Bravo! Распахнул створку окна, залез на широкий подоконник и окинул взором хаос крыш красных, зелёных, серых, с блестящими над ними куполами церквей, с пятнами зелени, садов, со сверкающими в голубом море неба белыми голубями, с сетками телефонных проводов... Высоко. Перегнулся через подоконник, посмотрел вниз на улицу, попятился: страшно!

- Не смей лазить!
- Я посмотреть, мама...
- Упадёшь, костей не соберёшь...
- Что тут такое?..

Ну и папа тоже! Кричат в два голоса, грозятся отобрать комнату и опять ссорятся между собою:

- Рано ему свою комнату. Мал ещё он. Это ты всё... Упадёт вот...
- Я, папа, не такой маленький, чтобы упасть...



— Затвори окно! Не рассуждай!

— Ну, отлично! Извольте, закрою.

Папа с мамой продолжили спорить, а я ушёл в сад. Маленький сад, а с виду казался огромным. Полное разочарование: с одной стороны кирпичная стена, а с двух — высочайшие заборы, зелёные, заплесневевшие, а за заборами — сады, огромные, старые сады... А я думал, что эти великаны-липы в нашем саду. А в нашем — счётом десять деревьев и беседка. Старая беседка, с побитыми стёклами, с сором, с какой-то рухлядью. С любопытством стал рыться в этом старье и мусоре, выбирал обломки игрушек, куски дерева, картона, думал: «Это пригодится...»

Обрезал стеклом руку, пососал кровь и, рассердившись, выкинул всё, что должно было пригодиться. Отломил ветку бузины, выковырял сердцевину, устроил насос и начал изображать пожарного...

— Михаил!

— Что, папа?

— У тебя на носу экзамены, а ты... Хотя бы взял книжку да почитал!..

— Возьму.

— Сел бы вон на лавочку и долбил...

— Сяду, папочка. Надо же посмотреть, как всё это... Как устрою себе комнату, так и засяду. Уж с завтрашнего дня, папочка...

Отец уселся на лавочку, глубоко вздохнул и стал ворчать:

— Устал, как ломовая лошадь... Только останься на второй год!.. Я тебе...

В этот момент вбежал братишка и весёлым тоном торопливо сообщил:

— Мамочке комодом ногу придавили!..

— Ах, чёрт бы... Суются...

Отец сердито ушёл из сада, а мы с братом, отыскав в заборе щели, стали знакомиться с соседними садами.

Точно другой мир был там, за забором. Здесь мрачно, сорно, мозолят глаза грязные брандмауэры, пахнет сыростью и плесенью, уныло выглядит поломанная, брошенная беседка, а там, за забором, радостно, солнечно и так удивительно красиво! Изумрудная зелень сочных лужаек, ряды стройных, вытянувшихся в ровную линию подстриженных тополей, похожих на огромные кудряво-зелёные головы, золотящиеся под солнцем песчаные дорожки, окаймлённые разноцветными узорами живых цветов, причудливой фор-

мы клумбы, мостики, горки, прячущиеся в зелени фигуры нагих женщин из алебаstra и...

– Фонтан! Фонтан!

– А вон качели...

– Сетки!

– Лаун-теннис.

Мы двигались по забору и, отыскивая новые щели, смотрели и делали всё новые и новые открытия...

– Смотри: там озеро, а кругом цветы! Птица плавает... Огромная!

– Дурак! Лебедь это...

Огромный молчаливый сад. Словно в заколдованном царстве. Тени под высокими липами, таинственность аллей, кажущихся бесконечными, солнечные пятна на лужках, притаившиеся цветы невиданных форм, и эти белые нагие женщины, и огромная птица... Как в сказке!..

– Там живёт Черномор...

– Нет, это озеро, где катаются Мила и Нолли. Помнишь, у Кота-Мурлыки?

Да, там совсем иной мир, неведомый, загадочный, непонятный...

– Кто там живёт?

– А может быть, царь и король.

– Дурак. Царь живёт в Петербурге, а не здесь.

– Ну, другой какой-нибудь... Или принц!..

– Просто очень знатные и богатые...

– Тише! Кажется, идут.

На песчаной дорожке показалась мохнатая болонка с красным галстучком и позванивающим бубенчиком. Тоже какая-то странная, сказочная, словно не настоящая, а игрушечная: прыгает в траве, словно кто сжимает гуттаперчевый шар с кисточкой. Не успели мы подивиться этой живой игрушке, как заскрипел песочек и появилась девочка с льняными локонами в белом платье, с тонкими ножками. Она на ходу подбрасывала мячик и, закидывая к небу голову, ловила его, встряхивая локонами... И тоже, словно не настоящая, а огромная нарядная кукла, нарядная и дорогая. Мы затаили дыхание, плотнее прижались к щелям и следили за красавицей. Она молчаливо поиграла мячиком, подошла к озеру, побросала лебедю хлеба, что-то ласково говорила, посылала ему воздушные поцелуи. А когда пошла обратно, то свернула на дорожку, которая шла около самого забора, за которым мы прятались. Даже дух спёрло от волнения!

Ах, какая ты красивая! Никогда в жизни не видал таких красивых. Только важная уж больно: идёт так прямо и глаза прищуривает. Лениво говорит собачке:

— Бобка! Не смей шалить.

А Бобка учуял нас за забором, прыгает и лает.

— Бобка! Стыдно так озорничать. Ты не маленький. На кого ты, дурачок?

Мы отпрянули от забора, переглянулись и, пригнувшись, торопливо шмыгнули в бузину. Притаившись, помедлили, потом стали тихонько разговаривать про девочку:

— Какая красивая... Видел какая?

— Да. Может быть, это царская дочь или королева...

— Дурак. Просто очень знатная...

— А князя и в нашем городе есть... Может быть, княжна.

— Княжна, может быть...

— Щурится. Заметил?

— Заметил. А видел, какие волосы? Точно не настоящие, а из льна сделаны. Посмотрим ещё!

— Только тише, на цыпочках.

Мы снова впились в щели. Сидит на решётчатой лавочке и плетёт венок из различных цветов, а собачка рядом. Что-то мурлыкает, что-то она там поёт?

Милые цве-то-очки, как люблю я вас...

Надела венок на голову и спрашивает:

— Бобка, посмотри. Хорошо? Не правда ли, я красавица? Ну смотри же!

Она поставила на задние лапки собачку и стала ей улыбаться и моргать глазами. Братишка не выдержал и фыркнул. Я пригрозил ему кулаком. Но было поздно. Бобка, стоя на задних лапках, смотрел в нашу сторону и ворчал.

— Как ты смеешь! Глупый! Ты должен любоваться, а ты...

Тут уж и я не вытерпел. Зажав рот, я махнул братишке рукой и мы бросились от забора. А потом забрались в нашу беседку и давай хохотать.

— Какая кокетка! Вот так кокетка! Видел?

— Видел. Дура.

— Не дура, а это называется — кокетка... Сам ты дурак...

— Не ругайся, а то скажу папе, что ты в щёлку подглядываешь...



— Ведь и ты подглядываешь...

— Я маленький, а ты гимназист...

Так я впервые увидел неведомую красавицу и кокетку Нину в сказочном саду за забором... Как я узнал, что её зовут Ниной?..

Однажды я сидел в своём саду и долбил «предлоги»:

— «Раз», «воз», «низ», «из» — перед буквами к, п, т, х изменяют букву з на с... Предлоги «раз», «воз», «низ», «из», «низ» перед буквами... к, п, т, х — изменяют, изменяют... Что они изменяют?

Вдруг за забором лай собачки. Сложил учебник, потянулся к забору, продолжая твердить правило. Надо сказать, что сидеть с учебником недалеко от забора сделалось с некоторого времени моим любимым времяпрепровождением: девочка с льняными волосами, неведомая кокетка, притягивала меня тайной силой к забору.

И теперь я сидел поблизости, а когда услышал лай знакомой собачки, то меня словно кто толкнул с лавочки: так и метнуло к забору... Не успел я прижаться глазом к дырке, как что-то стукнуло под моими ногами. Я сперва испугался, потому что упавшее побежало как мышь по дорожке и юркнуло в крапиву. Но сейчас же сообразил, что это не мышь, а мячик, которым играла кокетка. Обрадовался, отыскал мяч, подошёл к забору. Посмотрел в дырку: ищет.

— Что вы ищете?

— Мячик. А кто там спрашивает? Вам какое дело? Как вы смеете...

— Мячик упал к нам в сад.

— Бросьте его сюда!

— А может быть, это не ваш мячик?

— Тогда я брошу его вам назад. Ну!

— Посмотрите в щёлку: ваш ли?

— А где щёлка?

— Вот здесь! Я просуну веточку.

— А-а, вижу. Ну!

Я сам смотрел в щёлку, когда мне навстречу близко-близко сверкнул синий глаз.

Я быстро отстранился и подставил мячик.

— Видите?

— Да. Это мой. Бросьте! Я поймаю.

— А как вас зовут?

— Вот новости! Зачем вам это знать? Не скажу. Мы с вами незнакомы.



— Если мы были бы знакомы, я знал бы, как вас зовут, и не спрашивал.

— Не скажу. Не ваше дело.

— Тогда я не брошу мячика.

— Сделайте одолжение! Я дарю его вам. Не очень нужно...

— Нина! С кем ты разговариваешь? Отойди от забора. Неприлично.

— Но там мой мячик. Я забросила его туда, а какой-то мальчишка взял и не отдаёт...

Мальчишка! Какой-то мальчишка. Это я. Покраснев от обиды и досады, я кинул через забор мяч:

— Ловите! Нина!

— Не смейте меня называть...

— Нина! Нина! Нина!..

— Мужик!..

— Какая принцесса! Скажите, пожалуйста! Подумаешь...

— Глупый мальчишка!

— Кокетка!

Итак, мы поссорились прежде, чем познакомиться. Эта ссора ещё больше приковала мои мысли к забору.

— Вот какая... важная. Ну и кокетка! Ругается мужиком, глупым мальчишкой... А сама-то ты какая?.. Воображаешь, что красавица, кокетничаешь с противной собачонкой... Предлоги «раз», «воз», «низ» перед буквами к, п, т, х изменяют букву з на с... Как написать: раз-красавица? З или с? Конечно, раскрасавица... Мужик! Что же, мужик, только бедный, и ничего дурного... Какая знатная! Возгордилась...

Дня через два я столкнулся нос к носу с ругательницей: иду в гимназию, завернул за угол, а она вышла из большого каменного дома и садится в пролётку. Она меня не узнала, а я моментально: вот особа — в гимназию разъезжает на лошадях! И с гувернанткой! Когда она поехала, я громко сказал вдогонку:

— Нина!

Обернулась и удивлённо и сердито огляделась по сторонам. А красивая! Что ни говори, а... Теперь уж всё испортил ссорой. Неудобно знакомиться. А можно бы... Только очень уж знатная. Важничает. Не люблю таких.

Возвращаясь из гимназии, прошёл мимо большого дома, посмотрел на медную дощечку: «Николай Николаевич, князь Кекуанов!.. А-а, действительно, важная княжна. А всё-таки, что уж такого?

Вот у нас в классе тоже учится князь, а дурак и попрошайка: у всех завтрак пробует в большую перемену. И на брюках заплатка. Может быть, тот не настоящий, а какой-нибудь... Княжна Нина Николаевна Кекуанова!.. Кто из нас старше: я или она? Мне тринадцать, а ей... тоже не больше. Что же она зазнаётся, называет мальчишкой? Ноги, как у цапли... Выхаживает по травке. А вот и подъезжает в кабриолете! Барыня важная. А у меня в руках целый ворох сирени, нарвал в гимназическом саду. Небось, хочется попросить, да боишься! Урони ветку и пройду, а она будет проходить на крыльцо и наверное поднимет. А потом спрошу в заборе, хорошо ли пахнет моя сирень... Спешу пройти крыльцо, пока она вылезает из кабриолета, и бросаю ей две ветки сирени. Прохожу до угла, поворачиваю и возвращаюсь посмотреть, взяла ли... И не подумала: даже наступила ногами... Вот какая гордячка! А всё-таки возьмишь. Дома сделал хороший букет из сирени, перевязал его ленточкой от сестрёнкиной косы и привязал записку: «Княжне Нине Николаевне Кекуановой от графа С. В.». И, перебросив через забор, встал у забора около дырочки. Простоял два часа. Не идёт. Вечером, на закат, подошёл и посмотрел: букет лежит на прежнем месте. Не действует! Решил посчитать до ста: если не появится, уйду и не буду смотреть. Сосчитал до девяноста и остальной десяток стал считать медленно-медленно. И на 99 в кустах мелькнуло белое платье и чёрные длинные ножки княжны... Я весь замер от напряжения, любопытства и ожидания. Словно ловил рыбу и смотрел на шевелящийся поплавок. Идёт, идёт, как раз мимо. Увидала. Ага! Bravo! — Подняла, читает. Удивлённо смотрит вокруг, потом на забор и тихо произносит:

— Граф...

Молча улыбается, нюхает сирень и вприпрыжку бежит в глубь сада.

Был праздничный день. Накануне я успешно сдал экзамен по русскому языку и получил от папы разрешение сегодня не долбить к следующему экзамену.

— Отдохни один денёк, а завтра валяй с новыми силами.

Конечно, мой отдых проходил главным образом около забора. Сегодня за забором было шумно и весело: у княжны Нины собрались подружки, и сад оглашался звонким смехом и визгами девочек. Как огромные цветы, белые, синие, красные, выросли по лужкам и в кустах нарядные девочки, и самая нарядная и красивая среди них была княжна. Она была похожа на махровый мак, ярко-пунцовый. Должно быть, она рассказала подругам про мой букет сирени:



взявшись под руки, девочки попарно проходили мимо, с любопытством останавливали взоры на заборе, и шептались, и ворковали с тихим смешком. Мне захотелось, чтобы Нина знала, что я в саду, за забором. Как это сделать? Разве запеть? Тот романс, который поёт дядя Петя? Начало у меня выходит. Затянул:

*Под душистой веткою сирени
Я сидел наг сонною реко-ой...*

За забором раздался дружный взрыв смеха, который всё удалялся и удалялся... Убежали! Так и есть: посмотрел в дырку — девочки исчезли... Опять смеются и всё ближе и ближе. Бегут сюда...

Под душистой веткою си-ре-ни-и-и...

Что это? На дорожку шлёпнулся и начал подплясывать резиновый мячик — знакомый мне уже мячик, который был уже в моих руках... А потом звонкий голос:

— Граф! Будьте добры... Мы нечаянно перекинули к вам в сад мячик...

«Граф?.. Почему — граф? Какой граф? Ах, да... Это я — граф»...

— Граф! Послушайте, граф!..

Я вскарабкался на забор и выглянул: несколько девочек бежали прочь, а три — среди них и княжна — стояли, взявшись под руки и ждали. Я приподнял фуражку, девочки кивнули головами...

— Вы меня звали?

— Да, граф! Мы забросили мяч туда, через забор... Будьте добры...

— Сейчас поищу...

Искать было не надо: я уже знал, где лежит мяч, но тянул дело, чтобы поговорить:

— Не видать, в какую сторону вы бросили?

— Прямо. Против самой высокой берёзы... Простите граф, что...

— Нашёл! Сейчас. Ловите!

— Бросайте!

— Раз!

— Два! — ответил голосок Нины.

— Поймали?

— Да. Мерси.

— Не стоит.

— Мерси за сирень! — прозвучал голосок Нины, и девочки со смехом пробежали прочь от забора...

Вечером я уже был в сказочном саду и играл с девочками в крокет. Мы с Ниной были во враждебных партиях, и я гонял её по саду за шаром без всякого милосердия. Она оттопыривала губки, гримасничала и с упрёком произносила:

— Граф! Противный граф!..

А потом перешла в нашу партию и радостно хлопала в ладоши, когда я мучил противников.

— Браво, граф!

И, взглядывая на меня, так приветливо улыбалась, что мне щеко- тало сердце.

Когда я уходил из сказочного сада, Нина протянула мне руку, сделала реверанс и повелительно сказала:

— Приходите, граф, ещё... Каждый день...

— Мерси, княжна...

Так я сделался графом. Несколько первых дней общения я смущался, когда Нина и её подружки называли меня графом, но скоро так с этим званием свыкся, что перестал находить в нём неудобство и начал чувствовать себя прирождённым графом. Дело дошло до того, что в гимназии во время уроков, когда учитель вызывал к доске моего товарища, настоящего графа, я, ещё не дослышав фамилии, вскакивал на это звание.

— Не тебя, а графа!

— А-а!.. Послышалось...

— Обратись к доктору. Ты плохо слышишь...

Нина представила меня своей маме — отца её не было дома, он уехал за границу — и та очень любезно встретила наше знакомство и тоже называла меня графом.

— Граф, вы говорите по-французски?

— Нет... Я по-немецки... и то плоховато!

— Это жаль...

Княгиня начинала говорить что-то по-французски своей дочери, и та смущалась и краснела. А однажды даже выскочила из-за стола и крикнула:

— И вовсе нет!.. Нисколько!..

А княгиня переводила на меня улыбающиеся глаза и спрашивала:

— Вам, граф, сколько лет?

— Скоро четырнадцать...



— Да, пожалуй и мало... — задумчиво говорила княгиня и начала говорить по-французски с гувернанткой, оживлённо, со смехом и гримасами. А я краснел, потому что чувствовал, что речь идёт обо мне и Нине...

Дома надо мной начали посмеиваться: младший брат уже успел насплетничать о моих приключениях папе и маме.

— У него там невеста... Княжна! Влюбился он...

— Ничего не влюбился. Врёшь! А просто я... Мы там играем в крокет...

— С девчонками! Ни одного мальчика там нет... Втюрился в княжну...

— У меня провались только! Я тебе такую невесту пропишу, что...

— Жених! Ты опять стоптал сапоги... Вот наказание Божие! Не напасёшься.

— Обещали новые, если географию сдам, а сами...

— Если завтра выдержишь экзамен по латинскому, куплю новые сапоги, брюки и фуражку.

— А курточку, мама! Забыла?

— Ну, ладно, и курточку.

— Не обдуешь?

— Нет.

— Смотри!

Два дня не был у княжны. На третий сдал экзамен по латинскому, последний экзамен, перешёл в четвёртый класс и возликовал... Не находил места от радости и безделья, от тоски по княжне, которую уже сам начал считать своей невестой, но в гости не шёл, хотелось заявиться туда во всём новом. После обеда пошли с мамой в Гостиный двор покупать всё новое. Оба измучились, ныряя из лавки в лавку, примеривая и сомневаясь. Я не находил фуражки по вкусу. Мне хотелось такого фасона, чтобы походила на офицерскую, а давали безобразную... Я примерял, подходил к зеркалу и разочарованно говорил:

— Опять не такая... Уши торчат, как у татарина...

— Не мы вам уши делали. Наша только шапка, а уши у вас собственные.

— У Петрова вот этакая, блин назад ложится, а у этой торчит...

— Ляжет, молодой человек, обомнётся и ляжет.

— Ничего не ляжет...

А потом мука с брюками: мама хочет пошире да подлиннее, а я покрасивее.

- Мешки, а не брюки!
- Вырастешь, узки будут.
- И длинные!
- Подвернёшь.
- Что я, баба, что ли?

Уже начали запирать лавки, когда наши муки кончились. Добился того, что всё было по моему вкусу. Вышагивал бравым молодцом, сапоги блестели и поскрипывали, брючки в аккурат, фуражка набекрень...

- Не махай руками! Держись прямо.
- Я иду по-военному. Раз-два! Раз-два! Правой! Правой!

Когда пришли домой, братишка с завистью осмотрел меня с головы до ног, а папа произнёс:

- Ну-ка, повернись!

Я сделал по-военному оборот на месте и отдал честь под козырёк.

- Вот теперь настоящий жених!
- А без тебя в сад звали... И меня! — подзадоривая, сказал обиженный чем-то братишка.
- Куда тебя: там маленьких нет...
- А вот и пойду... Меня звала сама княжна. Приходите, говорит, и вы...

— Играть можешь только в старом, — сказала мама. — Я не позволю лазить по заборам в новом.

- А в старом не пойду.
- Как хочешь...
- Ну разреши только сегодня!.. Один раз! Я буду осторожно.
- Нельзя.
- Он хотел перед княжной пофорсить.
- Не твоё дело, дурак. Молокосос! Сдал все экзамены, а они — ходи в старом! Больно нужно... Если бы знал... Я вовсе не через забор, а улицей...
- Ну так и быть: сегодня можешь походить, но если издерёшь, отцу скажу.
- Не издеру.
- К невесте!.. Я тоже пойду. Меня она звала.
- Нечего тебе делать. Мал ещё, — сказала мать и этим окончательно разозлила брата.

Я посмотрелся в зеркало, молодецкато поправил фуражку, вытянул из-под кушака курточку и отправился к княжне в сад, где весело

постукивали шары и молотки играющих в крокет. Меня встретили восторженно:

— Граф! Граф пришёл!

— С нами!

— Нет, с нами! Они сильнее...

— Граф, хочу с вами в одной партии, — сказала княжна, и я сделал ей под козырёк и примкнул на её сторону. Нина потихоньку поглядывала на меня и так ласково улыбалась, что я чувствовал себя победителем. В спорах всегда стояла на моей стороне и иногда даже заметно кривила душой... Впрочем, все девочки относились ко мне очень внимательно, и я не успевал отвечать: со всех сторон звали:

— Граф! Граф!

— И вовсе он не граф!.. Наврал, что граф, а вы, дураки, поверили!..

Что такое?.. Откуда голос брата? О, ужас, на заборе сидел братишка, хохотал и изобличал меня в обмане, а остальных укорял в глупости.

— Убирайся вон! Я папе скажу, что ты невежа... нахал!

— А я скажу, что ты себя графом называешь! Мы вовсе не графы, а простые, незнатные чиновники...

— Слезай, говорят тебе!..

Игра оборвалась. Все слушали обличения с забора и смущённо улыбались. А я готов был провалиться сквозь землю, только бы не слышать выкриков и насмешек с забора.

— Княжна! Он вовсе не граф... Он обманул, чтобы выйти за вас замуж!

Это было уже выше моих сил. Под предлогом остановить озорника я, ни с кем не прощаясь, пошёл быстрым деловым шагом из сада, бормоча:

— Вот сейчас я скажу папе, какой ты невежа и нахал!..

Я ушёл, а брат ещё остался на заборе и продолжал свои изобличения. Пошёл я сперва в наш сад и со злостью стащил за ногу брата с забора. Потом дал ему трёпку. Он с рёвом пошёл жаловаться, а я, подавленный, униженный открытым обманом, прислонился к забору и стал, затаив дыхание, прислушиваться к тому, что делается за забором... Там спорили о том, граф я или не граф. Княжна настаивала на том, что граф...

— Граф, граф, граф!.. Я знаю...

И эта настойчивость княжны была так невыносима для меня, что я пригибался к земле, словно от ударов, и готов был уползти

на четвереньках из сада, лишь бы чем-нибудь не раскрыть своего присутствия за забором. Я стал боком пробираться вдоль забора, зацепился за гвоздь и изорвал новые брюки. С позором, потихоньку я пробрался к себе наверх и запер дверь на ключ. Притаился. Снизу доносился рёв брата...

— У, рёва!.. Болван проклятый!.. Какое тебе дело?..

Ну, кто-то идёт наверх! По шагам узнаю отца. Полный упадок сил...

— Эй ты, граф! Отопри!

— Зачем тебе? Я занимаюсь...

— Отопри!

А отпереть я не мог, ибо сидел и зашивал прорванные брюки. Что делать? Положение было ужасное и совершенно безысходное. Я стал было надевать брюки, но голос отца, требующего немедленно отпереть дверь, был так грозен, что пришлось на одной ноге подскочить к двери и отпереть.

— Что ты тут делаешь, жених?.. Изорвал?! Новые?

— Маленькая дырка... Это ничего...

Слава Богу: бежит мама... Иначе не миновать подзатыльников.

— В чём дело? Какой там граф?.. Ничего не понимаю.

Папа начал говорить с мамой, поссорился, забыл про меня, и под эту ссору я незаметно скрылся из своей комнаты. А потом, когда гнев родительский иссяк нормальным путём, я появился в комнатах и дело ограничилось лишением меня некоторых прав: а именно — ношения до осени нового платья и возвращением меня в первобытное состояние...

— Граф... Проходишь и в стоптанных...

Но теперь это было уже неважно: я больше никогда не пойду в сад, в котором меня ждут позор и презрение...

И дома, среди родных, я чувствовал себя очень скверно: отец называл меня заштатным женихом или самозванцем, братья и сёстры — графом, а мама — ловеласом. За обедом и чаем подтрунивали:

— Кушайте, ваше сиятельство!

— Он, папа, Хлестаков...

— А ты — дурак!..

И я уходил наверх, в свою комнату, и там отсиживался. В распахнутое окно из сада доносились смех девочек и звонкий стук шаров — там по-прежнему играли в крокет. Иногда среди шума голосов я ловил серебристый смех и вскрики княжны Нины.

— Хохочет! Кокетничает с собачонкой... Очень нужно!.. Не заплачу.

Так утешал я себя в несчастьи, но звонкий голосок Нины тоской наполнял мою душу, и перед глазами вставал светлый призрак красавицы с синими глазами и треплющимися по плечам льняными гирляндами золотящихся под солнцем волос. Ах, как мне хотелось бы очутиться вдруг среди девочек за высоким забором и стоять с молотком в руке около одной из них, которая... Нет, этого никогда не может случиться!..

Теперь я с ужасом думал о том: а вдруг мы с ней где-нибудь встретимся и она с хохотом назовёт меня вашим сиятельством?

При одной мысли об этом я краснел до ушей и торопливо закрывал окно, чтобы не слышать смеха в соседнем саду. Когда надо было сходить куда-нибудь по родительским поручениям, я далеко обходил большой каменный дом, в котором жила княжна Нина. И всё-таки однажды встретился: она ехала в коляске с матерью; я кротко и вежливо снял фуражку, но мне не ответили. Может быть, не заметили, а может быть... не желали заметить...

— Ужасная кокетка!.. Слава Богу, что не женился!..





МАЛЕНЬКИЙ ГРЕШНИК

Коля принимал самое горячее участие во всех хлопотах по приготовлению к Пасхе. Когда горничная Даша, с подоткнутым подолом и засученными по локоть рукавами, пришла в зал и стала мыть стёкла окон, подоконники и сметать пыль и паутину с потолка и карниза, Коля не замедлил явиться сюда и вмешаться в дело.

— Даша! Даша! — звонко кричал он. — Оставила паутину!

— Где?

— Да вон! Смотри! Вон висит, слепая курица!

— Вы, барин, лучше уйдите, не мешайте мне.

— Ну, так я скажу маме...

— Ну, где? Чего оставила?

— А вон, в углу! Видишь, паук? Сними!

Даша с досадой ткнула полой щёткой, куда показывал Коля, и отошла.

— Постой, постой! Паук упал! — с радостным визгом кричал Коля, заметив маленького серенького паучка, и потребовал, чтобы паук был посажен ему в коробку из-под пилуль.

— Ах, наказание Божье! — сердилась горничная. — И чего только, барин, не выдумаете? Ну куда вам этакую дрянь?..

— Дашка! Как ты смеешь? Сама ты дрянь... Клади сюда!

Заполучив паука, Коля побежал в столовую, крепко сжимая коробочку в своей маленькой руке. Здесь, за большим покрытым клеёнкой столом, сидели его двенадцатилетняя старшая сестра Наташа и старая нянька Михеевна, вынянчившая их обоих и теперь жившая в доме по старой памяти. Наташа и Михеевна красили яйца и были совершенно поглощены этим занятием.

— Наташа! Михеевна!

— Ну?

— Хотите покажу?





— Чего, Коленька, покажете?

— А вот тут у меня сидит... — загадочно сообщил Коля, помахав коробочкой.

— Покажи, покажи!

— Ну, идите сюда! Наташа! Фокус!..

Коля поставил коробочку под самый нос Наташи и открыл крышку. Наташа испугалась, Михеевна тоже, а Коля был в восторге.

— Эх вы, трусихи! А я вот нисколько не боюсь, ни капельки! Дайте-ка мне какую-нибудь палочку! Михеевна! Дай, говорят тебе, палочку!

— Некогда, Коленька, надо яички красить.

— Успеешь... Я вам фокус покажу. Вон спички, дай-ка мне одну.

Коля взял спичку, заставил паука взобраться на неё и, отставив руку, начал речитативом:

Паук, паук, гай тенёт!

Паук, паук, гай тенёт!

Паук спустился со спички на тоненькой паутинке, а Коля стал наматывать эту паутинку на спичку и изо всех сил кричал:

— Смотрите! Смотрите! На воздухе висит!

Наташу взяло любопытство, и она забыла про яйца. Михеевна тоже наклонилась над ребятами. Вошла мама.

— Что вы это делаете?

— Мама! Mamочка! Смотри!

Паук, паук, гай тенёт!

Паук, паук, гай тенёт!

— Фи! Брось, пожалуйста! Раздавите его!

— Я не дам. Грех! — заявил Коля и торопливо запрятал паука опять в коробочку.

— Сорок грехов, Коленька, простится, а не то что грех! — поучительно заметила ему Михеевна.

Мать ушла в кухню, где кипела теперь самая горячая деятельность, а Коля вступил в рассуждения с Михеевной.

— Убить, так Бог сорок грехов простит?

— Да, простит, батюшка, простит...

— Враки!

— Как хотите, Коленька, а только так говорят: сорок грехов простится...



— А если двух убить, то сколько?

— Ну, значит, сорок да ещё сорок. Сколько это будет? Вот и сосчитайте!

— Восемьдесят, — серьёзно произнесла Наташа, закидывая спущившуюся с головы прядь волос за ухо.

Коля призадумался. Он постукал пальчиком по коробочке и спрятал её в карман.

— А вот и враки! — сказал он неуверенно. — Зачем же ты, Михеевна, тогда говела? Ну, скажи! Зачем?

— Как же, батюшка? Надо.

— Ты бы набрала пауков побольше да и раздавила их ногой, — вот Бог тебе и простил бы все грехи... Сорок, ещё сорок, ещё сорок... Сколько у тебя будет грехов?

— У-у! Не сосчитаешь, батюшка!

— Можно пауков много найти... У нас в кухне, в детской поискала бы! Пошла бы в другой дом...

Повернувшись на каблучках, Коля вприпрыжку побежал на кухню. В коридоре он остановился и вынул из кармана коробочку. Посмотрел на паука и опять закрыл крышку. Коля колебался. Дело шло о жизни или смерти паука. Коле было жалко убить его... Но, может быть, правда, что, если убить паука, то сорок грехов Бог простит?

Коля очень хотел говеть на Страстной вместе с Наташей и Михеевной, но мама не велела... Вчера Наташа пришла из церкви, и все называли её безгрешной и святой. Михеевна сказала, что Наташа теперь всё равно, что ангел... И Коле было завидно.

— А я? Я? — приставал он к Михеевне.

— Ты и так безгрешный. Ты маленький ещё. Какие у тебя грехи, батюшка!

— Значит, и я святой? — требовал Коля категорического ответа.

— Какие же у тебя грехи!..

— Нет, ты мне скажи: святой я?

— Ну, святой...

— А как же то, вчерашнее-то? Помнишь?

— Чего, батюшка?

— А сливки-то, помнишь? — понизив голос, спросил Коля и добавил: — Ведь ты говорила, что — грех?

— Конечно, грех... Разве можно без спроса?.. Надо маменьку слушаться, а потихоньку нельзя... Да ещё пальцем лезешь!

— Ну, значит, и нечего тут! Значит, не безгрешный!

И теперь Коля думал о том же. Припоминая недавние дни, Коля открыл за собой ещё несколько грехов: обругал Наташу дурой — раз, пролил у папы на стол чернила — два, обманул маму — она поставила его на колени, а он, когда мама уходила, сел на корточки, а когда входила, привставал... Это — три... И ещё много.

Коля насчитал уже шесть грехов, когда мама проходила мимо.

— Ты всё ещё с пауком возишься? — заметила она ему.

— Я хочу его, мамочка, раздавить... — задумчиво сказал Коля.

— И прекрасно сделаешь! — мимоходом бросила занятая хлопотами мать и прошла в комнаты.

Коля опять раскрыл коробочку. Паук суетливо забегал во все стороны. Коля вытряхнул его на пол.

— Ты меня прости на том свете... Я бы выпустил тебя на волю, если бы... — мысленно произнёс Коля и, топнув ножкой, раздавил паука.

Совершив это кровавое дело, Коля присел на полу и стал рассматривать останки казнённого. От него осталось только влажное пятнышко да ножки.

— Ах ты, бесстыдник! Ах, позор! На грязном полу... Встань! — крикнула неожиданно появившаяся мама.

Коля поднялся с пола.

— Смотри пожалуйста: все штанишки испачкал опять! — сердито заговорила мать, отряхивая рукой пыль с Колиных коленок, а в заключение шлёпнула его и толкнула по направлению к комнатам.

— Пошёл, бесстыдник!

Так неожиданно, странно и обидно завершились для Коли вопрос о грехах и его внутренняя борьба перед казнью раздавленного паука. Больно Коле совсем не было, но было обидно, так обидно, что и сказать нельзя. Захотелось плакать. И Коля начал было плакать, да сверху от хозяев дома пришла к Наташе подруга-гимназистка, и Коле стыдно было плакать. Он убежал в детскую и спрятался в гардероб с платьем. Коля притворил за собой дверку гардероба и залез в самый угол. Здесь было совершенно темно, и можно было не стыдиться. Коля плакал здесь потихоньку, а потом притих — больше уже не хотелось... Он сидел на корточках в гардеробе и прислушивался, уверенный, что там говорят о том, как печально кончилась вся эта история с пауком. И действительно:

— Где же теперь он?

— Убежал куда-то, — сказал голос Наташи.



— Да я его отшлёпала, — объяснила мама. — Только утром надели на него всё новое, чистое, и опять вывозился... Но куда он делся?

Коля притаил дыхание и замер в гардеробе.

— Коля! Коля!

Коля молчал. «Не вылезу!» — решил он, оскорблённый и униженный. Но мамина ротонда, за которой скрывался маленький грешник, была очень тёплая, и Коле было очень жарко и душно. Спустя несколько минут он немного приотворил дверку и посмотрел в щель. Там было светло так, весело и не жарко!.. Ему вдруг надоело сидеть в гардеробе и захотелось присоединиться к Наташе, Михеевне и хозяйкиной дочери. Но надо подождать. Надо выбрать удобный момент, чтобы как-нибудь незаметно вылезти из гардероба. А то, наверное, все, как только увидят Колю, так сейчас же вспомнят, что его отшлёпала мама, и ему будет очень стыдно, особенно перед хозяйкиной дочерью... Надо потерпеть... От скуки Коля начал вытеребивать из маминой ротонды волоски. Но и это надоело. Коля заглянул в дверку и прислушался. Опасности нет, можно потихоньку вылезти и обойти кругом, через мамину спальню, папин кабинет и зал, к ним в столовую... Коля выставил было одну ногу, но сейчас же её спрятал, так как Наташа вошла в детскую. Но было уже поздно: Наташа заметила Колину ногу.

— Вылезай! А то скажу маме... Гардероб вовсе не для того делается, чтобы ты там сидел... Изомнёшь вот моё новое платье! Вылезай же!

— А вот не вылезу!

— Михеевна! Что Николай мнёт моё новое платье? Залез в гардероб, и не знаю, что там делает...

Всё пропало: и Михеевна, и хозяйкина дочь теперь узнали, что Коля сидит в гардеробе.

— А вот и не вылезу! — хмуро буркнул ещё раз Коля и закрылся маминой ротондой.

— Коленька! Батюшки, срам какой! Вылазь, голубчик! — сказала Михеевна.

— Ай-ай! Вот так жених мой! В гардероб! — смеясь, заговорила хозяйкина дочь и тоже пришла в детскую.

Коля не хотел вылезать. Михеевна стала ловить его за ногу, а Коля начал брыкаться.

Михеевна всё-таки одолела: поймала Колю за ногу, и ему пришлось сдаться. Он появился из гардероба, красный, как кумач, сконфуженный и сердитый. Волосы у него торчали на голове, как у ежа,





а глаза сверкали, как у волчонка... Во всём виновата Наташа: она его открыла и выдала, и потому на неё Коля был сердит всего больше.

— Не тронь меня! — закричал он, когда Наташа взяла его за локоть, чтобы отодвинуть от гардероба.

— Тебя мама уже отшлёпала сегодня... Ещё хочешь? — спросила Наташа, оправляя висевшее в гардеробе своё новое платье.

— Ах ты!.. Дура — раз, дура — два, дура — три! Я паука убил, а грехов у меня только шесть. Вот тебе! И ещё могу назвать тебя дурой и гадостью! — запыхавшись, выкрикивал Коля и потом убежал из детской.

— Что? — спросил он, выглядывая из двери кабинета. — Что? И Михеевну могу обругать дурой, только не хочу!!!





ВОЛШЕБНИК

Город был в нервной, пугливой тревоге: разрасталась забастовка... Началось с фабрик и заводов. Как пожар при ветре, перекидывалась забастовка с одного конца города на другой и, как пожарные, скакали по улицам полицейские конные отряды, торопясь и опаздывая. Иногда спешным маршем под гулко постукивающий барабан, красивым строем, поблёскивая острыми штыками, дружно выстукивая ногами, шли солдаты с хмурыми тупыми лицами. Порой как бешеный скакал верхом всадник в мохнатой папахе, и переходившие улицу пешеходы опроретью кидались в стороны, боясь быть раздавленными взмыленной лошадей.

Город продолжал ещё свою обычную суетливую и шумную жизнь, пёструю и яркую; главные улицы сверкали нарядными окнами магазинов, кишмя кишели народом, волнами катящимся вдоль панелей и вереницами ползущим на извозчиках, но было что-то особенно торопливое и пугливое в обычной жизни. Достаточно было какого-нибудь пустого случая, чтобы вызвать смятение и суматоху: близкий полицейский свисток, бегущий без шапки человек, ссора пьяных — всё это вызывало панику и любопытство: одни стремительно бросались к месту происшествия, другие кидались в ворота и двери магазинов, чтобы спастись... от чего? Неизвестно. Все ждали чего-то необычайного, страшного и интересного, а чего именно — и сами не знали...

Иногда на улицах появлялись большими толпами рабочие, серьёзные и угрюмые. Тихо двигались они по панелям, таинственно переговаривались с встречными товарищами и враждебно поглядывали на нарядную публику, которой не было никакого дела до этих очень плохо одетых людей, с зеленоватыми лицами, с грязными руками... Они, эти люди, только мешали и портили улицы,



такие чистые, красивые и нарядные, полные своеобразной прелести в этот чудный осенний день с золотящейся листвой на бульварных деревьях, с весёлой прощальной лаской пригревающего солнышка, сверкающими глянец экипажами и пролётками, новенькими вагонами позванивающих трамваев, гудящими и поющими в рожок автомобилями, лихо мчащимися велосипедистами.

Словно выходцы из другого мира, лишние, чужие и никому не нужные, бродили эти странные люди среди нарядной уличной толпы, которая брезгливо сторонилась их, словно боялась испачкаться в чём-то нехорошем, и вдруг, как стая бродячих собак от выстрела, разбегались в разные стороны при появлении скачущих гаплом всадников, передавая свой страх нарядной публике.

— Мамочка! Это о н и, рабочие?

— Да, да... Иди и не оглядывайся!..

— А почему они побежали?..

— От полицейских... Иди и не рассуждай!

— А зачем? Им нельзя ходить по улицам?

— Не велят.

— А почему не велят?..

— Ах, отстань, пожалуйста!.. Давай руку и иди, а то ещё нагайкой...

Серёжа поймал мамину руку и вприпрыжку пошёл с нею рядом. Ужас матери, попавшей в суматоху, вызванную разгоном толпы рабочих, передавался Серёже, но любопытство пересиливало, и всё хотелось оглянуться и посмотреть...

— Они скверные, мамочка?

— Да кто, кто?

— Рабочие.

— Не знаю... Всякие... Не хотят работать.

— Ленятся, мамочка?

— Да, да!.. Иди уж... Вот и ты, если будешь лениться, то...

— Они — озорники, мамочка?..

Но в этот момент карьером пронеслись казаки. Один пронзительно засвистал и махнул нагайкой. Нагайка щёлкнула, как пистолет, и это было так ужасно, что Серёжина мама вскрикнула и не стала торговаться с извозчиком: пихнула Серёжу в первую подвернувшуюся пролётку, вскочила сама и, ткнув извозчика в спину, захлёбывающимся от волнения голосом крикнула:

— Скорее!..

— Куда, барыня?

- Туда! Прямо!.. Ух... Какое безобразие!.. Сворачивай скорее!..
- Да ничего, барыня... Нас не тронут...

Когда свернули за угол, Серёжина мама почувствовала себя в некоторой безопасности, отдышалась и сделалась добрее и разговорчивее:

- Смотри, я больше двугривенного не дам!..
- Обидно, барыня...
- Тогда мы слезем... Стой! Мы сядем в трамвай.
- Да ладно уж, сидите!.. Скоро вот не будут ходить они...
- Кто тебе сказал?
- Забастуют... Вчера сказывали, что с воскресенья остановятся.

Опять по панели тихо шла толпа рабочих, и Серёжина мама ткнула в спину извозчика. Серёжа пугливо смотрел на этих людей и жался к матери.

— Не понимаю, что с ними возьтятся. Не хотят работать — сделайте одолжение, пусть гуляют: проголодаются и придут.

— Это, барыня, верно: голод не тётка, — сказал, обернувшись, извозчик и стал ворчать себе в бороду: — Голодом можно скотину приучить, как тебе желательно, а не то, что человека... А только ведь и бедного человека грех обижать...

Помолчав немного, извозчик вдруг обернулся и сказал:

— Вот на тебе, барыня, бурнус, а на мне — зипун... А кто нас одел?

— Не беспокойся, голубчик, за деньги всегда оденут и обуют... Наши не станут работать, из-за границы выпишут...

— А как, барыня, чугунок станет — как тогда? И не выпишут тебе...

— Не станет! Чепуха!.. Этого не допустят...

— А кто знает?.. Сказывают, что скоро всё станет...

Серёжа внимательно слушал разговоры матери с извозчиком и никак не мог понять, что это за люди такие, которые нас одевают и обувают, а теперь бегают от полицейских... Мама только что купила Серёже новое осеннее пальто, которое лежало теперь в бумажном свёртке на коленях Серёжи и которое так нравилось ему, — и мальчик радовался, что оно уже куплено и никто его не отнимет.

— А моё новое пальто, мама, тоже они сделали?

— Всё, барин, они. На тебе нитки нет, которую бы они не сделали, — ответил извозчик, а мама, дёрнув Серёжу за руку, сердито шепнула:

— Замолчи! Нечего тебе с ним разговаривать.

А извозчик продолжал философствовать на ту же тему, пока Серёжина мама не сказала:

— Тебя, голубчик, самого-то надо в полицию!..

Тогда извозчик крепко хлестнул и обругал лошадь и перестал разговаривать.

Так и вернулся Серёжа домой с неразрешённым сомнением относительно этих людей, которых называют рабочими...

— Соня! Мы рабочих видели! — сообщил он сестре с таинственным жестом. — Ей-богу! Честное слово!

— Какие они?

— Они... такие... с виду на мужиков похожи...

С каждым днём, и дома, и на дворе, где играет Серёжа после завтрака и обеда, всё чаще стали говорить об этих людях, которые останавливают фабрики и заводы в городе и не желают работать; но из этих разговоров нельзя понять, дурные или хорошие эти люди. Дома выходят — дурными, а на дворе — хорошими. Однажды Серёжа обратился с расспросами к младшему дворнику, Игнатию:

— А разве они могут остановить фабрику?

— Очень просто, Серёженька.

— А как они... её?..

— Выпустят пар, и кончено. А то просто уйдут...

— И фабрика без них остановится?

— А то как же? Без них не могут.

— Вот какие!.. И это, моё новое пальто, по-твоему, без них не было бы на свете?

— Не было бы.

— И курточка?

— И курточка, и штаны, и рубаха... Ходил бы, в чём мать родила.

— Гольшом!.. Вот чудной!.. А мама мне из-за границы выписала бы.

— Так, поди, и там сделать надо же. А как там тоже забастуют или железная дорога бросит ходить?

— Зачем она бросит?

— А вон ходит слух, что все чугунки скоро станут.

— А как же папа? На чём он приедет?

— А уж, видно, верхом на палочке...

— Хм!.. Глупости болтаешь. Вот я скажу маме, она тебе задаст говорить так про папу.



Серёжа смолк, уставился в землю. Потом погладил рукав своего нового пальто и спросил:

— И сшили его, скажешь, рабочие?

— Они же!.. Только мать родила тебя, а остальное...

Через два дня перестал бегать и звенеть трамвай, перестали выходить газеты, закрылись общественные бани и погрузились в темноту те улицы, которые освещались газовыми фонарями. Ещё спустя два дня нарушилось нормальное железнодорожное сообщение, и на вокзалах началась паническая суматоха: с часу на час ждали полного прекращения движения...

Должен был приехать Серёжин папа и не приехал. Мама беспокоилась и сердилась на всех. Все в доме бранили рабочих, а на двор Серёжу перестали пускать, и он по целым часам просиживал у окна и мучился жгучим любопытством: что делается теперь на улицах?

— А вдруг, мам, папа приедет?..

— Не может приехать...

И мать начинала бранить забастовку, и рабочих, и папу.

— Неужели, мама, они могут?..

— Чего могут?

— Запрещать ездить по железной дороге?

— Значит, могут... Отстань!..

На глазах мамы появлялись слёзы, а лицо её делалось таким сердитым, что Серёжа замолкал и, отвернувшись к окну, опять начинал смотреть с любопытством и страхом на улицу.

— Если бы я мог, я им... всех бы казнил!..

В городе с каждым днём становилось тревожнее. С вечера улицы пустели, магазины запирались, двери и окна их заслонялись крепкими щитами, быстро темнело и становилось загадочно, а по ночам у пылающих костров стояли биваком казаки и полицейские.

Иногда среди ночи Серёжа соскакивал с постели и босиком подбегал к окну на улицу — посмотреть, как там теперь...

Пылает огонь костра, огромные, тёмные фигуры людей с мохнатыми головами, как дикари из Майн Рида, шевелятся и двигаются в красном ореоле трепещущего огня... Что-то страшное, таинственное совершается ночью на улицах... Холодок пробегаёт по спине, вздрагивает и жмётся Серёжа... Точно людоеды: поймают и изжарят на костре... и съедят!.. Ах, папа, папа!.. Страшно и холодно. Серёжа бежит в кровать, где так тепло и мягко, мама просыпается и спрашивает:



- Ты что не спишь? Куда бегал?
- Всё горит огонь, мама! Всё стоят эти люди против наших окон.
- Спи!.. Ничего... Не бойся! Вот только бы папа...
- Мама!..
- Что, миленький?
- Я хочу к тебе... Я что-то боюсь...
- Кого, голубчик?
- Волшебника!..
- Какого волшебника?..
- Разных...
- Ну, иди!..

Серёжа радостно спрыгивал с кровати и перебежал на постель матери. Забившись под одеяло, он обнимал мамину руку и шёпотом говорил:

- Они всё могут сделать...

Мать быстро засыпала, а Серёжа, выставив голову из-под одеяла, смотрел на стену, где прыгали красноватые отблески уличного костра, и думал о волшебниках, злых и добрых, и о людях, которых называют рабочими. Какие они: злые или добрые?..

Однажды, когда Серёжа вышел к утреннему чаю, на столе не оказалось тёплых калачей, которые обычно подавались. Вместо тёплых калачей – чёрствый хлеб, холодный и невкусный.

– Дайте калача!.. Где калач? Что вы дали мне такую гадость! – капризно запротестовал Серёжа, отстраняя корзину с хлебом.

- Скажите, Серёженька, слава Богу, что и такой-то нашли!

– Вот ещё новости!.. Дайте калача!.. Мама, что они не дают мне калача?

- А где его взять, Серёженька? Все булочные заперты.

- Зачем?

– А затем, что прекратили работать, рабочие забастовку сделали...

Опять – рабочие! Серёжа почесал за ухом и спросил:

- А как же мы будем без калачей?
- Как-нибудь уж потерпим...
- А губернатор может их заставить калачи печь?..
- Не больно они, Серёженька, боятся...
- Губернатора?!
- Да никого они не боятся...
- Вот какие!.. Важные...

— Ничего с ними не поделаешь. Ешь покуда чёрствый. Скоро и такого не будет.

— А я с чёрным не могу...

— Да и чёрного-то поищешь...

— А как же?!

Серёжа всё более терялся в догадках, что это за люди, которые не боятся даже губернатора, никого не боятся, а от казаков и полицейских бегают. Как это так? Могут остановить фабрики, трамваи, железные дороги, газеты, лишить калачей и даже чёрного хлеба, и ничего с ними не поделаешь... И опять он начинал вспоминать и думать о волшебниках и чародеях, о которых читал в разных сказках. У них есть шапки-невидимки, их не поймаешь. Губернатор скажет: «Ну, работай!» — а они наденут шапку-невидимку и пропадут...

А тревога с городских улиц невидимо, но настойчиво забиралась в каменные дома, к людям, которые не привыкли тревожиться. С каждым днём, с каждым часом в эти дома врывается хаос, перевёртывавший вверх дном все раз и навсегда установленные здесь порядки жизни, принуждавший обитателей этих домов изменять своим обычаям и привычкам. Пропала весёлость, пропали смех и шутки, пропала радость жизни. Вместо них залезал страх, и рос с каждым днём какой-то новый, неведомый страх, какого здесь никогда ещё не испытывали... Этот страх особенно овладевал большими и красивыми домами, вот такими домами, в каком жил теперь Серёжа. Здесь с вечера запирали калитки, гремели тяжёлыми замками и цепями, впуская запоздавших обитателей; дворники с револьверами неотступно торчали перед воротами, переговаривались с дозорами и с обходом, свистали дребезжащими свистками...

Однажды вечером в квартире, где жил Серёжа, перестали вспыхивать электрические лампочки.

— Испортилось электричество, мама...

— Зажги столовую лампу!..

— И она тоже!.. И здесь тоже, мама!..

— Неужели и тут забастовка?..

— Нигде, барыня, не горит. Забастовка, говорят...

— Свечи! Свечи!.. Есть ли у нас свечи?..

— Есть, но немного...

Померк дом. Вместо яркого блеска в огромных окнах его тускло мерцали жёлтенькие огоньки свеч, гордый вестибюль и лестница потонули в таинственном полумраке...



Вся семья собиралась в столовой около одиноко и грустно так теплящейся свечи и со страхом поглядывали в тёмный зал, где, как мертвецы в саванах, стояли в сосредоточенном раздумье кресла, диваны, пианино, всё — в чехлах... Из кухни приносились тревожные новости. Прислуга, наговорившись между собой на чёрных лестницах, приносила в барские комнаты самые невероятные известия:

— Говорят, что и воды скоро не будет!..

— Сейчас сказывали, что и покойников перестали хоронить...

— Мяса не будет завтра... Если ещё неделю так продержится, в городе голод начнётся...

Серёжа с широко раскрытыми глазами слушал эти страшные новости, в которых рабочий по-прежнему являлся главным действующим лицом, и всё больше склонялся к мысли, что рабочий — волшебник, всемогущий волшебник, вроде того, которого можно было вызывать чудесною лампою Аладдина.

Всё он может сделать, всё зависит от этого волшебника: захочет — пойдут железные дороги и привезут папу, захочет — и вспыхнет электричество, и во всех комнатах будет светло, как при солнце, захочет — им дадут тёплых калачей... А не захочет, так и вода перестанет течь из кранов и не будет ванны и чаю. И никого, как есть никого, не боится!.. Волшебник!

Серёжа окончательно убедился в этом, когда спустя две недели в один день совершилось столько чудес: заходили трамваи, загорелись электрические лампочки в комнатах, и улицы облились ярким светом фонарей и окон, принесли газеты и письма, а за чаем подавали тёплые калачи... Приехал и папа!.. Столько радостей сразу... Потом они с папой ездили по улицам и видели, как волшебники весёлой толпой, с развевающимися знамёнами, с громкими радостными песнями ходили по улицам, и никто уже их не смел разгонять, и никого они не боялись... Теперь Серёжу ещё больше тянуло на улицу, но мама опять не пускала одного.

— Мама! Мамочка! Опять волшебники идут по улице... Пусти!

— Нельзя.

— Но ведь теперь, мамочка, они не злые, а добрые?..

Прошло несколько месяцев. В доме давно уже водворились прежние порядки, и всё шло ровно, гладко. Вернулось веселье, смех и радость, и исчез куда-то страх. Все в доме уже успели забыть о недавнем тревожном времени. Однажды папа с мамой уехали в театр, а мадемуазель куда-то исчезла; бабушка, захво-

равшая во время пережитых тревог, всё ещё отлёживалась в постели и не вылезала из своей комнаты, а сестра играла с нянькой в куклы в детской комнате. Скучно было Серёже. Нечего делать! Вяло слоняясь по всем комнатам, он не находил никакого занятия.

— Бабуся! Что мне делать?

— Погладь-ка мне ногу! Опять заныла...

— Вот больно нужно!.. Очень это интересно...

Ушёл от бабушки в детскую и сломал у старинной куклы руку. Нянька прогнала. Нечего делать! Пошёл было в кухню к новой кухарке, но горничная не пустила:

— Мама не велела вам, барин, в кухню ходить. Нечего вам там делать!

— А если мне скучно?

— Ну и там никакого веселья нет.

— А кто там разговаривает?

— Кухаркин муж пришёл.

— Вот и интересно!..

— Чего интересного, барин?.. Простой человек, рабочий...

— Кухаркин муж — рабочий?

— Да.

— Волшебник!.. Я пойду.

— Не смейте! Я мадам пожалуюсь. И мамаше скажу, когда придут.

— А ты — ябеда!.. ябеда! Я скажу, что ты из молочника сливки пила!..

— Неправда. Я муху вынула.

Серёжа повздорил с горничной, но в кухню идти побаивался: однажды ему уже досталось за это от мамы. Однако любопытство пересиливало, и Серёжа держался в коридорчике, около дверей в кухню. Очень уж ему хотелось посмотреть на волшебника поближе. Когда прислуга проходила в кухню, Серёжа спешил заглянуть туда, но толку не выходило; был слышен голос, но самого волшебника не видать: очень мало растворялась дверь. А любопытство разбирало всё больше, и не было сил ему противиться.

— Слава Богу! — прошептал Серёжа, когда увидал, что горничная куда-то уходит.

Как только она ушла, Серёжа взял половую щётку и, прижавшись к стене в коридоре, стал понемногу растворять дверь в кухню длинной ручкой щётки. Дверь наконец раскрылась настезь... Не сразу Серёжа решился посмотреть в неё: несколько минут он

стоял, затаив дыхание и опустив глаза. Наконец решился, посмотрел: сидит за столом оборванный человек с добреньким лицом, такой маленький и невзрачный, и трясущейся рукою торопливо и жадно ест что-то из дымящей паром тарелки. Ест и пугливо озирается по сторонам. Словно боится, что у него отнимут то, что он ест. Даже за тарелку другой рукой держится...

А где же волшебник?.. Серёжа вытянул шею и обвёл взором всю кухню. Никого больше нет. Только новая кухарка да этот человек. Неужели это и есть волшебник?!

Не вытерпел Серёжа: вошёл в кухню и стал у порога. Волшебник вдруг соскочил со стула и выронил ложку. Ложка упала сперва на стол, а потом на пол...

— Ничего, ешь! — сказала кухарка. — Маленький барин никому не скажет.

— Про что? — спросил Серёжа.

— Не говори мамаше-то с папашей, что человек суп ел... Остался суп...

— Ладно...

— Голодный человек-то... Жалеть надо, миленький барин.

— Кого?

— А этого человека-то... Муж мой...

— Муж?..

Серёжа исподлобья взглянул на переминавшегося около стола маленького худого человека. «Наверное, превратился», — подумал он и сказал:

— А ты — волшебник!.. Я знаю.

— Кто?

— Да ты!

— Рабочий я, барин, а только без работы.

— Значит, — волшебник! Я знаю... Ты всё можешь сделать. Ведь это ты всё наделал... Только, смотри, больше не делай! Со свечками темно, а чай я люблю с калачами.

— Я ведь ничего, барин... Я сейчас уйду...

— А ты совсем не страшный!.. А я думал, что ты — большой, с дом, и что — сердитый... А ты... какой!.. Ты превратился?

— Есть, барин, нечего, а вы смеётесь... Грех смеяться...

— Я думал, что ты — важный... А ты... смешной!.. Суп ешь!.. У тебя руки трясутся... Я тебя нисколько не боюсь... Ни капельки...

Однако на всякий случай Серёжа проворно вынырнул из кухни и остановился за порогом, чтобы можно было сейчас же убежать,

ВОЛШЕБНИК

если волшебник вздумает бежать за ним. Ничего! Не бежит. Отвернулся к стене. Что он там делает? Кто это плачет? Да это он! Он! Стоит и, тихо всхлипывая, утирает рукавом слёзы...

— Волшебник, а плачешь... Эх ты!.. Так тебе и надо!.. Зачем папу не пускал ехать? Зачем электричество погасил... калачей не давал: вот тебя Бог и наказал... Bravo! Bravo! — закричал вдруг Серёжа на все комнаты и с торжествующим смехом сообщил идущей навстречу мадемуазель:

— Я его теперь ни капельки не боюсь... Ей-богу! Честное слово!..





ДУНЯШКА

Пасково пригревает весеннее солнышко. А ветер ещё холодный, пахнет снегом... С гор с весёлым победным шумом бегут в луга потоки тёмно-бурых снеговых вод; позванивают, как бубенчики, мелкие ручейки; кричат грачи, и звонко разносятся перекликающиеся голоса деревенских ребятишек...

Весна всем несёт радостные хлопоты: и людям, и зверям, и птицам...

Мы, ребятишки, по горло в работе: приподняв рубашонки, мы бродим по колени в бурливых потоках, строим плотины, пускаем пароходы и лодки, гоним плоты из щепок, строим мельницы... Кипит работа! Некогда пообедать и некогда поужинать... С нами же барахтаются в грязи, в воде и в навозе грачи, курицы и собаки... Со стороны можно подумать, что без нашей помощи солнце не могло бы ничего поделывать... У Кольки прорвало плотину, у Даши заперло воду, у Маньки потонула лодка с парусом... У нас с Мишкой готов к отходу пароход с баржами... Крик, визг, смех и ссоры... А на косогоре стоит мать:

- Дунярка-а!
- Чаво?
- Иди домой!
- Нашто?
- С отцом прощаться!

Ах, как не хочется бросать дело! На минуту вылезая из воды, подплясываю задрогшими ногами на жидкой грязице и сердито кричу:

- Некогда!..

Мать подходит ближе, зовёт домой с угрозой в голосе:

- Не пойдёшь?



Нечего делать — надо идти. Карабкаюсь на косогоре, а сама полна заботы: как бы не ушёл у Мишки пароход без моего участия — ведь один свисток уже был...

— Не отваливай без меня! Я сейчас приду!.. — кричу сверху Мишке и бегу прощаться с отцом.

Отец маляр. С наступлением весны он уходил на заработки: сперва в затоны — красить пароходы к открытию навигации, а потом по городам и пригородным дачам. Возвращается он глубокой осенью. Мало его видим: не больше пяти месяцев в году. Он как гость в доме...

В избе шумно и людно. Родня и шабры сбились на провода. Пьют чай, водку, целуются, поют...

— Прощай, доченька! Надолго разлучаемся...

Отец садит меня на колени, проводит жёстким пальцем у меня под носом и, приглаживая голову, целует.

— От тебя водкой разит, — говорю отцу.

— Вон ведь что сказала! А ты лучше пожалей!

— Я жалею...

А кто-то жалобно поёт: «Чужа-дальн-яя-а-а... сто-ро-о-о-нушка-а-а». Мать плачет, отирая глаза рукавом кофты. И мне вдруг делается жалко-жалко отца, и слёзки скачут с ресниц на отцовскую руку...

— А когда вернёшься-то?

— К снегам приду... Чего тебе купить-то? Гостинца-то?

— Укради с пароходов краски. Сурику, белил свинцовых, лазури...

— Нашто тебе?

— Пароход красить... — всхлипывая, объясняю отцу, и снова шевелится в душе тревога, как бы Мишка не отправил без меня парохода...

Ушёл отец. Поплакала, утёрлась и бегу под гору. А там дым коромыслом: драка!

— Мишка-а! Не отваливай!..

Мишка стоит и плачет: сломанный пароход наш без кают лежит на боку, труба валяется рядом.

— Кто сломал?..

— А зачем он запруду прорвал?..

— Чай, я не нарочно-о-о...

Кричат грачи в вётвах, стрекочут воробьи на крышах, звенят голоса, ручьи, смех и плач...

А кто-то на косогоре жалобно поёт:



— Чужа-даль-няя-а-а... сторо-онушка-а-а...

Кто там поёт, словно плачет? Дедушка сидит на завалинке, под расписанными суриком и свинцовыми белилами окнами нашей избы, щурится, как кот на солнышке, и, должно быть, вспоминает о том, как и он когда-то копошился в весенних водах, в грязи и навозе, как копошимся теперь мы, малые ребяташки...

На утре жизни душа раскрыта только для радости... Детская печаль, как мимолётная тучка в голубой летний день: спряталось солнышко, нахмурились небо и земля, а вот уже опять засверкали и речка, и луга, и тесовая крыша новой избы, и опять радость полилась в душу и от земли, и от неба...

Ушла она, радость... убежала в туман прожитого и оставила сладкую грусть о далёком и невозможном!..

— Вставай, Дунюшка! Пойдём гусей пасти!..

Слышу дедушкин голос, его старческое покашливание, вставать не хочется.

— Слышишь? Барыня!..

— Рано, дедушка... Поспать охота...

— А ты раскрой глазки-то, а то всё будет рано...

Раскрываю глаза, выглядываю из-под дедушкиного кафтана... Через маленькое оконце клетки льётся полоска солнечного света, весёлая, тонкая, ласковая, зовущая... Утро уж!.. Вот тебе и раз!.. Слышно, как беспокойно и весело чирикают на дворе воробушки, стайкой перелетая с плетня на крышу. Кудахчет курица. С грохотом катится по улице пустая телега...

— Дедушка! Хохлатка снеслась!..

— То-то и есть! А ты спишь... Вставай, пойдём на ключ умыться!..

Беспокоит снёшенная хохлатка. Хочется посмотреть, какое она снесла яичко... Сажусь, почёсываюсь, протираю глаза... В разных концах села мычат коровы, блеют овцы. Пастух стадо собирает. Вот и наша Красулька замычала... Где-то кричит мать... Близко-близко, словно над самым ухом, хлопает длинный кнут пастуха, и я окончательно просыпаюсь... Где же дедушка?.. Ушёл. Проворно соскакиваю с нар и бегу на огород, а там уж скрипит колодезный журавль: дедушка холодной водицы достаёт...

Ах, как хорошо на огороде! Сверкают на всходах капельки росы, поют птички, пахнет огурчиком и мёдом... Качает жёлтой



головой подсолнечник, потревоженный севшим на него воробьём, жужжат пчёлки... Пугало протягивает мне свои объятия... Крапива колет босые ноги, но не больно, а только смешно...

– Дедушка!.. Гляди-ка: горох цветёт!..

– Подь, умойся да Богу помолись! Иди, поплещу из бадьи!..

– Ах, какая холодная и вкусная вода!..

Дедушка льёт, а я ловлю её горстями, пью и плескаю себе в лицо...

– На ноги льёшь, дедушка!..

– Ну, встань к солнцу да помолись!..

Отёрла лицо подолом рубашонки, встала к солнцу...

– Господи, помилуй меня Христа ради и дай здоровья тятеньке, маменьке, дедушке...

– И всем сродникам! – подсказывает дедушка...

– И всем сродникам...

– А про хлебец забыла?..

– Роди, Господи, нам хлеба и дай здоровья коровушке, лошадке, курочкам, чтобы было молочко и яички... Аминь!

– Вот умница!..

Свежо. На траве роса. По голым ногам пробегает холодок, а солнце уже ласково припекает спину и голову... Чем это пахнет так вкусно-вкусно?..

– Дедушка! Можно одну репку выдернуть?

– Жалко: маленькая ещё... Ну, выдерни уж... одну!

Выдернула репку, кругленькую, жёлтенькую, словно налитую мёдом... Обмыла в росе, вытерла подолом рубашонки и в рот... Хрустит на зубах душистая репка, текут по губам слюнки... Дедушка смотрит и ухмыляется:

– Понравилась ли?

– И-и! Сладкая какая!

– Ну, теперь пойдём к речке гусей пасти!..

Дедушка забирает начатый лапоть, лыко, костык, два ломтя густо посоленного ржаного хлеба. Я выбираю подлиннее хворостину и бегу к закутке, к гусям...

– Тега, тега, тега!..

В закутке поднимается беспокойное бормотание... Отворяю дверцу, и белые птицы, распутив крылья, порывисто выбегают на волю, наполняют прозрачный воздух летнего утра радостным звонким гоготанием и стремительно бегут под гору, к речке. Дедушка идёт потихоньку с подожком в руке и с котомкой за плечами, а я с визгом радости стараюсь догнать белых птиц, высо-



ко подпрыгиваю и машу руками, как крыльями, воображая себя гусем...

Ой... Нога подвернулась, и я кувыркком лечу на траву...

— У-у-у! — гнусаво тяну я, сидя на травке, не столько от боли, сколько от досады, что не догнала гусей.

Подходит дедушка.

— Ну, вставай!.. Не плачь! До свадьбы заживёт!..

Дедушка говорит так серьёзно, так убедительно. Пропадает всякое основание плакать. Отерев кулаком слёзы, я встаю и, прихрамывая, бегу дальше. А гуси уже — под горой на речке: плавают, словно белые кораблики из бумаги...

Весело у нас летом, когда далеко ещё «страда» и девкам с бабами, кроме полотья огородов, другого дела нет. Каждый день, как только сядет солнце и уляжется розовая пыль, поднятая по улицам вернувшимся стадом, на лужке около брёвен собираются девки, молодые бабы, парни, старики и мы, малые ребяташки... Играют в ямки, грызут семечки, толкаются, рассказывают всякие небылицы.

Сбившись в кучку на брёвнышках, словно воробьи на заборе, мы жадно слушаем... Дедушка Ипат ходил драть липовое лыко в казённый лес и видел лешего.

— Огромный, волосьями оброс, руки — как сухие коряги...

— Испугался, дедушка Ипат?..

— А чего пугаться-то? Чай, на мне крест!..

— Побежал ты? А он за тобой?..

— Чего бежать-то? Ни Боже мой!..

Досадно. Нам кажется, что страшнее было бы, если бы дедушка Ипат побежал, а леший — за ним вдогонку.

— Ты бы, дедушка Ипат, закричал: «Помогите!»

— А кто в лесу поможет?

— Надо сказать: «Аминь, чур меня»!

Мы начинаем спорить между собою: каждый торопится по-своему разрешить ужасное положение дедушки, каждый переживает ужас встречи, пожимается от страха и жмётся от края в серединку.

— Я перекрестился — он и пропал, — говорит дедушка Ипат. А нам жалко, что кончилось так просто.

— Ты бы поговорил с ним! — шепчет Мишка, и все смеются.



— Я слышал один раз, как он, леший, ночью в лесу хохотал... Ездили мы с тятей в Ольховку на базар, а назад ночью вертались... Едем лесом-то, а он, проклятуший, как загогочет да засвистит!.. Инда лошадь вскинулась и ну вскачь!.. А тятка-то пьяный лежит. Я его бужу, а он ругается...

Нам страшно, а парни балуют: девок пугают. Девки визжат и хочут, бьют парней кулаками по спинам — парни поддаются...

— Сам ты леший!

— Чистый дьявол!.. — ругают девки парня Миколку, а у Миколки — гармония, он мастер в неё играть... Чтобы уважить девок и положить гнев на милость, Миколка заберёт в меха гармонии побольше воздуха и зальётся трелью: «Ти-та-ти-та, ти-та, ти-та-та-та».

И вздрогнет чуткая ночь, полетят трели через речку к тёмному лесу и, смягчённые эхом, возвращаются оттуда к нам на лужок. А Миколка поддаёт жару и ухарски поёт под гармонию:

*Милая Федосья,
Ты меня не бойся,
Я тебя не трону,
Ты не беспокойся!*

Робкие звёздочки вздрагивают в небесах над лесом. Кричат в лугах неугомонные коростели. Над ухом пищит комар. Тихо, медленно плывут с Ольховской колокольни удары колокола и тают в сумерках летней ночи. Считаем удары: десять.

— Дунярка! Иди домой! Спать пора!..

А спать неохота: девки завели хоровод. Топчутся на лужке впережку с парнями и поют песни про свёкра, про родимую мамыньку, про зелёный садочек. А мы играем в ловильщиков, ныряем внутрь хоровода, дёргаем девок за юбки, тычемся головами им в подолы...

— Я тебя за уши!.. Иди спать!..

— Иду-у...

В окнах свет. Выкрашенные суриком косяки бросают кровавый отблеск в темноту ночи. У нас ужинают. На столе расписное блюдо с картофельным хлебовом. Над блюдом клубится пар. Дядя Илья, жена его, Степанида, бабушка — все с ложками, постукивают о посудину и едят по очереди... Хлебнут и жуют хлеб, энергично



пошевеливая челюстями... Вкусно пахнет... Аппетит, как у голодной собачонки...

— Садись ко мне на колени!

Взбираюсь на руки к дедушке, хватаю большую ложку и, не соблюдая очереди, вылавливаю из блюда что погуще.

А за окном все поют, визжат, смеются...

— Наелась. Пусти-ка, дедушка, я в хоровод пойду...

— Не смей! Спать пора! Иди в клеть, ложись!..

— Я, маманя, не хочу спать...

— Перекрести лоб-то, озорница!..

— Я уж перекрестилась...

Не пускают в хоровод. Мишка встал на завалинку, глядит в окно и манит рукой. Постучал, поднял оконницу.

— Иди, Дуняшка, в чехарду играть!

— Я вот тебе ложкой по лбу... — сердится мать и схватывает ложку — но хлопнула оконница, и Мишка исчез.

— Пойдём, Дунярка, спать...

— Не хочется, дедушка...

- А я тебе сказочку расскажу!..
- Обманешь?
- Зачем обманешь!..
- Про Бову скажешь?
- Скажу.
- Ну коли ладно... Пойдём!..

Лежим в клетке рядышком. Дедушка что-то бормочет, а я смотрю широко раскрытыми глазами в темноту и думаю о том, как дедушка Ипат столкнулся в лесу с лешим... Страшно! Поджимаю ноги, сую голову под широкую бороду дедушки и крепко жмусь к нему всем телом... А он бормочет, шамкает губами и щекочет мне лицо жёсткой бородой...

- Дедушка! А он — мохнатый?..
- Кто? Бова-то?
- Нет, леший?..
- Леший?.. Он ведь мужик — в лаптях, с бородой, с палочкой!..

Только он ростом повыше меня... Он ведь ничего... Он с ребятишками ласковый... А вот ежели кто лес ворует или лыко дерёт с липок — он не любит...

- А Бова с ним сладит?..
- Кто его знает!..

И опять дедушка бормочет что-то в самое ухо... Хорошо! Спокойно! Страх затихает, глаза закрываются, а изо рта текут слюнки...



сень!

По утрам лужок под окнами покрывается инеем, словно седеет пожелтевшая травка... Тонкий ледок в канавках ломается под ногой и звенит, как стекло. Из-под горы, где прячется река, лениво выползает туман. Не играет больше по утрам рожок пастуха: перестали гонять стадо. А солнце всё ещё светит ярко, и к полудню начинает грустно улыбаться земля холодному небу...

На ногах большие мамкины башмаки, старая тяткина жилетка на вате крепко обтянута под мышками пояской, а на голове платок, замотанный концами вокруг шеи... Скучно!.. Нечего делать... Печальный пустой огород, в котором вдруг сделалось просторно и прозрачно; пугало стоит без шапки, словно отрубили ему голову



и оставили только длинную тонкую шею. Жалобно скрипит журавль колодца, вертится над воротами игрушечная мельница... Опустел птичий домик: улетели скворчики!..

В сенях пахнет капустой: рубить скоро будут. Целая гора круглых крепких капустных голов.

— Мамынька! Дай кочерыжку!..

Вкусная кочерыжка! Только очень жёсткая... Крепко впиваюсь зубами в кочерыжку, и там, где выкушу, остаются розовые пятна от крови дёсен...

— Она, мамынька, как деревянная...

— А ты обрезала бы сверху-то, а серёдку только ела!..

Высоко в небе гогочут дикие гуси, углом пролетающие над деревней. В закутке им вторят домашние, всполошившиеся вдруг, как люди при пожаре. Стоим с дедушкой и смотрим в небо...

— Видно, морозы скоро ударят: и днем и ночью летят, торопятся...

— А куда они, дедушка, летят?..

— В тёплые края, Дунюшка...

— А где они, тёплые края?..

— Там!.. Далеко!.. На краю света... — говорит дедушка, показывая рукой за лес, и я пристально гляжу туда, вдаль, словно надеюсь увидеть эти края.

А наши гуси всё кричат, хлопают крыльями, выставляют красные носы под дверку...

— Что это они, дедушка?

— Беспокоятся-то?.. Досадно им... В тёплые края охота...

— Там хорошо, что ли?

— Ну ещё бы!.. Там круглый год красно летичко... Там нагишом можно, а не то что...

— Чай, тятя бывал там?

— Нет, Дунюшка, там никто не бывал, окромя Божьей птицы...

— И скворцы наши туда улетели?..

— Туда же...

— А как они дорогу-то найдут?

— Сверху-то ведь далеко видать...

Подувает холодный ветер, и сиротливо трясутся у плетня облетевшие ветви молодой черёмухи. На дубке ещё есть красные листики; на берёзках — золотые... Только старая сосна над закоптелой баней на огороде всё по-прежнему зелена и гордо смотрит теперь на голые дрожащие берёзки, вётлы и черёмуху...





Зябнут руки и нос...

— Утри нос-то! Размокнет!..

Мишка в отцовских сапогах и в огромной шапке подошел к воротам:

— Дунярка!

— Ну!

— У нас мамка ребёнка ночью принесла.

— Врёшь?

— Ей-Богу!.. Пойдём глядеть!.. Пищит, как котёнок...

— Заругают...

Хочется посмотреть на ребёночка, который пищит, как котёнок... Мать идёт с ведром к колодцу.

— Маманя! Я пойду в шабры!

— Нашто?

— Тётенька Палагея ребёночка родила...

— А тебе какая забота?

— Пус-ти-и! Поглядеть охота...

— Мальчонка, что ли? — любопытствует мать у Мишки.

— Девку!..

— А-а!.. Добра-то!.. — с презрением говорит мать и уходит на огород за водою.

Будь что будет! Пусть поругают... Идём в избу к Мишке. На печке стонет тётенька Палагея. Старуха-повитуха пеленает ребёночка на коннике.

— Ну чего пришли?

— Поглядеть на ребёночка...

Ворчит старуха-повитуха, тискает ребёночка, заматывает его в свивальник и вертит им, как деревянной куклой, а ребёночек отчаянно кричит, плотно сжимая глазки.

— Красненький!.. Плачет, а слёз-то нет!

— Кыш, вы!.. Любопытны больно... Вырастешь, сама родишь — тогда и нагладишься... Не ори. Вишь, какая голосистая...

— А звать-то как?

— Вот повезём к попу в Ольховку — он и назовёт, как вздумает... А покуда не крещёная — не человек, а тварь поганая...

Стонет на печи Палагея. Смотрю на печку, где в полутьме возится и шуршит тулупами роженица — проникаюсь к ней чувством боязливой благоговения... Любопытство и испуг широко раскрывают мои глаза, а стон больной заставляет говорить шёпотом...



— Больно родить-то?.. — спрашиваю старуху-повитуху.

— А ты думала — весело?..

Тихо, незаметно выхожу из избы. Моя душа полна неясными думами о тайнах рождения. Долго смотрю я на окошко, за которым скрывается эта тайна. Выходит Мишка:

— Мамку сосёт...

Стоим у ворот, делимся своими тайнами.

— Я вырасту, рожу себе трёх мальчиков да одну девчонку!..

— А как замуж никто не возьмёт?

— Всё равно рожу.

— Дура ты... Так не родятся, с мужиком спать надо! — строго и хозяйственно говорит Мишка.

— А вот и врешь...

— Спроси мать-то! — сплюнув сквозь зубы, презрительно замечает Мишка.

— А как же Акулька-то родила?..

— Дура ты!.. Чай, она с урядником спуталась...

Ничего не понимаю.

Проснулась, открыла глаза и дивуюсь: рядом со мной на печи лежит и смотрит прямо мне в глаза раскрашенная деревянная кукла неопишущей красоты — в расписном сарафане, в кокошнике, в башмачках с каблучками, глаза круглые, огромные чёрные брови дугой, лицо белое, словно сахарное, а на щеках румянец, как маков цвет...

Сразу отлетел сон. Гляжу и думаю: «Отколь взялась? Родила ночью, что ли...»

Протягиваю руки, целую куклу в нос и хохочу от радости, болтая в воздухе ногами.

— Барышня! Ангелочек ты мой!.. Раздушечка ты моя! — шепчу и не могу наглядеться...

И вдруг слышу знакомый голос, от которого вздрогнуло сердечко... «Это тятка из городу привёз», — мелькает в голове, и вся я трепещу от радости. Крепко прижимая к груди куклу, слезаю с печи и бегу в сени:

— Тятя!..

- А-а, проснулась, Авдотья Микалавна?!
- Проснулась... — отвечаю ему и начинаю плакать.
- Чего ты, Бог с тобой? О чём ревёшь?
- Не зна-ю-ю...
- Соскучилась, что ли?
- Не зна-ю-ю...
- Эх ты!..

Отец берёт меня на руки, отирает слёзы и ласкает, а я, обхватив ручонкой его толстую загорелую шею, не свожу глаз с красавицы-куклы.

- Понравилась, что ли?
- Красивенькая!.. — шепчу, проглатывая слёзы, и крепко сжимаю рукой отцовскую шею.
- Как звать-то будешь?
- Барышней буду называть.
- Это кормилица.
- Какая?
- Чужого ребёнка в городе кормит...
- Сиротку, что ли?..
- Барского...
- Она барыня?..
- Деревенская... баба...
- Зачем она? Чужого-то?
- У барыни нет в грудях молока-то, вот она и берёт для своего ребёнка бабу молочную... А ей жалованье платит...

Долго отец объясняет мне про господскую кормилицу.

Не хочу я, чтобы моя кукла была кормилицей:

- А я её буду барышней звать... Она в шляпке...
- Знамо, зови!.. Всё одно...

Надо похвастаться подарком, а никого дома нет: в Ольховке храмовой праздник — все к обедне пошли.

- Пойдём, тятя, к обедням!..
- Устал, доченька, вчерась весь день шёл, ногу сбил.

Сажусь с куклой у окна на лавке и как только увижу, что кто-нибудь проходит мимо, — стучу в стекло и показываю свою красавицу. Всем нравится: качают головой, улыбаются, завидуют...

- Пойду на улицу!
- Иди, иди!..



Как же не идти? Мишка стоит, растопыря ноги, за воротами и не подозревает о существовании моей красавицы. Вышла за ворота, куклу спрятала за пазуху. Подхожу к Мишке.

— У меня что есть!.. — дразню Мишку, но пока скрываю. Мишка равнодушен. Это досадно.

— Мишка!

— Ну?

— Я сегодня ночью родила!..

— Дура!

— Ей-Богу, право!.. Барышню родила... Краси-вень-кую!..

— Дура ты!

— Думаешь, вру?

Обидел меня Мишка: сказал, что я родила ночью очень скверное...

— А погляди-ка!.. Что?!

Показала куклу. Мишка даже растерялся.

— Дай в руки-то!..

— Так гляди, а в руки не дам...

— Съем я, что ли?

Вырвал у меня из рук куклу Мишка и не отдаёт. Завязалась борьба. Мишка побежал, я — за ним. Не догнать Мишки! Остановилась и отчаянно завопила, призывая на помощь тятеньку. Мишка испугался и бросил мне куклу:

— Держи! Я попугать только, а ты, дура... На кой ляд мне она?!

В грязь лицом упала кукла. Отёрла рукой и размазала грязь. С плачем и бранью пошла в избу. На крыльчике вымыла красавицу из болтающегося на верёвочке рукомойника, отёрла подолом... и горько заплакала: пропала вся красота у моей барышни!.. Стала кривая, грязная, с румяным носом. И чем больше я старалась вернуть ей утраченную красоту, тем более она делалась безобразной... Не было предела моему отчаянию и скорби... Выглянул отец в сени.

— Что? Кто тебя обидел, Дунюшка?..

— Погляди-ка-а-а! Что теперь делать-то?!

— Как это ты?.. Грех какой...

— Мишка-а-а в грязь её...

— А ты умывать стала?..

— Не надо мне этаку-ю-ю!..

И я бросила куклу, а сама уткнулась в угол носом и не хотела глядеть на свет Божий...

Отец поднял куклу.

– Разлюбила?..

– Она теперь не мила мне... Даром мне теперь её не надо-о-о...

– А ты погодь-ка, не реви! Послушай, что я тебе скажу... Я тебе её сызнова выкрашу... Масляными красками распишу... Лучше прежнего будет...

– А глаза-то? Нос-то?

– И глаза, и нос... всё заново сделаем!..

– И брови?

– И брови. Всю красоту наведём. Пойдём в избу!..

– Разя ты умеешь?

– А вот поглядишь...

Всхлипывая, сажу на лавке, а отец роется в раскрытом сундучке и вынимает из него какие-то светлые металлические бутылочки с навинчивающимися крышечками, кисти, блюдечки...

– Это чаво?

– Политура это...

– А где ты это взял?

– Купил.

– Нашто тебе?

– Картины писать... Зимой баловаться будем. Патрет с тебя напишу...

Хочется смеяться. Какой молодец тятя-то: всё может!.. Сажу, задерживаю дыхание и не отрываю глаз от отцовских рук... Чудеса!.. Сперва всё лицо у куклы сделалось белым, как снег...

– А глаза-то?

– И глаза будут, и брови дугой, и румянцы загорятся...

Действительно! Словно слепая прозрела вдруг кукла под отцовскими руками: два голубых глаза с жёлтыми зрачками широко раскрылись и оживили мёртвое лицо... Радостно хохочу и болтаю ногами...

– Хорошенькая стала!.. Глаза-то, как у нашего петуха...

– Нравится?

– Ещё бы!..

– А губы сделаем покраснее да потолще...

– Не забудь брови-то!

– Всё заново сделаем!.. Не узнаешь...

Чудеса!.. Хохочу от радости...

А в Ольховке кончилась обедня: слышно, как радостно гудят праздничные колокола в свежем прозрачном воздухе...



П овалил снег, лёгкий, пушистый, словно ветер раздул лебяжьи пёрышки... Белые крыши, белые ковры на завалинках, на воротах, на брёвнышках, по дороге... Откуда он летит, этот белый пух, щекочущий лицо и шею и превращающийся в тоненькие ручейки на щеках?.. Загнёшь на небо голову и смотришь... Летит, летит, летит... Неужели с самого неба?..

— Тятя? Откуда он валится?

— Из тучек...

— А как он там? Кучей лежит?..

— Снег-то? Хм... кто его знает!..

Смотрю на снежные облака, и мне представляются белые пушистые горы из мелких снежинок. А что если лечь в такое облако? Не удержишься, полетишь на землю кубарем?..

— Дунька! Давай бабу накатывать! — говорит Мишка с улицы; нос прижал к стеклу и от этого кажется смешным уродом.

Хорошо катать бабу из пушистого снега... Сперва не больше мяча, а потом наворотишь такой ком, что силы не хватает перекачивать... Работаем вместе. Пыхтим, краснеем от напряжения, кричим: «Вали-вали!..» А народу всё прибавляется: прибежал Гришка с того конца, кривая Дарька, Алёшка носатый... Все трудятся до седьмого пота. Накатали много круглых глыб, и началась творческая работа... Маленькие скульпторы, мы полны инициативы, смелости в замыслах и самой необузданной фантазии... Беда лишь в том, что мало согласия: одни хотят мужика, другие — бабу, одни — сиднем, а другие — в стоячку... Крик, споры и брань, пока наиболее разозлённый не разрушит всего сооружения из злобы или зависти... Тогда общий переполох, война снежками, потом на кулачки, потом разбитый кровоточащий нос и гнусавый плач потерпевшего...

Встала речка. Лёд еще тонкий, чистый и прозрачный. Теперь центр нашей жизни — речка и природная гора над ней. С полудня здесь вся деревенская детвора копошится, как развороченный муравейник, вплоть до темноты... Плотно укатали гору санками, ногами, коньками, козлами. Отец обещал купить санки, а пока обхожусь без них. Гора такая скользкая, что стоит только сесть, пихнуться руками, и катишься стремглав вниз без всяких приспособлений. У Мишки тоже нет санок: он катается прямо на ногах. Теперь здесь смех со всей деревни, звонкий, прозрачный смех и румянящая щёки радость... Мы захлёбываемся в этой новой радости,



не успеваем глотать её. Горит лицо, стучит сердце, сверкают глаза, пар клубится под носами... У дедушки заиндевели брови, а нам жарко: мы мимоходом, как лошади в запряжке летом ухватывают листочек с дерева, хватаем руками чистый, пушистый снег с веток и глотаем его, чтобы утолить жажду... Не велят нам — простудишься, а мы не верим... Мишка сосёт ледышку...

— Дай пососать-то!

— Больно ты ловкая!.. Поищи сама!..

Не даёт Мишка пососать ледышку. Жадный какой!

— А я скажу тётенке Палагее, что ты опять сосульки жрёшь!

Вкусная сосулька! Лучше леденца, который в прошлом году сосала... Пойду на речку — поискать сосульку... Бегаю по льду. Ноги скользят и катятся сами собой — замирает сердце, словно кто щекочет. А лёд глухо стонет под ударом ноги... Кто там стонет под хрустальным полом?.. Полон таинственности этот глухой стон, и кажется, что там, подо льдом, есть много чудес, о которых нельзя узнать человеку...

— Слушай, Мишка, как водяной стонет!..

Бью по льду палкой, и кто-то подо льдом бунчит, сердится и стонет от боли...

— Вода это бултыхается...

Мишка бьёт палкой в лёд, а я припадаю к нему ухом и слушаю... Нет, не вода!.. Там подводное царство водяного, там живёт морская царевна, про которую рассказывал дедушка...

Рано заходит солнышко... Не успеешь всласть накататься, как небо уже разгорается красным пожаром и синие сумерки ложатся по сугробам... Побежит ветерок с полей, и задымится снежная пыль на сугробах. Мигнёт огонёк в избе.

— Дунюшка!.. Вечерять иди!

— Не хочется!..

— А ты попробуй — тогда захочется...

— А что варили-то?

— Щи.

— Пустые?

— С убоиной!..

И кататься хочется, и щей с убоиной тоже... Давно не ели щей с убоиной... Не знаю уж, как быть...

— Я приду скоро! Оставьте мне маленько!

— Всё съедят... Без остатку! — пугает дедушка. — А щи-то жирные, наварные!



Представляется большая деревянная чашка со щами... Пар идёт душистый от капусты и варёной свинины... Даже слюна течёт...

— Иду, что ли!.. Поиграть не дадут...

Вползаю на гору, оглядываюсь: как муравьи, ползают ребятишки по горе, звонко кричат, хохочут, брячат коньками и санками... Жалко уходить, да щей с убоиной хочется...

Обманули! Пустые щи в чашке...

— Обманщик ты, дедушка!.. Говорил — с убоиной, а...

А всё-таки вкусно! Тороплюсь утолить голод, не соблюдаю очереди и забываю об обмане.

Плотно наелась, поплелась в угол и забралась на печку. Назяблась за день, и теперь тёплая печка, заваленная овчинами, тулупами и всякой рухлядью, кажется верхом блаженства... Мягко, тепло, уютно. Все дома. Слушаю, как звенит струна захожего шерстобита, как отец рассказывает про жизнь в городе, как по стенке ползают и шепчутся тараканы... Печка загорожена развешанным для просушки бельём; не видать, что делают там старшие, можно только догадываться... Что это звенит? А-а! Мама самовар налаживает!..

— Никак чай пить будем? — спрашиваю с печки.

— С чего это ты вздумала?

— А зачем самоваром брячите?

— Я невзначай задела — крышку уронила...

Не верится. Обманули щами с убоиной, а теперь без меня чаю напьются. Лежу с закрытыми глазами и вижу на столе самовар на парах... Чудится, что бурлит и клокочет кипящий самовар, а дедушка сидит и пьёт чай, подувая в полное блюдечко. Воображение так ярко, что нет сил противиться родившемуся в душе сомнению: спускаю с печки ноги, раздвигаю висящее бельё и заглядываю, чтобы убедиться, действительно пьют чай или это мне почудилось... Почудилось!.. Отец рассказывает про свою жизнь в городе:

— Каждый день чай два раза: утром и вечером. На обеды щи с убоиной и каша с маслом... А в праздники пироги давали...

— С чем пироги-то? — спрашиваю с печки.

Все дружно смеются, а я снова лезу под тулуп и закрываю глаза.

Опять звенит струна шерстобита... Слушаю этот глухой гудящий звон и дремлю: чудится мне зелёный огород, яркое горячее солнышко и огромный шмель над подсолнечником...



IV
Детские
слёзы





НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ

I

Ваня проснулся и заглянул в решётку своей кровати. Что бы это могло значить? Ночь — в углу красным огоньком смотрит лампадка, как всегда, но в комнате ходят, шумят и разговаривают... Незнакомые дяди, военные и простые, тут же дворник... Зачем они шевыряются в его шкафу с игрушками? Как они смеют? Почему мама позволяет это? На полу лежат Ванин бесхвостый конь, книжки с картинками, ящики с играми... Кажется, мама плачет?!

- Не испугайте ребёнка! Ради Бога не испугайте ребёнка!..
- Я не сплю, мамочка!..
- Милый! Спи, спи себе!..
- А это — кто?.. Не давай им мои игрушки!..
- Они сейчас уйдут... Спи!..
- Прогони их!..

Один дядя усмехнулся и сказал:

- Храбрый!.. Ну-ка иди к маме на руки!
- Не хочу!

Мама взяла Ваню из кровати, и, к удивлению Вани, дядя начал устраивать ему постельку.

- Нехорошо под подушкой конфеты складывать... — сказал дядя.
- Не тронь! Мама! Что он?! Убирайся!
- Отлично! Ложись теперь!.. Буян!..

Мать поцеловала тёплого ребёнка и опустила его в кровать.

- Здесь детская... Ничего нет. Уверю вас!..

Пошумели дяди в шкафу, отодвинули гардероб, посмотрели в печку, в отдушки, и один за другим вышли из комнаты.

— Разбросали все игрушки... Противные! Какие это гости? — капризно сказал Ваня.

— Ложись и спи!..

— А ты?

— Я сейчас... Провожу их и приду к тебе...

— Положи коня в ящик, он и так уж без хвоста!..

Вошла нянька, мать сделала ей какой-то знак рукою и вышла из комнаты.

— Помешали тебе, ангельчик Божий?! Ах ты, Господи!.. Отвернись к стенке!

— Собери мои игрушки!.. Дураки...

— А ты отвернись и спи! Я всё, всё соберу, спрячу, запрю...

Ваня отвернулся. Нянька что-то шептала и приводила в порядок детскую. Потом подошла к кровати, нагнулась и послушала...

— Спи с Богом, со Христом!.. — сказала шёпотом и тихо вышла...

Ваня перевернулся на спину и широко раскрыл синие глазки. Полежал смирно с минуту, потом приподнялся на локотке и посмотрел на пол: всё было убрано... А они не ушли: разговаривают в Алёшиной комнате, и Алёша на них сердится: грубит им... А мама не велит грубить старшим. Гости — тоже старшие, разве можно им грубить?! Чужой дядя кричит... Спать надо, а они кричат... Ваня сел в кровати, положил подбородок на холодный железный прут решётки и стал слушать... Опять мама, кажется, плачет?.. Дураки какие!..

Ваня перелез через решётку на стул, со стула на пол. Постоял на коврике. Мама не велит голыми ногами на пол... Можно заглянуть и опять убежать и лечь. И отвернуться к стенке...

Ваня подошёл к дверям, приоткрыл одну половинку и стал смотреть. Хорошо, что он стащил одеяло: ноги на одеяле и завернуты снизу: простудиться нельзя... Все дяди — в Алёшиной комнате. Один дядя сидит за столом и пишет. Алёша стоит спиной, наклонился, и около головы его прыгают волосы, которые Алёша то и дело поправляет рукой.

— Скажи, Алексей! — просит мама.

— Не скажу... Не могу, мама!..

...Ай-ай-ай!.. Маму не слушается... А мама плачет... Какой озорник Алёша: не хочет послушаться мамы!.. И дядя просит... Сердитый дядя... А Алёша его не боится... Алёша никого не боится!.. А у офицера на ногах звенят эти штуки... Когда Ваня вырастет большой, он поступит в офицеры и у него тоже будут на ногах эти штуки... Точно колокольчики!..

Зачем они прощаются? Мама с Алёшей?

— Мамочка! Не плачь! — шепчет Ваня, и красные пухлые губки ребёнка кривятся и дрожат. И няня наклонилась и плачет...

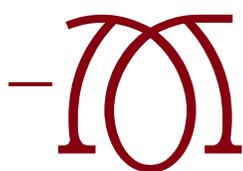
— Простись с Ваней!.. — говорит мама, а сама плачет.

Ваня вздрогнул и, путаясь ногами в одеяле, побежал к кровати. От волнения он не может влезть на стул: одеяло мешает, волочится... А они идут... Слава Богу, успел! Лежит, закрыл глаза, а ноги голые: не успел поправить одеяло... Идут... Звенят колокольчики: вместе с дядей идут...

— Прощай, Ванька!..

Ваня почувствовал на своей щеке Алёшины губы и вздрогнул от горячей капельки, упавшей ему прямо на ушко... Мама выбежала из комнаты, потом пошли Алёша и дядя. Ваня посмотрел в решётку и опять увидел только Алёшину спину, на мгновение мелькнувшую в дверях... Все ушли. Тихо стало... Зачем поцеловал его Алёша? Разве он куда-нибудь уезжает?

II



Мама! Куда увезли Алёшу?

— Далеко...

— Его увёз дядя с усами?

— Да.

— Который бросил на пол мою лошадку?

— Да...

— Зачем его увезли? А?

— Потом узнаешь, голубчик...

— Скажи теперь!.. Мамочка!

— Теперь не поймёшь, мальчик.

— Пойму, мама!.. Ну, мама же!..

Часто Ваня приставал к матери с такими вопросами. Мать говорила странно, непонятно, опускала низко голову, вздыхала и всё что-то прятала от Вани в своём сердце...

На дворе, где играл Ваня после обеда, дети из других квартир объясняли ему про Алёшу:

— Его увезли в чёрной карете.

— Зачем? Какая это чёрная карета?..

— Казнить его будут!..

— Врёшь, не будут! Он скоро приедет домой... Мама говорит, что он...



- Никогда не придет.
- Дворник говорит, что твой брат социалист!
- Врёшь!
- Таких увозят в чёрной карете и казнят...

Ваня изо всех сил защищал на дворе брата. Но трудно было переспорить: их много, а он — один. И всегда споры об Алёше на дворе кончались слезами. Ваня прибежал домой с красным, мокрым от слёз лицом и бежал прямо к матери:

- Мапочка! Они говорят, что Алёша никогда... никогда...
- Не говори с ними!
- Они говорят, что Алёшу казнят... Мапочка!.. Скажи мне. Врут они? Да?

Мать успокаивала Ваню, но когда он переставал плакать и начинал снова спрашивать про Алёшу, мать опять опускала голову и опять — Ваня это чувствовал — что-то прятала от него в своём сердце...

- Ты сама врешь чего-то. А говоришь — не надо врать...

Однажды вечером Ваня увидал, что мама стоит перед раскрытым чемоданом и укладывается... В руках у матери была Алёшина куртка, поэтому Ваня догадался.

- Ты чего делаешь?
- Так...
- А зачем Алёшина куртка?.. А-а! Знаю, знаю!.. Ты к Алёше поедешь?.. Да?
- Да, поеду...
- А хотела обмануть... Какая ты!.. О чём же ты плачешь?
- Так... Поцеловать его от тебя?
- Поцелуй! Скажи ему, что дворников Васька обругал его социалистом, а я ему за это морду побил...
- Не надо, Ваня...
- А-а! А зачем он Алёшу ругает?! Вот то-то и есть! Смеёшься, а сама плачешь!..

Уехала мама. Стало тихо и скучно в комнатах. Домовничала тётя Саша. Тётя ходила по комнатам медленно, какая-то тусклая и усталая, куталась в серый платок, останавливалась перед портретом Алёши и подолгу разглядывала его. Потом она отходила и смотрела в окно. И Ваня видел, как в сумерках вечера в руке у тёти мелькал маленький беленький платочек...

- Ты что, тётя?.. А?
- Ничего...



- А сама плачешь!..
- Нет. Насморк у меня, Ваня.
- Врёшь... Я видел. Ты о чём?
- Скучно...
- Без мамы?.. Без мамы и без Алёши скучно... Тебе жалко

Алёшу?

- Жалко...
 - Он, по-твоему, хороший?
 - Хороший...
 - А за что его в тюрьму?
 - Как в тюрьму? Кто тебе это...
 - Не притворяйся!.. Сам дворник сказал...
- Оба они стояли у окна. Молчали.
- Ваня! Не ковырай обои!
 - Пойдём, тётя, в Алёшину комнату! Хочешь?
 - Да...

Они шли в Алёшину комнату. Зажигали Алёшину лампу и сидели на Алёшин диван. Маленькая комната. На стене гитара, студенческая тужурка, на столе красная промокательная бумага вся в буквах и чернильных пятнах, кусок черепа с окурками папирос... Это — Алёша курил.

— Тётя! Смотри — петушок! Это Алёша нарисовал... Я сидел у него на коленях, а он рисовал...

Тётя внимательно рассматривала промокательный лист на Алёшином столе, словно хотела что-то отгадать по чернильным знакам; потом, подперев голову, застывала в раздумье и переставала слышать, что говорит Ваня...

- Тётя же! Ты не слушаешь!
- Что?
- Мама отнимет у них Алёшу?..
- Может быть...

Потом они укладывались на Алёшину кровать... Тётя гладила Ваню по курчавой голове и молчала, а Ваня болтал. Он фантазировал всё на ту же тему: как он вырастет большой, сделается офицером и придёт к ним...

...Они испугаются, побегут... Только нет! Не убежите от меня!.. Будут просить прощенья... Не надо, тётя, прощать? Тётя же!

- Что, голубчик?
- Не прощать их? Правда — не стоит?..
- Не знаю...



— Больно нужно — прощать таких!.. Нет, ни за что не прощу. Посмотри: Алёша забыл гитару с собой взять!.. И мама забыла ему отвезти... Когда Алёша приедет?.. Скоро?

— Скоро уж...

— На Пасху?

— Пожалуй...

— Если они его на Пасху не отпустят, я им задам...

И опять Ваня фантазировал...

...Зачем увезли Алёшу?.. Алёша их не трогал... Мама из-за них всё плачет... Вот вам! Вот! Вот!

И Ваня с озлоблением колотил подушку крепко сжатыми кулаками...

III

Вернулась мама... Обнялись с тётёй Сашей и стали обе плакать... Потом перестали плакать, сели на Алёшину кровать, опустили обе на грудь головы и долго молчали... И Ване хотелось плакать... Верно, что-нибудь случилось с Алёшей...

— Я тебя, мама, не узнал... Ты вошла, а я думал — чужая...

— Тебе, мальчик, пора уже спать...

— Почему ты прицепила к шляпе чёрный хвост?

Не говорит...

— Ты стала как старуха: вся в чёрном...

Не говорит...

— Видела Алёшу?

— Да... — прошептала мама и пошла в другую комнату.

— Куда ты?..

— Сейчас...

Ваня посмотрел на тётю Сашу, подошёл к ней и заглянул в глаза. Тётя молча схватила его на руки и крепко прижала к себе...

— Ой! Больно, тётя!.. У тебя тут булавка!

Помолчали.

— А мама?..

— Ей нездоровится... Она очень устала. Ложись спать... Я тебя раздену...

— А поцеловать?

Ваня любил, чтобы, когда он ляжет спать, мать пришла к нему, поцеловала, погладила по спинке и хорошенько подоткнула под ноги одеяло.

— Я тебя сегодня поцелую.

— А мама?

— Мама уж с завтрашнего дня...

— Видишь, какая ловкая!.. Я хочу, чтобы мама...

— Я скажу ей... Может быть, она тоже придёт.

— А что она делает? Зачем она затворилась там?.. Знаю, знаю!

Не обдуешь! Я видел в щёлочку: она молится там Богу! Верно, Алёша захворал?..

— Да. Захворал. Очень сильно захворал.

— Не умрёт он, тётя!

— Бог даст выздоровеет... Пойдём!.. Пора, голубчик... Слышишь, бьёт девять?

— Не знаешь, мама не привезла мне нового коня?.. Она обещалась... А почему от нас ушла нянька? И пусть! Она скверная, потому что ругает Алёшу...

Так и не пришла в этот раз мама поцеловать Ваню. А он ждал... Горела по-прежнему в углу красным огоньком лампадка... Точно живая: шевелится, и огонёк дрожит на иконе... Нянька называла лампадку «Божий глазок»... Везде сегодня зажгли лампадки: и в Алёшиной комнате, и в зале... Алёша никогда не зажигал, а они взяли да и у него тоже зажгли... Алёша рассердится, когда приедет домой...

Тётя раздела, перекрестила и поцеловала Ваню.

— Погладь спинку!.. А одеяло?.. Под ножки засунь его!..

— Так?

— А мама? Вели ей снять со шляпки чёрную ленту... Точно старуха какая...

Кто-то ходил ночью по комнатам. Тётя спала в детской: она всё возилась и вздыхала, а там, в Алёшиной комнате, кто-то плакал и шептался... Верно, мама... Что она не спит?

— Мамочка! — шёпотом позвал Ваня. Повторил ещё раз. Если после трёх раз мамочка не придёт, значит, нечего и ждать...

— Мамочка!

Не придёт... Страшно что-то... Очень тихо, и всё кто-то ходит осторожно, словно крадётся на цыпочках...

— Бум!

Вздогнуло сердце: пробили часы и как-то странно пробили, очень громко, точно колокол на церкви...

Часы как живые... Точно стучают молотками в кузнице, в деревне... Стучают, стучают, стучают, а потом — бум! Точно они



знают, сколько отстукали времени, и говорят об этом людям... Как они знают это? Кто придумал часы?... У Алёши были часы с крышками... Подавит шишечку, они и откроются... Алёша теперь, наверно, не спит: когда хвораешь, то бывает очень жарко и всё хочется пить... И наверно, стонет он. Когда хвораешь, то стонешь... Мама молится Богу. О чём? Чтобы Алёша выздоровел... Бог всё может сделать. Ему только помолиться, и Он сейчас же пошлёт белого ангела и тот всё устроит... Ваня присел в кровати, почесался и посмотрел на «Божий глазок»... Смотрит Бог на Ваню... Это не сам Бог, а Иисус Христос... Сам Бог старик, а Иисус Христос молодой... Он добрее. Он любит детей... Нянька говорила, что когда Он встречал уличных мальчиков и девочек, то брал их на руки и сажал к себе на коленки... Он очень добрый!..

— Иисус Христос! Сделай, чтобы Алёша выздоровел!.. Милый Иисус Христос! Скажи Своему папе, чтобы он не сердился на Алёшу... Алёша очень хороший мальчик!..

Ваня несколько раз крестился и потом кланялся очень низко. Последний раз он упёрся головой прямо в подушку и притих: заворочалась тётя... Ещё увидит, как он молится!.. Ваня смотрел боком на тётину кровать, а сам молился про себя:

— Пусть Алёша выздоровеет, а те пусть захворают и умрут... Алёша их не трогал, а они его посадили в тюрьму... И пусть они умрут... Им так и надо...

Хорошо, очень удобно было молиться в таком положении — головой в подушку...

— Милый Иисус Христос! Пусть я скорей вырасту большой и сделаюсь очень сильным... Сильнее дворникова Васьки!.. И очень храбрым, как богатырь... Тогда я им задам... Помилуй маму, и меня, и Алёшу, дай папе царство небесное, а им пусть... пусть они — в ад... Пусть там живут вместе с чёртом... Пусть в огне мучаются, а пить им пусть не дают...

Долго молился Ваня... Он придумывал им в аду всякие неприятности и мучения, про которые ему рассказывала нянька... Да так и уснул с воткнутой в подушку головой... И приснился Ване отличный сон: будто он стоит за воротами, а мимо чёрный мохнатый чёрт ведёт всех их в ад. Руки у них связаны верёвками, а на ногах звенят железные цепи, как у арестантов, а чёрт с длинной палкой идёт позади и кричит на них, чтобы шли скорее. Будто Ваня испугался мохнатого чёрта и спрятался за калитку, а мохнатый чёрт крикнул ему:

— Не бойся! Тебе ничего не будет!

Тогда Ваня вышел опять за ворота и закричал:

— Куда их?

— В ад их! Бог велел их в ад!.. — крикнул Ване, оглянувшись, мохнатый чёрт...

— Ага! Я говорил тебе, Васька!.. Чья правда?.. Вот то-то и есть!

IV

Пришла полиция. Принесли Алёшину корзину. Две полиции: один важный, а другой — будочник. Ваня смотрел в щель приоткрытой двери, и в его маленьких глазах сверкала большая злоба... Опять пришли! Чего им ещё надо? И было страшно, и хотелось очень закричать, чтобы убирались вон... А мама с ними разговаривает... Подали ей какую-то бумагу и заставили её чего-то писать. Рука у мамы дрожит и шевелятся губы... А они говорят про Алёшу:

— Бельё по описи, книги, пальто, тужурка...

Мама махнула рукой и отвернулась к стене... Когда они ушли, мама остановилась около Алёшиной корзинки и долго смотрела на неё, потом встала около корзинки на колени и положила голову на крышку...

И заплакала...

Ваня убежал в детскую. Он не знал, отчего вдруг ему захотелось тоже плакать. Спрятал голову в кресле и разрыдался. И оба они плакали: мама в передней, около Алёшиной корзинки, а Ваня в детской... Тётя приходила к Ване, гладила его по голове, но ничего не говорила: она только вздыхала и ласкала Ваню.

Мама в этот день не обедала: Ваня только вдвоём с тётей сидели за столом и говорили шёпотом:

— Мамочка кушать не будет? Почему?

— Нет, не будет.

— Она захворала?

— Да.

— А зачем они принесли Алёшину корзинку? Значит, и Алёша скоро приедет?.. Тётя!.. Скоро?

Приезжал доктор лечить маму. Наняли новую кухарку, а няньку не наняли. И не больно нужно: маленький он, что ли?.. Все говорили шёпотом и ходили тихо, словно боялись разбудить кого-то... Вечером Ваню пустили к маме. Она лежала на постели, а на столике

около неё было лекарство с жёлтыми бумажками и стоял Алёшин портрет... Мама стала худенькая-худенькая и говорила тихо-тихо...

— Ты кушал?

— Кушал... И молоко пил... Зачем Алёшу тут поставила?

— Соскучилась...

Как-то неловко было Ване: он конфузился и не знал, про что разговаривать с мамой. Сидел на кровати и смотрел на мамину руку. Мамина рука лежала у него на коленях, и он перебирал мамины пальчики...

— Все хворают: и Алёша хворает, и ты хвораешь... И Васька дворников не играет на дворе, потому что простудился и умрёт. Так ему и надо: он говорит, что Алёшу казнили...

Тётя схватила вдруг Ваню на руки и унесла в другую комнату. И он не протестовал и не просился назад к маме... Что-то пугало его в этой притворённой комнате, где лежала больная мама... Что-то таилось там, в этой комнате, невидимое, и как-то страшно смотрела мамина дверь с изломанной ручкой...

Вечером тётя ходила погулять с Ваней. Заходили в церковь к вечерне. В церкви было совсем пусто: только батюшка, дьякон да дьячок, да ещё нищенки, старенькие старушки. И огоньков было мало... Скучно было, темно, и не хотелось долго стоять...

— Будет уж! Пойдём!

Ваня тянул тётю за платье, а она не обращала внимания, молилась и даже вставала на коленки... А раньше никогда не вставала...

— Будет уж, помолилась!.. Вон идёт с кружкой! Дай я положу денежку!

Тётя дала пятак. Прошёл мимо, верно, не думал, что Ваня даст пятак... Ваня догнал его и положил пятак в кружку... Стукнул даже пятак в кружку. Который собирал деньги, поклонился Ване... Рад, что Ваня дал пятак!..

— Будет! Пойдём прикладываться!.. Вот туда, где Иисус Христос!..

Опять Ваня вспомнил про Алёшу и про сон, который тогда приснился, с чёртом-то!.. Тётя подняла Ваню, и он крепко поцеловал Иисусу Христу то место, где осталась на ножке у него дырочка от гвоздика...

«Не забудь же, милый Иисус Христос!» — подумал Ваня, а когда тётя поставила его на пол, ещё три раза перекрестился и поклонился Иисусу Христу, шаркнув ножкой.

Когда шли домой, встретили полицейского.

— У-у, противный! — прошептал Ваня...

— Ваня! Разве хорошо?..

— Хорошо!

— Ай-ай!.. Мама узнает, будет сердиться...

— И не будет!..

— Он тебе не мешает, а ты...

— А вот и мешает!..

— Нельзя. За это могут схватить и посадить в полицию...

— И пусть!.. И не боюсь!.. А зачем они... В ад попадут... Все они!.. И слава Богу!..

С тех пор как увезли Алёшу, Ваня и боялся, и ненавидел полицейских; в каждом из них он узнавал одного из тех, которые приходили ночью за Алёшей...

— Вот этот в игрушках у меня шевырлялся... У-у!.. Какой гадкий!

— Почему ты думаешь, что — этот!

— Ага! А усы-то?! Я уж заметил...

— У всех усы...

— Ага! Не такие!.. Меня не обманешь... Знаю я...

V

Мама хворала. Приезжал доктор, поднималась суматоха, и нарушалась обычная тишина в комнатах. Носили лёд, воду, белые простыни, бегали в аптеку, стучали дверями. И никому не было дела до Вани. Про него забывали. Тётя спала теперь с мамой, а с Ваней спала новая кухарка. Ночью она храпит и только хуже — пугает. А то вдруг, растрёпанная, точно старая колдунья, подбежит босыми ногами к кровати и выхватит Ваню.

— Чего тебе?

— Садись!

— Не хочу я...

— Садись, садись!.. Обмочишься...

— Дура какая... Я не маленький...

— А ты не лайся! Забастовщик!..

Посадит, а сама опять кувырк на тюфяк... И опять захрапит... Вот какая она!.. И ничего не поделаешь. Сидит Ваня и дремлет... Голова ниже, ниже... И вздрогнет, очнётся вдруг.

— Кухарка! Вот какая... Храпит сама...



Встанет и полезет на стул, а со стула в кроватку... А кухарка вдруг вскочит и бросится:

- Где ты?.. А... Лёг уже... Сделал?
- Убирайся! Говорят тебе, не хочу!.. Я вот маме скажу!
- Мать помирает, а он – маме! Грубиян!..
- Не ругайся, говорят!

Было обидно, а главное, делалось страшно, что умрёт мама. И Ваня, уткнувшись носом в подушку, потихоньку мусолил её слюнями...

– Спокою от вас, висельников, нет... О Господи милостивый! Прости им, окаянным! – шептала кухарка и опять начинала храпеть...

Днём, когда все забывали про Ваню, он играл в детской и шёпотом разговаривал с игрушками, потому что жалел маму и старался не шуметь.

Оловянные солдаты изображали полицейских. Он ставил их на полу на коврик, а сам вооружался жестяной саблей.

- Где Алёша? – сердито спрашивал он.
- В тюрьме сидит, – шёпотом же отвечал он за полицейских.
- Вот что?! В тюрьме? Сейчас же отпустите! Слышите?..
- Не пустим...
- Последний раз спрашиваю! Отпустите?
- Нет.
- Нет?
- Нет.
- Так вот же! Вот! Вот!..

И солдатика летели под взмахами сабельных ударов в разные стороны.

Один из солдатиков, с чёрными усами, был особенно отмечен у Вани: это тот самый, с усами, который увёз Алёшу. Этого солдатика Ваня поднимал с полу и производил над ним особую расправу.

- Поди сюда!.. Ага!.. В тюрьму!

В чёрной коробке из-под игрушек была тюрьма, и туда бросал Ваня этого солдатика с усами.

– Хорошо тебе? – спрашивал Ваня, заглядывая в прорезанное окошечко. – Скучно? Ага! А Алёше, думаешь, весело?..

В старом альбоме была Алёшина карточка: на ней Алёша снят ещё гимназистом. Ваня вытащил эту карточку из альбома, и она изображала самого Алёшу. Алёша тоже сидел в коробке, и когда

туда попадал солдатик с усами, то солдатик этот начинал плакать и просить прощенья у Алёши.

— Приси у Вани!.. Я не могу... Как он захочет, так и будет! — говорил Алёша.

Затем Ваня вынимал из тюрьмы Алёшу, целовал его и клал себе под подушку.

— Может быть, Ваня, выпустишь его? — просил Алёша.

— Его? Больно нужно!..

Под кроватью был готов ад. Чёрт тоже был готов: изломанная обезьянка, которая раньше ползала по верёвочке, теперь превратилась в чёрта и сидела около ножки кровати, широко растопырив ноги.

— Иди в ад! К чёрту!.. И вы все! Все! Все!

Ваня загребал ногой разбросанных по полу солдатиков и швырял их под кровать. В этих играх Ваня забывал о том, что мама всё хворает, не поправляется и что Алёша не возвращается домой. На время горе забывалось и казалось, что всё устроилось хорошо: Алёша — под подушкой, дома, мама — здорова, враги наказаны и заключены в ад... Наигравшись, Ваня ложился спать и всегда с благодарностью смотрел на «Божий глазок» перед Иисусом Христом... Теперь Ваня очень сдружился с Ним и поминутно разговаривал и советовался.

— Мама выздоровеет? Да?

— Выздоровеет...

— А Алёша?

— Приедет.

— Когда? На Пасху? Когда Ты воскреснешь?

— На Пасху...

Иногда кухарка заставляла Ваню на этих разговорах:

— С кем ты тут?

— Не твоё дело!

— А что Христа-то поминаешь? Нехорошо это...

— Какое тебе дело? Не с тобой ведь!

— Безбожник!

— А ты дура! И отвяжись!

Когда тётя давала Ване пирожного, он разделял его на две части: одну съедал, а другую клал на окно, ближайшее к иконе.

— А это Тебе!.. Если ночью не съешь, значит, не хочешь...

Утром, очень рано, Ваня смотрел из кроватки на подоконник.

— Не хочет! — шептал он и вылезал из кроватки, чтобы достать вторую половину и съесть её, лёжа в постели... Ваня знал, что Бог



не ест пирожного, не обедает и не пьёт чаю, но он упорно оставляя на окне половину лакомства, уверенный, что Иисусу Христу приятно видеть, как любит Его Ваня и какой он добрый мальчик.

Была у Вани ещё одна любимая игра. Было у него хорошее ружьё, которое подарил ему Алёша на именины. Долго пропадало это ружьё, а теперь нашлось: новая кухарка мыла полы, передвигала мебель и вытащила ружьё из-под комода. Отличное ружьё! Слава Богу, что нашлось. С курком, со штыком, стреляет пистонками очень громко, словно настоящее. Ваня был уверен, что тогда, ночью, когда шевырялись у него в игрушках, тот, с усами, утащил ружьё... Оказывается — не утащил. А может быть, и утащил, а Иисус Христос сделал так, что оно нашлось под комодом... Ну-ка посмотрим теперь!..

— Будет тебе палить-то! Не велит тётя: мать пугается...

— Ну, я буду так, без пистонов!..

Это было всё равно: вместо выстрела стоило только сказать: «Трах» — и неприятель валился.

— В кого это ты? Никак в людей?

— А тебе какое дело? Уходи, а то... — угрожал Ваня, прицеливаясь в кухарку.

— Разбойник. Чистый разбойник растёт!

— И пусть!

— Эх ты! Весь по брату! По его дорожке... Висельники!

— А ты дура!

VI

— Т

ётя! Я хочу к маме!

— Погоди... Нельзя.

— А когда?

— Когда будет можно...

— Ей лучше?

— Лучше.

— А почему не пускаешь?

— Спит она... Нельзя её будить...

— У тебя всё спит!.. И вчера, и сегодня... и всегда...

А в кухне кухарка разговаривала с какой-то бабой и сказала ей, что Ванина мама скоро умрёт...

Ваня притих. Он не верил ни тёте, ни кухарке. С тревогой в сердце, с испуганными глазами прислушивался он, стоя то у двери

в кухню, то у дверей в мамину комнату. В кухне говорят, что мама не доживёт до Пасхи, а что делается в маминной комнате — нельзя узнать... Очень тихо там. Тикают часики, иногда кто-то ходит на цыпочках, брякает пузырьком, иногда точно кто-то вздохнёт. Не слышать маминого голоса, а тётя говорит шёпотом... Хоть бы услышать мамин голос!.. Милая мамочка! Как он соскучился по милой мамочке!

— Бог её наказывает... за детей-то!.. Старший-то изверг был, да и этот тоже: маленький, а чисто разбойник! Ванька-то! Народила идиолов...

— Ты меня не смеешь Ванькой называть!

— А ты что тут, у дверей, болтаешься? Подслушиваешь?

Ваня отходил от двери и тихо брёл по тёмному коридорчику к маминной комнате. Что это? Мама стонет? Да!.. Ваня прижимался щекой к закрытой двери и слушал, как стонет мама. И каждый стон её отзывался у него в сердце, прыгали с ресниц слезинки, и он плаксиво шептал:

— Мамочка, не стони! Мамочка, не стони!

Однажды тётя отворила дверь и ушибла Ваню.

— Ах, Ваня! Зачем ты...

— Мамочка! Милая моя мамочка! Я хочу к тебе!

— Иди, мой милый!.. — чуть слышно ответила мама. Тётя взяла Ваню за руку, и они вошли. Какая стала мама! Худенькая... Непохожа стала на маму... Ваня целовал маму, а сам испуганными глазами смотрел на её лицо, на белые потрескавшиеся губы, на острый нос и прилипшие к вискам пряди седых волос... Руки с длинными-длинными пальцами лежали на груди, поверх одеяла, а глаза, большие и тёмные, ввалились и смотрят, словно чужие, не мамочкины глаза... Мама улыбнулась и закрыла глаза, а слезинки покатались у неё, одна за другой... Одна слезинка долго держалась на седом волоске и потом пропала...

— Тебе больно?

Мама чуть-чуть кивнула головой...

— Ты на Пасху выздоровеешь?

Опять мама шевельнула головой и опять улыбнулась, не раскрывая крепко сомкнутых глаз.

— Хоть бы скорее Пасха!.. Тебе нельзя, мамочка, говорить?

— Нельзя, Ваня! — прошептала мама и раскрыла глаза. И в этих глазах было что-то страшное, испугавшее Ваню... Мама смотрела



на него очень пристально, и не было в глазах у неё ласки и доброты, к которым привык Ваня...

— Алёша умер. Нет Алёши... — прошептала мама, и большие страшные глаза снова сомкнулись...

Ваня сполз с кровати и стоял молча, с опущенной головой...

— Ваня! — тихо шепнула тётя и потрогала его за плечо.

Ваня поднял глаза на тётю. Та кивнула на дверь, и Ваня понял: тихо, на цыпочках, вышел он из комнаты и так же тихо, на цыпочках, дошёл до детской. Значит, на дворе говорили правду, что Алёша никогда не приедет... Алёша никогда не приедет... Никогда!.. И на Пасху не приедет... Ваня робко поднял глаза на Иисуса Христа и сейчас же опустил их... В первый раз Ваня не поделился с Иисусом Христом своими мыслями об Алёше... Он стоял у стены и обрывал клочки обоев, бросал их на пол и угрюмо смотрел в стену. Потом ещё раз поднял взор на Иисуса Христа и, опустив голову, прошептал:

— И не буду Тебя любить...

Так вышла первая размолвка с Иисусом Христом. В этот день Ваня не хотел с Ним разговаривать и не смотрел на «Божий глазок». Но он всё время его чувствовал... Там, вверху, горела лампадка, блестела золотая риза иконы и доброе лицо Иисуса Христа смотрело оттуда на Ваню, а рука — благословляла его... Всё было по-прежнему, но что-то случилось непонятное и неожиданное, чего не могло бы случиться, если бы там, вверху, не захотел кто-то... Ваня не желал туда смотреть и упорно избегал весь передний угол. И когда лёг спать, то переложил подушку на другой конец постели.

— Что ты, Ваня? Зачем это? — спросила тётя.

— Там свет — в глаза... спать мешает...

Засунув под подушку руку, Ваня нащупал Алёшин портрет и крепко зажал его... Думал про Алёшу и вспоминал, какой он был. И никак не мог вспомнить: вставала в памяти та ночь, когда увезли Алёшу из дому, и Алёша всё время рисовался стоящим у стола, спиной к Ване, и только видно было, как две пряди волос, отделившись, покачивались около его головы, а он поправлял их рукою... Потом вспомнилось, как Алёша поцеловал его и как Алёшина слеза упала на Ваню и защекотала ему около уха, и как, когда Ваня раскрыл глаза и посмотрел, в дверях комнаты промелькнула опять только спина Алёши... Какой был Алёша? Ваня вынимал из-под подушки карточку и долго рассматривал её... Непохож Алёша! Тут гимназист, гладко остриженный и весёлый, а Алёша был студент —

невесёлый, худой, и волосы у него были большие. Ну, всё равно: всё-таки это Алёша! Ваня целовал карточку и снова засовывал её под подушку:

— Спи! В раю увидимся!

И Ваня думал о том, как устроен рай... Ад он отлично представлял себе, а вот рай всё как-то не выходил в его воображении. Вставали в голове раскрашенные картинки тропических лесов из Майн Рида, из «Робинзона Крузо», из разных сказок, а рай не выходил... Нет, в раю не так! Вспоминалось синее небо, длинная дорожка белых, как ватка, облачков, позолоченных по краешкам... Может быть, там, в раю, такая же синяя земля и белые дорожки, как весной на небе?.. А какие деревья?.. Цветы?.. Травка?..

Храпит кухарка... Мешает думать! Уж, наверно, она не попадёт в рай... Такая злая баба, ругается, врёт всё... Разве можно таких в рай?.. Там все добрые, ласковые такие и умные. Дураков туда не пустят... Вот Алёша — там!.. Это уж наверно! Алёша был добрый и очень умный! Очень умный! Всё знал Алёша, чего ни спросишь... Пожалуй, Алёша умнее мамы даже. В другой раз спросишь маму, как делают стекло или как книгу делают, или что-нибудь другое, а мама посылает к Алёше... Конечно, Алёша всё знает... И мама умная, а всё-таки...

— Спи, Алёша! В раю увидимся...

Однажды Ваня увидел во сне рай. Утром, проснувшись, он старался припомнить, как устроен рай, но не мог... Осталось смутное воспоминание о чём-то светлом, радостном, голубом и зелёном, золотистом, розовом; кажется, играла там какая-то необыкновенная музыка, а может быть, не играла, а только теперь кажется, что играла... Забыл, не припомнишь весь этот сон, этот удивительный сон, от которого и теперь так хорошо-хорошо и немного грустно... Отчего грустно? Ах да, вспомнил! Ваня видел в раю издали Алёшу, звал его, но Алёша был далеко, не слышал и не обернулся... Так Ваня и не видал Алёшиного лица, а видел опять только Алёшину спину — Алёша и ещё кто?.. С ним рядом? Вспомнил! Рядом шёл Иисус Христос и разговаривал с Алёшей, как на картинке в «Законе Божиим». Значит, Иисус Христос любит Алёшу...

Ваня мельком взглянул на «Божий глазок» и прошептал:

— Милый Иисус Христос!.. Я так и знал!..



VII

— Вставай! Померла мать-то!..
— Не ври!
— Поди погляди: в зале на столе лежит...
Кухарка ушла. Ваня лежал и боялся шевельнуться. Из-под одеяла была видна только одна голова Вани. Он неподвижно смотрел в потолок и прислушивался. Опять стучали двери, ходили по комнатам, говорили незнакомые голоса. Опять была в комнатах суматоха, как в ту ночь, когда увезли Алёшу... Несколько раз Ваня вздрагивал от звонков в передней; звонки эти после продолжительной подчёркнутой тишины в комнатах теперь казались особенно громкими и странными, полными тревоги и зловещего предзнаменования... А мама?.. Почему мешают спать маме, а тётя позволяет это? Кто это шагает? Ваня закрылся с головой и затаил дыхание. Пусть лучше ничего не говорят ему про маму! Не надо ничего говорить про маму!

Кто-то идёт, ближе, ближе, — и всё страшнее делается Ване. Вот кто-то трогает одеяло... Ваня с ужасом раскрыл глаза: стояла тётя с красными опухшими глазами...

— Вставай! Надо одеваться...

— А мама?..

— Мама...

— Она... мама... живая?..

— Умерла мама...

Ваня перевернулся вверх спиной и спрятал голову в мягкой подушке... Тётя ласково гладила его по спинке, а он не шевелился...

— Теперь маме хорошо: она перестала страдать...

Ваня не шевелился.

— Теперь она заснула и ей не больно... Теперь хорошо ей...

Ваня не шевелился...

— Давай одеваться... Пойдём к маме... Поцелуешь маму... Хорошо?

Тётя осторожно подложила руки под Ваню и хотела приподнять и посадить его на постели. Ваня крепко держался обеими руками за подушку и отбивался ногами... Тётя вздохнула и присела на стул около кровати... Кто-то ходил в зале, и потом вдруг послышалось монотонное чтение, как в церкви...

— Теперь маме очень хорошо... Она уйдёт к Богу и увидит там Алёшу...

— А я? — глухо спросил Ваня...



— Будь умным добрым мальчиком, и тогда...

И вдруг Ваня бросил подушку и сел. Утирая кулаком слёзы, он посмотрел на тётю и шёпотом сказал:

— А она меня не поцеловала на прощанье. А когда ещё мы на том свете увидимся!.. Вот она какая!..

На кресле лежали новая курточка и новые штанишки, и всё это было чёрное...

— И ты в чёрном вся, и я в чёрном... Точно старики какие... — говорил Ваня около умывальника.

Потом тётя помогала Ване одеваться, а он не давался:

— Сам я!.. А она... мама — где?

— В зале...

Ваня торопился. Надо поскорее к маме. Она хоть и умерла, а, наверно, ждёт, чтобы Ваня пришёл поздороваться... Сперва Ване хотелось плакать, а теперь он сделался спокойным и тихим... Забыл почистить зубы! Надо хорошенько, щёткой и порошком. Мама любит, чтобы зубы блестели... И чтобы в ушах было чисто!.. Долго причёсывался с макушки на лоб и гладил волосы рукой, муслил и гладил: вихор торчит, не слушается...

— Выпей сперва чаю с молоком!

— Нет! Сначала к маме!..

Чистенький, свежий, в новой курточке, с приглаженной головкой, тихий такой и серьёзный, Ваня несмело вошёл в зал. Мама на столе. Около головы её горят свечи с золотом в высоких подсвечниках. Руки сложены на груди. Монашенка стоит за высоким столиком и читает что-то маме. Тётя осталась позади, а Ваня приблизился к маме.

— Милая мамочка... — прошептал он, приподнимаясь на цыпочки. — С добрым утром!

Не достанешь маминого лица. Ваня оглянулся на тётю. Та подошла, приподняла его, и он поцеловал маму в лобик... Холодный лобик... Глазки у мамы не совсем закрыты: чуть-чуть видны они под опущенными ресницами... Словно мама шалит: закрыла глаза, а сама потихоньку подсматривает...

Ваня обошёл кругом мамы. Постоял в ногах. И личико у него было серьёзное-серьёзное, как у большого.

— Ну, пойдём пить чай! — тихо сказал он, подходя на цыпочках к тёте.

— Я приду опять! — сказал он, обернувшись к маме, и кивнул головой.

Пил он чай с булкой и с молоком — и чай был такой же вкусный, как всегда. Думал о маме, и смерть мамы не казалась ему теперь страшной, не пугала его. Лежит мама в зале, будто спит... Вот сейчас он допьёт сладкий чай и опять пойдёт к ней. Раньше она стонала, а теперь ей не больно, теперь ей всё равно.

И пока мама лежала в зале, сперва прямо на столе, а потом в серебряном гробу — Ваня был спокоен. Мама тут... Ночью он прислушивался к монотонному чтению монашенки и думал, что маме не страшно лежать в зале, потому что там она не одна... Пусть спит, а утром он опять придёт к ней... От мамы его мысль переходила на Алёшу: скоро они увидятся там, в раю... Им не будет скучно... Алёша обрадуется маме, очень обрадуется. В раю хорошо, очень хорошо, но лучше, если там быть вместе с мамой...

Мама, верно, хотела поскорее умереть, потому что один раз она сказала:

— Не надо доктора... Лучше скорей умереть.

Ваня слышал это, когда в первый раз тётя послала за доктором.

Если бы Алёша был дома — мама не захворала бы и ей не хотелось бы поскорее умереть... Конечно, она хотела... Она часто плакала об Алёше. Она очень соскучилась о нём.

Мама увидит там Алёшу, а он не увидит больше ни мамы, ни Алёши... Только в раю ещё!.. А когда это будет? Не скоро...

И опять мысль наталкивала Ваню на тех, которые увезли Алёшу... Всё из-за них! Пришли, увезли Алёшу, и он умер... Расстроили бедную мамочку, и она тоже захворала и умерла...

— Дай Бог вам самим умереть! — шептал Ваня, и опять в его маленьких глазах сверкала большая злоба...

«Ах вы!.. Проклятые!.. Вот я вырасту большой, тогда... — думал Ваня, стоя около мамочки, и мысленно утешал её: — Не плачь! В раю увидимся...»

VIII

То вечерам, когда Ваня приходил перед сном прощаться с мамочкой и всматривался в её лицо, ему казалось, что мама — живая; нагоревшие свечи с шевелящимися языками жёлтого пламени бросали на лицо покойной вздрагивающие тени, и от этого казалось, что мамочка шевелит губами и собирается плакать...



— Спокойной ночи, мамочка!.. Завтра опять приду...

— А ты помолись! — наклоняясь к хмурому личику Вани, шептала тётя Саша. Ваня, не поднимая головы, часто-часто крестился и неслышно шептал что-то губами. О чём он молился?..

Утром в день похорон, когда Ваня пришёл по обыкновению поздороваться с мамой, — у ней в ногах лежал большой венок, очень красивый венок из пальмовых веток, перевитых красной лентой. Может быть, это принёс ангел с неба, которого прислал Иисус Христос?

— Это кто — маме?.. Не ты?..

— Что, голубчик?

— А венок?.. Кто это положил?

— Студенты, Алёшины товарищи...

— Они разве любят нашу мамочку?

— Любят.

— Студенты?..

В это утро на улице, у ворот, стоял катафалк, чёрный с серебряными крестами и кисточками, и лошади тоже чёрные, как игрушечные: торчат уши, и извозчики — чёрные... И было очень много полицейских. Что им надо? Опять они пришли!.. Один важный, с чёрными усами, вошёл в комнаты и долго спорил с тётей Сашей. Сперва они бранились потихоньку, а потом тётя подошла и стала снимать с маминого венка красную ленту. Плачет, а сама снимает...

— Не надо, тётя, снимать!.. Некрасиво будет!..

— Не велят, голубчик...

— Какое им дело? Не надо!

— Нельзя, голубчик...

Ваня понял, что это не велит этот, с чёрными усами... «Проклятый», — шептал Ваня, и ему хотелось сделать этому, с чёрными усами, очень больно...

— погоди же! Иисус Христос тебе покажет, как обижать маму!..

В церкви Ваня стоял всё время с угрюмым серьёзным лицом и не плакал. Когда пришло время — поцеловал маму три раза в лобик и что-то шепнул ей незаметно для других. Только когда покрыли гроб с мамой крышкой и стали забивать гвоздями, Ваня заплакал и закричал:

— Мама! Зачем ты умерла?

Тяжело прошла первая ночь без мамочки. Не приходил к Ване сон. Всё казалось, что в зале читает монашенка или что мама

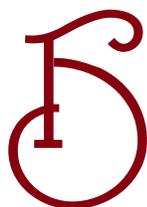
подходит к постельке, чтобы поцеловать Ваню и подоткнуть ему хорошенько одеяло под ноги. Задремлет и вдруг раскроет глаза. И сразу вспомнит, что мамочки в зале нет и не пойдёт он завтра утром к ней поздороваться... И как это вспомнит, ткнётся лицом в подушку и заплачет:

— Мамочка! Зачем ты умерла?!

А из угла, сверху, по-прежнему смотрел «Божий глазок»... Ваня поднимается на локте, поворачивает голову на огонёк и, глотая слёзы, потихоньку упрекает:

— Вот и не любишь меня! Ай-ай! Какой Ты!..

* * *



ыстро летит время — чёрная птица человеческой жизни. Летит, не останавливаясь ни днем ни ночью, и уносит человека с собою к тёмному горизонту, где клубятся печальные облака, без красок, без манящей загадочной глубины, тёмные, скучные, страшные облака, вместе с которыми выползает чёрная ночь небытия...

Унесла чёрная птица отца, унесла мать, унесла Алёшу...

В пятнадцать лет вся жизнь кажется впереди, и незаметно, с какой быстротой летит чёрная птица нашей жизни. В пятнадцать лет не хочется оборачиваться и смотреть, что осталось позади...

Почему же ты, мальчик, такой угрюмый, такой задумчивый и так редко смеёшься?.. Надо быть весёлым, жизнерадостным и доверчиво открыть ясные глаза навстречу жизни... Надо с улыбкой на розовом лице стоять на пороге жизни... Она ведь так прекрасна!..

Всё пройдёт, позабудется, но эти несколько дней прожитой жизни — никогда. Никогда! Вплоть до самой смерти, всё равно — далеко она, смерть, или близко... Чья-то железная рука записала эти дни незалечимыми ранами в памяти и в сердце.

Прошло десять лет, целых десять лет... Но не закрылись раны сердца. Не закрылись! Часто, сидя за книжкой поздней ночью, весь углублённый в чужую жизнь придуманных поэтом людей, Ваня вдруг отрывается от чтения. словно кто-то Невидимый трогает ему сердце и просит о чём-то вспомнить... Медленный бой старинных угрюмых часов, лампадка, теплящаяся в углу перед образом, осторожные шаги и шёпот в другой комнате, чтение вслух за стеной, сонный детский лепет — может быть, это вы воплощаетесь в Невидимого, который толкает в сердце и без слов говорит:



«Вспомни!» И рождается вдруг тревога в душе, и исчезает всё, что создал в ней поэт-волшебник... Исчезает красивый мираж, и вместо него встают эти несколько дней собственной жизни... С такими жестокими подробностями!.. Словно всё это было не десять лет, а только десять дней тому назад... Почему бой угрюмых часов приносит с собой гроб, горящие свечи, чёрный катафалк с серебряными кисточками? Почему шёпот и осторожные шаги в соседней комнате заставляют испуганно вздрагивать и наполняют душу ощущением непоправимого несчастья? Почему сонный детский лепет воскрешает синюю комнату, оловянных солдатиков, кроватку с решёткой, красный огонёк и кроткий лик Спасителя с благословляющей рукою?..

Стоит только закрыть глаза, и кажется, что живёшь всё в той же квартире с тёмным коридорчиком, где есть дверь с изломанной ручкой, слышишь стон матери, видишь белую руку её с длинными тонкими ослабевшими пальцами, видишь Алёшину спину и как он откидывает рукою пряди упавших с головы волос...

И мучительно зануют раны в сердце, нанесённые чьей-то железной рукою, и две слезы тяжело упадут на раскрытую книгу, которая только сейчас ещё заставляла смеяться от восторга и радости, брошенных в душу душой другого человека...

Порывисто вскакивает Ваня с места, встряхивает головой и долго ходит взад и вперёд по маленькой комнате. Ходит и отдаётся мукам воспоминаний о маме и об Алёше и всё сильнее растравляет кровоточащие раны сердца...

Со стены смотрят на Ваню два портрета в чёрных рамах, и когда он поднимает к ним голову, то кажется, что и они пристально и пытливо смотрят из чёрных рам прямо ему в глаза... Словно они догадываются, о чём он думает, этот угрюмый мальчик, и словно давно уже знают, что должно случиться впереди...

— Милые мои, — шепчет Ваня, и в его шёпоте столько нежности и одинокой тоски, что портреты оживают: кажется, что и у них в глазах слабо мерцают кроткие ответные огни...

Оживают портреты!..

И в полутьме кажется, что доброе лицо Алёши делается строгим, почти суровым, а лицо матери отражает всю глубину пережитой скорби...

Тихо льются горячие слёзы, а он всё смотрит, смотрит на молчаливые портреты, словно хочет разгадать тайну их вечного молчания...



ЕДИНИЦА

Родительный? Гм... Ну, дательный?
— Rosam...
— Неверно!.. Родительный множественного?
— Ros... as...
— Единица!

Какое ужасное, страшное слово! Оно заставило Гришу вздрогнуть и сделаться белым как полотно... Гришино сердце сжалось и упало; худенькие ручонки опустились как плети, коленки подогнулись и затряслись... Нижняя губа мальчика запрыгала, и отчаянный вопль нарушил мёртвую тишину класса. Гриша упал на парту и, всхлипывая, залился горячими слезами... О, какой жестокий, недобрый этот учитель в очках! Ему решительно ничего не значит причинить такое безутешное горе... Учитель сердито откашлянулся и устремил свои глаза в журнал, отыскивая фамилию следующего гимназиста, чтобы вызвать его...

— Алек...са-андр Ва...а...си...лич! Я зн...а-ю... Смеш-а-лся... Спро-о-о-сите... — сквозь горькие всхлипывания молит Гриша...

Класс притих; мальчики, выжидая нового вызова, как страусы прячутся от учителя, тычась носами в латинские грамматики... До звонка осталось всего каких-нибудь десять минут... Но эти минуты протянутся бесконечно долго, и судьба двух-трёх должна ещё решиться...

— Подай журнал! Стрелков!.. Григорий Стрелков!

Сосед ткнул бедного Гришу под бок и шепнул: «Журнал!»... Гриша, продолжая плакать, обернулся назад и дрожащими руками полез в ранец... Через минуту в клетке журнала чёрным злоеющим колом рельефно выступала на белом фоне ужасная первая единица... Казалось, учитель с особенным удовольствием всадил её

бедному мальчугану: уж больно толста и внушительна была эта несчастная единица!

Гриша шёл от кафедры на место, впившись своими глазёнками в единицу, и крупные слезинки прыгали с его ресниц на раскрытый журнал... Вот одна скакнула прямо на единицу, и та стала делаться ещё ужаснее, толще... Добравшись до парты, Гриша безнадёжно опустил на место, продолжая держать в руке журнал с единицей и плакать...

Но скоро и плакать Грише было запрещено. Учитель вызвал Скворцова и сердито прикрикнул на Гришу:

– Перестань реветь! Мешаешь... Или пошёл вон из класса!

Гриша закусил губу и спрятал покрасневшее личико в рукав новенького сюртучка... Страдания его были невыносимы... Никогда в жизни он ещё не испытывал такого отчаянного неправимого горя. Казалось, всё погибло, потеряно, испорчено; вся жизнь загублена навеки и нет выхода и никакой надежды... В его глазах стала зловещим колом единица и терзала бедное маленькое сердце... И что было ещё мучительнее, так это полнейшее невнимание к бедному Грише со стороны всего окружающего: учитель по-прежнему ходил как ни в чём не бывало взад-вперёд мимо кафедры; Скворцов робко склонял «Ros-у», ученики молчали... На чёрной доске всё по-прежнему белели начертанные учителем: «Именит., Родит., Дат., Вин.» и т. д.

– Единица! – услышал вдруг Гриша, приподнял голову и взглянул на Скворцова...

Тот сделал такую физиономию, словно раскусил что-то кислое-кислое... Странно, что обстоятельство это как-то успокоительно подействовало на Гришу... Он почувствовал облегчение – перестал плакать и только нервно вздрагивал и икал...

Рассерженный учитель искал глазами уже новую жертву – все мальчики сидели в мучительном ожидании – как вдруг... О, счастье! Зазвонил спасительный колокольчик, возвещающий об окончании классов. Лица мальчиков просияли улыбками, послышался радостный шорох, шёпот... Полезли за ранцами, торопливо пряча в них тетрадки и книжки...

– Не торопитесь, а то посидите ещё часик! – заметил с кафедры учитель, потом встал и громко крикнул: – Дежурный, читай молитву!

Все встали, вперёд выбежал маленький карапузик с большой, обстриженной под гребёнку головой и быстро затараторил слова

молитвы после учения. Не успел он закончить, как сердитый учитель крупными, торопливыми шагами вышел вон из класса...

Крик, хохот, визг разом огласили высокую классную комнату... «Забыл задать к завтраму! Забыл! Ура!» — пищал чей-то тоненький голосок... «Скворцов! Подожди меня!»...

Мальчики гурьбой потянулись из класса и радостно побежали вниз по лестницам в швейцарскую...

Чем ближе подходил Гриша к дому, тем сильнее и сильнее становилось утихнувшее было горе... Вот и дом, где они живут... Дом посмотрел на Гришу как-то особенно — сердито и хмуро, — словно и он уже успел узнать, что сегодня Гриша получил единицу... Робко растворил Гриша дверь и вошёл в комнаты — там было тихо... В столовой виднелся накрытый к обеду стол. Верно, ждут его... Папа кашлянул в кабинете и кашлянул тоже как-то подозрительно... Уж не сказали ли ему про единицу? Гриша тихонько прошёл вверх в детскую... Егоза-сестрёнка закричала на весь дом: «Глиса плисол! Кусать будем!» — и побежала сообщить приятное известие мамочке... Господи! Скоро всё обнаружится: все узнают про единицу... Как пройдёт этот ужасный момент? Что скажут папочка и мамочка?..

Внизу застучали стульями, загремели ножами и тарелками...

— Гриша! Иди же кушать! Верно, проголодался... — донёся снизу добрый голос матери... О, лучше бы провалиться сквозь землю, лучше бы никогда не родиться...

— Григорий, обедать! — повторил голос отца.

Гриша, опустив голову, пошёл вниз... В столовой уже все расселись. Мама разливает суп. Папа что-то сыплет себе в тарелку. Сестрёнка с салфеткой под шейей радостно смотрит на тарелку с супом, что в руках у матери, и болтает своими тоненькими ножками в цветных чулочках...

Гриша виновато идёт к своему месту... Он боится смотреть на папу и маму... Вот-вот сейчас спросят: «спрашивали» ли сегодня... и тогда должна обнаружиться ужасная истина... Низко наклоняясь над тарелкой, Гриша бултыхает в ней ложкой, а сердце его стучит и бьётся, рука дрожит, личико горит...

— Что это какие красные у тебя глаза? Верно, плакал?.. — как гром прозвучал отцовский голос.

Гриша вздрогнул, побледнел и, заморгав глазами, ещё ниже опустил над тарелкой с супом.

— А? Григорий?



— Гриша, ты ведь не носом суп есть будешь! — заметила мама...
Но Гриша упорно смотрел в тарелку, словно увидел там какое-то чудо.

— Григорий! Тебе говорят или нет? — сказал отец.

— Гриша! Слышишь, папа спрашивает, — добавила мать.

— Велно, он, папоцка, единицу полуцил! — звонко выкрикнула егоза-сестрёнка, продолжая болтать ногами.

И ужасная истина открылась!..

Гриша залился вдруг горячими слезами и, всхлипывая, стал объяснять, как несправедлив был учитель латинского языка, как последний спутал его, сбил, хотя он отлично умел склонять «Ros-у»... «Я ду...мал — да-а-тельный, а он... он — винительный... Я...я...а-а-а... И Ск...Скворцову то-о-же едини...цу...у...у!»





ПРЕДАТЕЛЬ

I

Задребезжал звонок, возвещавший об окончании уроков. Первоклассники получили несколько единиц за латинские вокабулы, помолились за «родителей и учителей, ведущих их к познанию блага», и шумной толпой ринулись вон из класса.

Всем было весело, не исключая даже и тех, которые проштрафились по вокабулам: в кругу друзей и товарищей легко переносились «латинские напасти» — отовсюду сочувствие, полное единомыслие и солидарность!..

Всем весело. Грустно одному только Заплатину Ивану...

Заплатин Иван идёт позади, отделившись от своих одноклассников, смотрит на паркетный пол и шагает очень медленно. Никто на него не обращает внимания, никто не предлагает ему идти домой вместе, никто не окликнет по фамилии.

Заплатин Иван совершенно забыт... Заплатин Иван не существует для них более... Что диван, что Заплатин Иван — им всё равно... Во время перехода от класса до швейцарской Заплатин Иван услышал только одну фразу, да и то эта фраза не была обращена непосредственно к нему, а была сказана резонёрски-спокойным тоном в пространство. Когда Заплатин Иван спускался с последней ступени широкой лестницы с перилами в швейцарскую — его торопливо обогнал Сметанин Николай и довольно отчётливо произнёс:

— Дуть следует предателей!..

Заплатин Иван притворился, что не слышит, — даже не обернулся и ничего не ответил. Но краска стыда, внезапно покрывшая его щёки, выдала притворство Заплатина Ивана...

Да, он слышал, отлично слышал... Но что же мог он ответить?! Ничего, решительно ничего... Это действительно правда — он выдал...

Дело было так.

Вчера, во время большой перемены, в первом основном классе поднялась страшная возня около классной доски. Петров и Григорьев стали бороться. Петров хватил подножку и повалил Григорьева. Кто-то закричал в этот момент: «Куча мала!» — и скоро оба борца исчезли под грудю повалившихся первоклассников. Кто-то, воодушевившись, закричал во всё горло «ура», другие поддерживали... А Соколов вошёл в такой экстаз, что не вытерпел и пустил в окно мокрой тряпкой, которой стирается с доски мел. Стёкла со звоном и дребезгом посыпались на подоконник и на пол, а первоклассники разом отрезвели и в одно мгновение рассыпались в стороны, заняли свои места на партах и уткнули носы в раскрытые учебники...

Но было поздно!..

Торопливо вбежавший в класс надзиратель, по прозвищу — Козья борода, успел уже заметить главных зачинщиков...

Петров и Григорьев, как лежавшие на самом низу кучи, не успели вовремя занять свои позиции на задних партах и не оправились ещё от волнения... Они и попали, так сказать, в первую голову. Попали ещё Сметанин Николай и ни в чём не повинный Заплатин Иван. Последний был только зрителем происшедшей свалки и даже потерпевшим, ибо мокрая тряпка, прежде чем разбить стекло, мазнула Заплатина Ивана по физиономии. Непосредственного участия он не принимал... Однако Козья борода записала и Заплатина, который, неожиданно увидав надзирателя, так и остался на месте, с испуганно раскрытыми глазами и полуоткрытым ртом, поражённый каким-то столбняком...

Пришёл в класс инспектор. Он вызвал с мест всех виновников катастрофы и спокойно, но угрожающе потребовал сознаться, кто разбил стекло. Все стойчески выдерживали пронизывающий взгляд инспектора, настаивая на своей полной невинности.

- Ей-Богу же, Александр Андреич, не я!..
- Не ты?.. Я спрашиваю в последний раз...
- Не я...
- И не знаешь кто?
- Не знаю.

- А зачем смотришь вбок? Гляди прямо!
- Я прямо... Не знаю... Не видал. Я стоял задом.
- Гм... И ты, Петров, стоял задом?
- И я задом... Ей-Богу, задом...

Оказалось, что все опрашиваемые были в момент катастрофы «задом» и потому не могли назвать сидевшего теперь как ни в чём не бывало на камчатке истинного преступника.

Только Заплатин Иван не выдержал и стал хныкать.

- И ты – задом? – сердито спросил его инспектор.
- Я не задом... нет, – заикаясь, пробормотал Заплатин Иван...
- Значит – передом?..
- Нет... Я... я... стоял. Это – не я.
- Не задом, не передом... Вот что, братец: останься-ка нынче после уроков до четырёх часов...

– За что же?.. Это не я... – гнусаво затянул Заплатин Иван.

Но инспектор «по внутреннему убеждению» решил, что никто иной, как Заплатин Иван, есть истинный виновник, а потому ещё раз безапелляционно произнёс:

– До четырёх часов, голубчик!.. А вы, – обратился инспектор к остальным, – можете идти домой...

Однако получившие амнистию не пожелали ею воспользоваться:

- Отпускать – так всех, Александр Андреевич! – робко произнёс один из борцов, а другой добавил:
- Или всех без обеда, или всех простите!..

А Заплатин Иван окончательно сдрейфил: он заплакал и затянул гнусаво:

– Это... не я... а... а-а... меня... без... без обе... ед... ааа...

Инспектор прибегнул к последнему средству: обратившись ко всему классу, он заявил, что если не выдадут преступника, то всем будет убавлена отметка за поведение в табелях...

Заплатин Иван не понял этой угрозы: он принял её исключительно на свой счёт.

И тут он сознался и выдал товарища Соколова.

– Это... не я... Со... колов бросил, а... аа... ме... ня...

Преступник поступил с достоинством: как только он услышал свою фамилию, так сейчас же встал и благородно и мужественно подтвердил:

– Я пустил «мазилку», Александр Андреевич!..

Инспектор оставил храбреца до пяти часов и велел ему принести завтра рубль за разбитое стекло.



А Заплата Иван он погладил по голове и ушёл вон из класса...

— Ябеда!..

— Фискал!..

— Предатель!..

Вот какие эпитеты посыпались на голову бедного Заплата Иван по уходе инспектора, — и класс тут же постановил: 1) не связываться с Заплатиным; 2) не давать ему списывать; 3) не подсказывать; 4) не говорить с ним, а при случае и 5) отлупить...

II

Заплатин Иван сидел в будуаре у мамы и ковырял пальцем обивку турецкой софы...

Мама собиралась в клуб. Она стояла перед большим трюмо и, поворачивая голову то направо, то влево, то откидывая её назад, обозревала себя с различных точек зрения...

Около мамы стояла горничная Груша и обдёргивала свою барыню...

Между делом мама разговаривала и с Ваней.

— Он вызвал и велел сознаться... А мне чего сознаваться?.. Я не разбивал... — бормотал Ваня, старательно расковыривая маленькую дырочку в софе.

— Так бы и сказал!.. Груша!.. Вот тут!.. Ах, Боже мой! Да не тут, пониже!.. Ах, дура... — говорила мама с Ваней и с горничной одновременно.

— Я и сказал... Разбил Соколов, а я виноват...

— Ну так бы и сказал!.. Груша! Спрысни меня сзади!.. Надо всегда говорить правду... Лгать нехорошо... Ну куда же ты брызжешь?.. Ах, Господи, какое наказание! Лётся за лиф!

— На декольте-с не прикажете?..

— Ничего сделать не умеют!.. Это ужасно...

— Я сказал, а меня ругают... дразнят предателем... ябедой...

— Ах, Ваня, будет!.. Ты ужасно надоедаешь... И всегда в то время, когда мне некогда... Ты видишь ведь, что я занята?.. Нельзя разве об этом после... Груша, вот здесь ещё!..

Ваня замолчал. Он ещё некоторое время ковырял пальцем обивку софы, потом встал и тихо, задумчиво пошёл из будуара...

Ваня пошёл посмотреть, что делает папа...

Он тихонько приотворил дверь отцовского кабинета и заглянул туда.

Папа тоже собирается. Лицо у него — доброе и весёлое. Папа был, видимо, доволен собою. Он стоял перед зеркалом и закручивал «в струнку» свои усики...

Ваня вошёл в кабинет.

— Что, Иван Петрович, скажете хорошенького? — шутивно-добродушно спросил папа Ваню, отходя от зеркала, и любовно погладил Ваню по голове и потрепал по щёчке.

— Ты собрался? — печально спросил Иван Петрович.

— Готов, готов, дружок мой...

— Мама тоже скоро готова будет... — тихо произнёс Ваня...

Они помолчали.

Ваня сел в большое кресло пред письменным столом, и из-за спинки кресла чуть-чуть выставилась его гладко остриженная, как точёная, голова...

— У нас сегодня стекло разбили, — немного помолчав, вымолвил со вздохом Ваня.

— Уж не вы ли это, Иван Петрович, набедокурили?..

— Нет, папа... Это — Соколов разбил... А меня понапрасну инспектор хотел без обеда оставить...

На глазах Ивана Петровича блеснули слезинки: так тяжело было воспоминание об этой несправедливости...

— Эге-ге-ге, Иван Петрович!.. Чего же это вы нюни-то распускаете? Ведь дело объяснилось?.. Ты сказал, что не ты?..

— Сказал, папа... А они меня дразнят, папа... я бедой... предателем...

— Кто же это они? А? Кто, милый мальчик?

— Ученики... Я сказал правду, а они... со мной... го... говорить не хот... я-я-ят...

— Ну и ты не говори с ними!.. Ну о чём же, мальчик, плакать? Ведь ты сказал правду? Правда, друг, прежде всего!.. Никогда не лги — это первое... Ты ведь у меня — молодец... Ну о чём же ты? Полно, полно!!! Перестань!..

И отец стал трепать правдивого Ивана Петровича за подбородок...

А Иван Петрович окончательно расплакался...

В это время в передней задребезжал звонок и оборвал трогательную сцену. Отец точно испугался чего-то и бросил Ваню, Ваня торопливо утирал слёзы рукавом блузы. Папа подбежал к двери и громким шёпотом закричал:

— Груша! Груша!!!



— Здесь, барин... — ответила горничная.

— Дома нет!.. Мы уехали в клуб! Слышишь?

— Слушаюсь! — сказала Груша и пошла в переднюю.

Она быстро вернулась и принесла папе визитную карточку. Папа прочитал, что было в ней написано, и, рассердившись, бросил её на стол (папу просили «ради Бога приехать к больному сейчас же»). Ванин папа был доктор).

— Ни минуты покоя! Они не понимают, что и я — человек, что и мне нужен отдых, — заворчал папа.

Ваня взял в руки визитную карточку и стал читать её...

— А если, папа, он умрёт?..

— Не суйся, пожалуйста, туда, где тебя не спрашивают, — с сердцем оборвал Ваню папа и прибавил: — Ступай, скажи, что уехал в клуб — а если спросят, в какой клуб, — скажи: «Не знаю»... Ступай вместе с Грушей!..

В кабинет вошла мама, величественная, гордая, с сияющим лицом, плечами и руками, блиставшая дорогими камнями и золотом, распространявшая вокруг тонкое, нежное благоухание ландыша, — и папа перестал сердиться.

Груша ушла, а Ваня остался... Ему вдруг почему-то не захотелось идти в переднюю, а захотелось побыть с папой и мамой...

— Ты готов, Пьер? — спросила мама.

— Готов!.. От Ждановых сейчас были... Утром был, и опять извольте ехать... Кажется, сказал достаточно ясно, что нечего тут напрасно валандаться...

— Ну, сказал, что дома нет, вот и всё!.. Есть из-за чего горячиться!.. — весело заметила мама...

— Сказал, так не верят: карточку суют ещё!.. Они думают, что за 25 рублей в месяц я буду два раза в день путешествовать!..

— Ну, кажется, путь свободен... Едем!..

Папа поцеловал маму, а Иван Петрович стал размышлять: «За чем папа сказал неправду, что его нет дома? — лгать скверно».

Его размышления, впрочем, были прерваны мамой...

— Ну, Ванёк, прощай!.. Веди себя без нас лучше... Уроки-то все выучил?

— Осталось Ros'у склонять... Первое склонение...

— Ну вот розу выучи свою и ложись спать...

Мама подробно рассказала Ване, что и как он должен делать в их отсутствие и чего не должен делать...

Потом папа с мамой поцеловали Ваню и уехали...

III

В столовой, за круглым, покрытым клеёнкою столом, сидели старая нянька с чулком и Ваня с латинской грамматикой. Няня, согнувшись, проворно двигала костлявыми пальцами, нанизывая петельку за петелькой на чулочные иглы, Ваня учился склонять свою Ros'у...

Впрочем, учение шло туго, и Ваня машинально повторял: «Rosa, Rosae, Rosae», — а в сущности, он не покидал проклятого вопроса: скверно поступил он, выдавши Соколова, или хорошо — сказав правду?

- Михеевна, ты врёшь?..
- Чего, батюшка, вру?..
- Нет, ты когда-нибудь врала?..
- Зачем, Ванечка, врать!..
- Никогда?.. Ни разу?..
- Не помню, чтобы врала...
- А папа врёт?..
- Ай-ай! Разве про отца родного можно так говорить!..
- Ты скажешь — никогда папа не врал?..
- Ах, Ванечка, что вы это говорите!.. Разве хорошо?!
- Я не виноват, что папа врёт... А он врёт... Давеча соврал...
- Полноте, Ванечка!.. Учите-ка уроки лучше...
- Давеча его пригласили лечить, а он сказал, что дома нет... Что?
- Потому что ваш папа устамши, и ему надо отдохнуть...
- Мало ли что!.. Я не про то говорю... А всё-таки ведь он был дома?..
- Ну так что же... Нельзя...
- Значит, он соврал?..
- Зачем же — соврал...
- А ну тебя!.. Ничего не понимаешь... С тобой не стоворишь...

Nominativus — Rosa; Genitivus — Rosae; Dativus — Rosae...

— Ты, Груша, зачем врёшь? — прервал склонение Ваня, увидя подошедшую к столу горничную...

- Когда?..
- А давеча?.. Сказала, что папа уехал, а он был дома...
- Мне-то что!.. Что мне приказывают, то и скажу... Правдой не проживёшь, барин...

— Как это не проживёшь?.. А я вот проживу!.. — сказал Ваня.
 — По-твоему как? — хорошо, что я выдал Соколова... Он стекло разбил, а я сказал про него?..



— Вот и нехорошо...

— Товарищей выдавать нехорошо, — вставила доселе молчавшая нянька, — надо друг за дружку стоять... Мало ли что промежду товарищами бывает... Надо уж друг за дружку...

— Значит, я — предатель, по-твоему?

— Выходит, что так...

Ваня смолк. Он уставился в грамматику и читал падежи склонения. Но читал без всякого внимания, и потому память совершенно бездействовала...

После грамматики Ваня схватил «Закон» и хотел повторить.

Папа говорит, что лгать скверно, а сам врёт... А нянька с Грушей говорят, что он — предатель... И самому ему теперь чувствуется, что он сделал нехорошо, выдавши Соколова, хотя и сказал правду...

Эти мысли и чувства всецело овладели Иваном Петровичем, и «проклятый вопрос» о правде встал перед ним мучительной загадкой... Иван Петрович повернулся на спину и закрыл глаза. Ему было так совестно, что лучше было лежать с закрытыми глазами. И он лежал, долго-долго...

С кряхтением и оханьем поднялась по лестнице в детскую няня...

— Ты что, Ванечка, делаешь?..

Ванечка молчал.

— Экий грех, никак, заснул... Иван Петрович! А, Иван Петрович!..

Нянька потрогала Ваню за руку.

— Надо раздеть, а то барыня опять сердиться будут... — подумала вслух старуха.

Притворяться более было нельзя, и нянька ужасно удивилась, когда Иван Петрович сердито огрызнулся:

— Сам я разденусь!.. Убирайся от меня!..

— Я думала, вы уснули...

— Ничего не уснул...

Нянька ушла вниз, а на смену ей скоро появилась в детской горничная Груша.

— Иван Петрович!.. А вы разденьтесь!..

— Убирайся ты от меня!..

— Нехорошо... Господа не спят в брюках... Барыня приедут — рассердятся... — убеждала Ивана Петровича горничная.

— А я вот сплю в брюках... — упрямо ответил Иван Петрович.

— Вы хоть сапоги-то сымите!..

— Не желаю...

ПРЕДАТЕЛЬ

Груша ещё раз попыталась нарисовать Ивану Петровичу весь ужас мамы, если она застанет его спящим, нераздетого, пыталась даже собственноручно снять с «бесстыдника-барина» сапоги и брюки...

Но Иван Петрович упрямо лягался и кричал:

— Отвяжись же, Груша!.. Я тебя не трогаю, ну и ты не лезь ко мне!..

— А вы не лягайтесь, барин... Бесстыдник какой!..

— Я хочу махать ногами, а ты сама подставляешь лицо... Смотри, я буду не виноват, если...

— Бесстыдник!..

Груша рассердилась и ушла.

Иван Петрович остался один и снова углубился в разрешение «проклятого вопроса»... Долго он думал, по временам вздыхал и чесался... Наконец, к ужасу няньки и горничной, уснул-таки в сапогах и брюках...





ЛОШАДКА

Лошадка!.. Маленькая, дешёвенькая, из папье-маше, с грубо намазанным убором шлеи, с острыми, как у кошки, ушами не на том месте, где растут уши у лошади, с одними передними ногами и с длиннейшею палкою вместо хвоста — как памятна мне эта игрушка, предназначенная обыкновенно для детей бедных родителей!.. Она, эта бедная лошадка, вместо предполагаемой радости принесла мне столько горя, столько нравственных мук и жгучих слёз, оскорбления! Всякий раз, когда я пред рождественскими праздниками прохожу мимо игрушечных магазинов, в окнах которых столько заманчивых для детского взора безделушек, ёлочных бонбоньерок, блестящих звёзд, — я до сих пор вспоминаю дешёвенькую лошадку из папье-маше, о которой хочу рассказать вам.

Мы жили тогда в захолустном уездном городке, где отец мой служил акцизным чиновником. Помню, мне казалось тогда, что мой папаша — очень важный человек в городе: когда мы шли с ним по улице, будочники отдавали нам честь, а папаша только махал рукою; его называли «вашим высокоблагородием», и он сильно кричал на приходивших к нему просителей и говорил, что не оставит во рту трёх зубов, или что даст по морде, что не два, а три глаза вылезут на лоб... Всё это убеждало меня в могуществе отца, и я гордился этим и важничал по-детски... В действительности мой отец был далеко не важной персоной: всего — акцизный надсмотрщик!..

Моим уличным приятелем был Яшка, сын дьячка, жившего по соседству с нами, и поэтому Яшке я всегда давал понять, с кем он имеет дело.

— Мой папаша твоего папашу может казнить и... трёх зубов у него не оставит! — кричал я, когда, играя на дворе, мы ссорились с Яшкой.



На Яшку эта ужасная угроза, впрочем, не действовала, тем более что он находил поддержку в своём родителе.

— Я вас обоих с папашей в свой карман положу! — ответил однажды дьячок на мою угрозу Яшке, наблюдая через низкий разделявший наши двory забор за нашей ссорой.

— А не положишь! — ответил я дьячку, поражённый таким аргументом.

— Что-о? У-у-у!!! Вот я сейчас...

Дьячок так страшно закричал это «у-у», что я на всякий случай поспешил оградить себя от опасности: убежал на чёрное крыльцо, притворил за собою дверь и смотрел в щёлочку, не лезет ли дьячок через забор, чтобы поймать меня и запрятать в свой карман. Обстоятельство это, впрочем, не подорвало в моих глазах авторитета и могущества папашы, так как сам дьячок скоро упал в моём мнении: когда он пришёл поздравить отца с ангелом, такой приглашенный и припомаженный, с тонкой, торчавшей позади, как хвостик, косичкой, — я стоял за дверями и смотрел, не положит ли дьячок в карман папашу. Дьячок отдал отцу просфору, низко-низко кланялся, говорил тихо, склонял к папаше голову и спрашивал: «Как-с?» — так пугливо... Отсюда было очевидно, что дьячок только храбрился, когда говорил о своём кармане. Я решил выйти из засады и повести дело напрямик.

— Ты говорил, что можешь папашу в карман положить... Ну, положи! — сказал я, выйдя в зал и остановившись перед смущённым дьячком в вызывающей позе.

— Хе-хе-хе! Разве это можно? Как же можно человека — в карман? — ответил дьячок.

— А ты сам же говорил тогда! Помнишь, через забор-то?

— Вот когда у тебя воссияет свет разума — поймёшь... Карман не велик, даже и тебя не посадишь...

Дьячок вывернул и показал мне свой карман.

— А папаша тебе трёх зубов не оставит, — сказал я убеждённо.

— Хе-хе-хе! Да у меня всего-то зуба три...

— И три глаза у тебя на лоб вылезут, если...

— Перестань! Иди отсюда! — строго сказал отец.

Я ушёл, но теперь для меня было ясно, что дьячок только храбрился и что папаша — всемогущ... Но вернёмся к лошадке...

Приближалось Рождество, пятое Рождество в моей жизни. До этого времени я хотя и слышал о каких-то ёлках, но никогда не был на них. Поэтому вы легко можете себе представить мой восторг,

когда мать заговорила с отцом о том, как меня одеть и как одеться самой, чтобы идти в клуб на ёлку... Я знал, что на ёлке можно получить дивные подарки: солдатиков, большую лошадь, на которую можно сесть и болтать ногами, железную дорогу... С этого дня я начал жить ожиданием и считал дни и ночи, которые оставалось прожить до ёлки... Наконец в сочельник мне объявили, что на второй день праздников мы едем с мамашей в клуб. Когда мать говорила с отцом, не заказать ли мне курточку, я вертелся, восторженно подпрыгивал на месте и пел свою единственную песню:

*На улице две курицы
С петухом дерутся... —*

и хлопал в ладоши.

На своего приятеля Яшку я смотрел теперь ещё более свысока и ещё сильнее чувствовал свою важность и преимущество.

— Знаешь, я пойду в клуб на ёлку! — заявил я Яшке при первой же встрече с ним на дворе.

— Эка штука! У попа тоже будет ёлка, и мы пойдём...

— У попа — что! — возразил я. — А в клуб не имеешь права: туда дьячковских детей не пускают.

Бог весть, когда и каким образом в моём детском умишке успели сложиться эти понятия о правах и преимуществах, но я был глубоко убеждён, что дьячковский сын — существо низшего порядка...

Наступил давно желанный день. Часов с пяти вечера мы стали собираться в клуб. Мать сперва одела меня. Хотя мне и не сшили курточки, как это проектировали, тем не менее я, напомаженный, причёсанный, с пробором на боку — как причёсывался и отец, — в голубой шёлковой рубашечке и брючках навывпуск, казался себе верхом изящества и прелести. В то время как мать оправлялась перед зеркалом, я заглядывал в него сзади и оставался вполне доволен собою. Пришёл отец, погладил меня по голове, и когда я стал жаловаться, что он испортил мне причёску, причёсал меня снова, посмотрел и сказал:

— Молодчина! Не заправить ли, мать, ему брюки в сапожки? Не идёт как-то... — заметил он, обозрев меня издали.



— Пожалуй...

Но я был другого мнения и поднял целый скандал из-за впервые ещё спущенных на голенища брючек.

— Мамаша! Будет тебе смотреться в зеркало! — торопил я мать, подёргивая её за платье.

— Оставь! Не дёргай!

— Опоздаем вот! Все игрушки раздадут, — высказал я свою тревогу.

— Этого не может быть...

И мать, продолжая стоять перед зеркалом, рассказала мне, что игрушки раздадут только под конец ёлки и раздадут их по билетикам, так что нечего бояться.

— Как же это по билетикам? А если я хочу — железную дорогу? Меня не послушают?

— Это уж кому какое счастье. Если вынешь билетик с железной дорогой, то и дадут её, если вынешь с куклой, то получишь куклу...

— Куда мне куклу, я не девчонка! — заметил я и, пока мать доканчивала свой туалет, побежал в полутёмный зал и здесь горячо молился Иисусу Христу, чтобы мне досталась железная дорога. Я был уверен, что Иисус Христос так именно это и устроит.

Потом мы сели на извозчика и поехали в клуб. Сани остановились перед крыльцом ярко освещённого дома в пять окон по фасаду. Моё сердце сильно билось. Клуб показался мне целым замком. Когда мы поднимались вверх по лестнице, уже глухо звучала музыка — рояль, — и доносился хаотический шум детских голосов, смеха, крика и беготни. Я незаметно перекрестился ещё раз и ещё раз напомнил Богу о железной дороге. Вся моя важность, сознание своих прав и преимуществ сразу улетучились, лишь только мы с матерью вошли в залитый огнями зал, посередине которого возвышалась звёздной пирамидой ёлка. Зал был переполнен большими и маленькими людьми, стоял такой гам, что в моих ушах звенело, и я не мог слышать, что шептала мне на ухо мать. Она одёрнула сзади мою голубую рубашечку. Я держался за её платье и боялся выпустить его из руки. Здесь столько было «важных человек»!..

— Это, мамаша, генерал? — спрашивал я мать, показывая пальцем то на исправника, то на воинского начальника. Но мать не отвечала, а лишь отстраняла мою руку с пальцем:

— Не надо показывать пальцем!





— А это кто с бородой?

— Опять палец! Опустит! Нехорошо!

К сожалению, я тогда без пальца не умел в таких случаях обходиться. Мать это просто обескураживало, да оно и понятно: бедная уездная дама пред лицом местного бомонда должна была выказать всю свою порядочность, благовоспитанность, а я вылезал со своим предательским пальцем.

— Поди и играй с детьми! — несколько раз говорила мне мать, но я, впервые выступивший в столь блестящем обществе, не решился выпустить из рук платье матери.

— Экий дикарь! Стыдно!

— А скоро будут раздавать игрушки? — таинственно спросил я мать, потребовав её наклониться к моим губам.

— Кто не будет играть, тому не дадут и билетика на игрушки...

Я опечалился. Как мне играть? Не с кем. Я умел играть только с Яшкой, а тут были дети в курточках, с тоненькими ножками, завитые, в белых кисейных платицах и в лентах. Меня выручило новое знакомство; к матери подошла бедно одетая барыня в зелёном платье с чёрным бантом на голове; она держала за руку такого же дикаря, как я, в рубашечке.

— И ваш не отстаёт?

— Да, держится за платье... Надо их познакомить.

Мать взяла наши руки, соединила их и сказала:

— Ступайте!

Кругом нас бегали, визжали и смеялись дети. Я взглянул на своего нового знакомого и сказал:

— У тебя тоже нет курточки?

— Нет!

Мы внимательно осмотрели друг друга с ног до головы и почувствовали взаимную симпатию.

— Пойдём бегать вокруг ёлки! — предложил мой знакомец, исподлобья взглянув на меня.

— Пойдём!

Дети, взявшись за руки, кружились сломя голову вокруг ёлки. Мы хотели войти в круг, но это нам не удалось: девочка лет двенадцати, которой я протянул руку, сказала:

— Я с тобой не хочу. У тебя нет перчаток, и ты испачкаешь меня...

— Давай с тобой одни играть, — предложил я товарищу.

— Как?

— Пойдём смотреть игрушки...



- Тебя как зовут?
- Колей.
- А меня — Мишей... У тебя кто отец?
- Не знаю...

Игрушки стояли на двух столах в дальнем углу зала. Около этих столов толпились уже дети, вытягивали шейки и заглядывали в самые сокровенные уголки этого игрушечного царства... Тут же было несколько дам, рассматривавших игрушки с таким же возбуждённым любопытством и жадностью, как и дети. Это были матери.

Боже мой, чего здесь только не было! Был водовоз с лошадьёю и бочкой, была мельница, был дом, новый, с крыльцом, с окнами, с трубой, одним словом, — настоящий маленький дом, была обезьяна, играющая на органе, несколько барабанов, ружей, краски, паровоз — и не пересчитать всего!

— А железная дорога есть? — решился я спросить толстую седую барыню, которая наблюдала за этим игрушечным кладом и развлекала окруживших её дам игрушками, заводя их и демонстрируя.

- Есть, голубчик... Вот она!

Действительно, под самым моим носом стояла железная дорога. И как я не заметил её раньше?! Паровоз, из трубы несутся клубы белого дыма из ваты, вагоны — зелёные, жёлтые, синие...

- Она ходит?
- Ходит. А тебе хочется железную дорогу?
- Хочется, — сказал я, потупив в пол взоры.
- Не знаете, чей это мальчик? — спросила толстая дама другую даму, тонкую.
- Акцизного! — ответила та с презрением.
- Ах, акцизного! А я ведь думала, что — Павла Григорьевича...
- Нет, что вы!..
- Она ходит? — повторил я вопрос, видя, что толстая барыня забыла о нашем с ней разговоре.
- Ходит, ходит... Идите! Играйте!
- Разве заводится? — спросила одна из дам.
- Да.

Толстая барыня завела пружину, и вагоны покатались... Я был в восторге и чуть было не запел «На улице две курицы»... Ах, если бы мне достался билетик с этой железной дорогой! Я мысленно прижимал поезд к своей груди и боялся, не разделяет ли



моих чувств по отношению к железной дороге и мой новый знакомый.

— А тебе хочется — железную дорогу? — спросил его я.

— Я лучше — дом!

У меня отлегло от сердца. Пусть его берёт дом! Он ничего не понимает.

— А если тебе достанется железная дорога, а мне... дом, — ты переменишься?

— Переменюсь. Мне нужно дом: у меня есть солдатики, и они живут в коробке, а если был бы дом, я клал бы их туда...

Скоро я освоился и перестал стесняться.

— Дети! Кто хочет пить?

Нас поили какой-то сладкой белой, как молоко, жидкостью, которая мне очень понравилась. Заметив, что графины, из которых нас поили, стоят себе на столе, как и стаканы, — я несколько раз, и уже без всякого разрешения, пил этот дивный напиток; играл в кошки-мышки и хохотал так громко, что мать подходила ко мне и сзади, на ухо говорила, что кричать — нехорошо. В течение двух часов я успел не только наиграться до испарины, но даже завёл крупную ссору с одним мальчиком, заявившим мне, что ему дадут железную дорогу.

— Врёшь! Дадут — кому достанется!

— Мне достанется! Мама сказала, чтобы — мне...

— Посмотрим!

— А ты совсем дурак, потому что не понимаешь про билетик!

— А ты сам дурак, и если будешь так ругаться, то я скажу папе и тебя отсюда выгонят!

Часов в восемь вечера нас построили в шеренгу, попарно, и под звуки персидского марша мы проходили по комнатам, в одной из которых каждого из нас наделили пакетом с конфетами и орехами. Потом мы все снова собрались в зале, и какой-то господин, обрывая с ёлки звёзды, бонбоньерки, золотые орехи и пряники, торопливо совал их в бесчисленное множество тянувшихся к нему детских ручонкам. Я старался как можно выше поднять и дальше протянуть свою руку, но в неё ничего не попадало... Это меня огорчало, но я утешал себя тем, что скоро мы будем вынимать билетики и, Бог даст, мне достанется железная дорога.

На углу, около столов с игрушками, уже сгрудилась толпа ребятшек, и стоял настоящий содом. Верно, там вынимают уже билетики, и, может быть, кто-нибудь уже завладел железной дорогой.

— Коля! Идём билетики вынимать!

— Пойдём!

— Смотри: если мне достанется дом, а тебе — железная дорога, — мы переменяемся! — напомнил я товарищу, и мы стали протискиваться к столам с игрушками. В зале уже не было никакого порядка, все бегали, суетились, чем-то сильно озабоченные. Кое-где слышались пронзительные звуки дудок, трескотня барабанов, выстрелы пробочных пистолетов. Навстречу нам лез весь красный, с сияющим от счастья лицом мальчик, которому достался водовоз с лошадьёю и бочкой.

— Мне билетик! Мне! — кричал я, с отчаянием простирая к толстой барыне свою руку.

— Тише! Тише!.. Всем будет! Всем!

— Я ещё не брал билетика! — звонко кричал я, стараясь изо всех сил привлечь к себе внимание захлопотавшейся барыни.

— И я — тоже! — кричал мой товарищ.

Мы работали локтями, стараясь пробиться через ряды конкурентов ближе к столу, и наконец пролезли-таки вперёд.

— Мне билетик! Мне! Я не брал! — кричал я барыне и махал руками.

— На! Иди! Невоспитанный мальчик!

С этими словами толстая барыня сунула в мою руку какую-то палку и занялась другими детьми. Чтоб могло это значить? Я не уходил.

— Ты получил, так и ступай! Не мешай другим! — заметила мне толстая барыня.

Это меня совершенно обескуражило. С трудом пробиваясь через шумливую толпу детей, я вышел на свободу и начал рассматривать полученную мною от барыни вещь. Это была палка, на одном её конце была лошадка, а на другом — колёсико. Ко мне подошла мать и сказала:

— Ну-ка покажи, что тебе досталось!

— Это мне не досталось, а дала барыня! Я ещё не брал билетика... Куда мне эту палку?! Таких лошадей на свете не бывает... Тут надо хвост, а у ней — палка вставлена...

— Это, друг, нарочно сделано: на палочку сядешь верхом и поедешь... Вот тут и колёсико есть!

— Больно мне нужно на палочке верхом кататься! Я её отдам Яшке, — говорил я, оттопырив губы.

— Нехорошо. Подбери губы! Будь доволен тем, что дали!





— Но я ещё не вынимал билетика! Может быть, мне достанется железная дорога, — с мольбою в голосе ответил я матери, но в этот момент ко мне подскочил тот самый мальчик, с которым мы поссорились из-за железной дороги, и, дёрнув меня за рукав, крикнул:

— Что! Я тебе говорил! Это что? Видишь?

Как же было не видеть: в его руках была железная дорога!

— А у тебя что? А-а! Лошадка! Дрянь какая! — сказал мой враг и понёс куда-то железную дорогу. Я был так потрясён этим обстоятельством, что некоторое время стоял в столбняке; потом, заподозрив конкурента в мошенничестве, я побежал ему вдогонку и закричал:

— А ты билетик брал?.. А?.. Я скажу... Он утащил железную дорогу!

Мать схватила меня за руку и повлекла назад, сердито читая мне нотацию.

— Но он, мамаша, не брал билетика! Он утащил железную дорогу! — громко протестовал я, оглядываясь вслед скрывшемуся противнику.

— С чего ты взял? Замолчи!

— Я знаю — он не брал билетика... Ведь это — кому какое счастье! — уже со слезами на глазах говорил я матери и упирался, желая доказать всю несправедливость этого захвата железной дороги.

— Иди, иди! Поедем домой... Не умеешь себя держать!..

Мать потянула меня за руку и насильственно вытащила в переднюю. Здесь я окончательно возмутился, швырнул в сторону доставшуюся мне лошадку и расплакался горькими слезами...

— О чём? — спрашивали мою мать толпившиеся в передней в поисках за своими шубами гости.

— Так, капризничает... Спать хочет, — отвечала мать.

— Нет, не капризничая... и спать не хочу, — сквозь слёзы протестовал я. — А какое же это счастье, когда мне и билетика не давали, а взяли железную дорогу да подарили мальчику... А я тоже хочу железную дорогу!.. Зачем ему отдали без билетика... Будто он лучше всех!..

И я плакал от досады и несправедливости, которую большие допустили по отношению ко мне, маленькому человеку.

— Ну что ты ревёшь?! Перестань! — сердилась мать.

— Да-да! Я не стал бы, если бы он получил с билетиком, а он та-а-ак...

Швейцар торопился скорее выпроводить оскорблённого гостя и, надевая на меня шубу, обращался со мною, как с вещью; перевёр-

тывал, приподнимал на воздух и, вероятно, чтобы не так громко звучал мой рёв, плотно обвязал мою голову и лицо башлыком.

— Вот Бог и нака-а-же-е-т! — гнусаво кричал я через башлык, когда меня кто-то нёс на руках вниз по лестнице. — Дураки-и-и!..

— Молчать! Я тебя, пакостник, выдеру!

— А дураки-и-и! — кричал я, болтая ногами.

Меня ткнули в сани, на извозчика, рядом с матерью. Слёзы горькой обиды и жгучего оскорбления катились из моих глаз, когда лошадь тронула санки и повезла меня из клуба, где я подвергся столь жестокому оскорблению.

Помню, по возвращении домой я снова начал плакать и жаловаться на них папаше. Но папаша не хотел понять меня: он думал, что я плачу от зависти.

— Нехорошо, братец! В другой раз не пущу на ёлку.

— И пусть! Я и сам не пойду!.. Какое это счастье?.. Дали па-а-алку, а он... чего захотел, то и да-а-али!

Отец держал в руках лошадку из папье-маше и говорил:

— Очень хорошая игрушка. Можно кататься, сесть и ехать!..

— Ну и катайся! А я не буду!.. А мамаша наврала: сказала, что билетик дадут и что достанется, а они взяли и дали па-а-алку!

Долго бедная лошадка стояла в углу на своей палке, и я не устаивал её своим вниманием. Всякий раз, когда мой взгляд падал в угол, где стояла эта лошадка, в моём маленьком сердце вспыхивало чувство обиды и оскорбления... Однажды в такую минуту, воспользовавшись тем, что никого в комнате не было, я подскочил к этой лошадке, схватил за палку и с озлоблением выдернул её из лошадиного туловища, потом снова насадил лошадку и начал постукивать палкой в пол так сердито, что остриё палки вышло насквозь, через все внутренности ни в чём не повинного коняги!..

Теперь я уже вырос и не плачу даже в том случае, когда жизнь преподносит мне «лошадку из папье-маше». Но, помня об этой лошадке, я не вожу своих детей на общественные ёлки, где детское «счастье» определяется всевластной рукою какой-нибудь Марьи Петровны.





РЫЖИЙ

I

Стояла грязная и холодная осень.

Вечер выдался такой тёмный-тёмный. На улицах уныло завывал ветер, выводя тоскливые, за сердце хватающие нотки. Крупные капли дождя настойчиво барабанили в железные крыши и окна. Порой ветер как бы смирялся, прерывал свою осеннюю мелодию; тогда и стук дождевых капель ослабевал. Но вот набегал новый порыв ветра, опять начал недопетую песню, и дождь ещё сильнее стучался в окна, словно просясь отогреться.

Фонари мигали и гасли; их слабые огоньки были не в силах бороться с окружающей темнотой.

Город казался спящим. Изредка только доносился торопливый окрик извозчика и затем — отдалённый стук извозчичьих дрожек, а мимо фонарей мелькали тени пешеходов, поспешно шлёпающих по грязным тротуарам...

Рыжий стоял у фонаря, перед парадным крыльцом большого каменного дома и плакал.

Рыжий привык плакать.

Он каждый день плачет, стоя где-нибудь на перекрёстке улиц и протягивая худую ручонку к прохожему.

Все восемь лет прожитой им жизни — он плакал.

Сначала Рыжего носила на руках какая-то сердитая старуха, которая больно щипала его всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо. Рыжий плакал от боли.

Потом, когда Рыжий подрос, — та же старуха водила его по городу, и он плакал по её приказанию, бегал и цеплялся за полы проходящих.



Наплакавшись по улицам, он приходил в грязную, сырую и тёмную, как подвал, каморку, переполненную такими же сердитыми старухами, и, слушая их руготню, доходящую подчас до драки, — как-то невольно принимался плакать. Тогда его били.

Плакал он и тогда, когда выпрашивал кусок хлеба у «мамки» — так ему велели называть старуху, с которой он ходил по улицам.

А когда Рыжий вырос настолько, что понял, кто была эта сердитая старуха, когда понял, что она ему вовсе не мамка, тогда он ходил по улицам уже один и плакал насильно.

Он видел, что если он плачет, — то ему больше дают. И боясь принести домой меньше гривенника или пятиалтынного, которые ему было велено набрать, Рыжий громко плакал. Если ему не удавалось одним плачем набрать столько, сколько нужно для того, чтобы прийти домой и не получить таски, то Рыжий ползал по дороге, разгребая руками кучи грязи и жалобно причитал:

— Пя-я-так по-о-терял, как я до-о-мо-ой-то пойд-у-у!..

Тогда кто-нибудь останавливался и, тронутый его слезами, давал ему пятак. Проходил добрый барин, и Рыжий, отойдя подальше, снова начинал рыться в грязи и плакать.

Так Рыжий набирал иногда до 20 копеек. Тогда мамка не била его, а хвалила и посылала за водкой. И другие старухи хвалили тогда Рыжего и ставили его примером Анке, которая так же, как и он, всю жизнь свою плакала, у которой также была своя мамка, только ещё злее.

— Ай да Рыжий пёс! Ай да молодец! — хвалили они его. — А нука, вертись на брюхе!..

Рыжий обладал особым искусством вертеться на брюхе и, поощряемый подвыпившими мамками, он ложился животом на грязный сучковатый пол и, приподнявши немного вверх ноги и голову, при общем пьяном смехе и одобрении делал таким образом несколько оборотов.

Со временем он изобрёл ещё один приём для выпрашивания пятаков. Вставши около себе подобного Рыжего, он начинал плакать и жаловаться прохожим, что тот не хочет разделить поданный им обоим пятак.

— На вот, возьми, не плачь только! — говорила тронутая барыня — и Рыжий получал действительный, а не фантастический пятак.

Но случалось и так, что все приёмы оставались тщетными и назначенного мамкой количества денег Рыжему не удавалось набрать. Тогда он плакал уже не насильно, а из боязни идти домой к своей

злой мамке, которая, верно, его побьёт и не даст ему поесть. Мамка никогда не верила Рыжему.

— Проел, Рыжий пёс, проел, крапивник! — приговаривала она, таская его за волосы. И, побивши Рыжего, мамка толкала его за дверь. Голодный мальчишка забивался в тёмный угол сеней и, уткнувшись головой в сваленный тут хлам, тихо и горько плакал. Громко плакать он не смел: услышит мамка — ещё большей оттаскает. Часто в такие тяжёлые для Рыжего дни, когда он, голодный и продрогший, хныкал в тёмном углу, к нему подкрадывалась Анка.

— Петруня, на, возьми! — шептала она и совала ему кусок чёрного хлеба или калача. Зато и Рыжий не оставался у ней в долгу. Бывали и с Анкой такие дни; тогда крался к ней Рыжий и совал кусок поданного и припрятанного хлеба.

Его все звали Рыжим. Так его прозвал безногий капрал, приятель мамкин. Только одна Анка звала его Петрунькой, только одна она и жалела побитого Рыжего, только одна она и ласкала, глядя его косматую голову. И Рыжий никого не любил, кроме Анки. Он один только кормил голодную девчонку, один целовал её черномазую щёчку; один только и баловал её, принося ей иногда кусок замусоленного сахара или купленный на припрятанную копейку пряник...

Петрунька и Анка спят вместе, в одном углу, на покрытой худыми мешками соломе, и вместе боязливо прислушиваются к скрёбу и писку крыс. Когда мамки храпят, Рыжий толкнёт под бок Анку; та проснётся, и они начинают передавать друг другу впечатления пережитого дня. Рыжий рассказывает, как его сегодня побил на улице будочник, как он разжалобил барыню, как торговал для Анки пряник, как обманул свою мамку, чтобы найти предлог выйти в сени и передать наказанной Анке калач. Анка внимательно его слушает и вдруг прерывает:

— Петруня, зачем это моя мамка дома без клюки, а на улице даже на двух ковыляет?

— Петруня, чем это сверчок так жалобно-жалобно поёт?

— Слышишь, как крысы дерутся? Я боюсь: восейка* капрал сказывал, что они нос откусят, если крепко спать будешь...

И Анка прижмётся к Рыжему, обхватит рукой его за шею и затаит дыхание.

— Тише, Петрунька, мамка кряхтит!

* Восейка (диал.) — недавно, на днях.

— Рыжий пёс! Принеси-ка из сеней воды испить! — вдруг слышался хриплый голос проснувшейся мамки.

Рыжий вскакивает и босой бежит в сени. А Анка прикинется спящей, начнёт даже носом сопеть.

Больше уж Петрунька с Анкой не разговаривают: боятся, что мамка услышит. А мамка долго кряхтит, плюётся, то молитву начнёт читать, то вдруг выругается...

Утром мамки дадут Рыжему и Анке по куску чёрствого хлеба, в праздник по чашке морковного чая, обуют в лохмотья, наденут опорышки, накажут больней приставать к господам почище одетым, больше плакать — и погонят их вон из подвала.

Если они к поздним обедам наберут по гривеннику, то забегают домой пообедать. А чаще Рыжий с Анкой не обедают вплоть до позднего вечера: по улицам бегают и плачут.

Вместе ходить им мамки не велят: меньше подают. Однако Петрунька с Анкой иногда сходятся у железного человека — так они стоящий на площади памятник называют — и делят все набранные деньги пополам.

Сами мамки тоже с утра на работу уходят. Только они по улицам мало ходят, а больше по церквям да по знакомым дворам. После поздней обедни они домой приходят, отдыхают: или спят, или водку пьют, а то ругаются. Когда Петрунька с Анкой домой придут, мамки на них накинутся и провинившегося за волосы таскают.

Так вот и живут Рыжий с Анкой изо дня в день. Редкий день кому-нибудь из них потасовки не приходится...

II

Восенний, холодный и дождливый день, с которого начался наш рассказ, Рыжему не удалось набрать и гривенника. Два раза он ходил к железному человеку, но Анки не встретил.

Вот почему, несмотря на то, что уже давно стемнело, давно зажгли фонари, несмотря на такую погоду, про которую обыкновенно говорят, что добрый хозяин собаки не выгонит, Рыжий стоит теперь у фонаря, перед крыльцом большого каменного дома и — горько плачет.

Его страшно мучает голод. Дождь и ветер пронизывают до костей бедного мальчика и заставляют его дрожать всем телом. Домой идти он боится.



— Без двугривенного, Рыжий пёс, лучше и домой не приходи! — наказала ему мамка. И он не идёт, а стоит вот уже с час времени около этого фонаря, пряча окоченевшие руки в рукава изодранного пиджачишки, и тихо всхлипывает...

— Что, щенок, нюни-то распустил? — замечает проезжающий мимо порожняк-извозчик.

Но Рыжий словно не слышит — и всё по-прежнему плачет...

Близкий стук караульщика заставил Рыжего очнуться.

«Прибьёт!», — мелькнуло у него в голове.

Быстро вбежавши на парадное крыльцо, он присел на углу, у самой двери, и — притих.

Караульщик прошёл мимо, невозмутимо постукивая своей трещоткой. Рыжий успокоился. Снявши с ног худые башмаки, он вылил из них воду, потом отряхнул картуз. Изнемогая от холода и усталости, Рыжий прилёг в углу. Его била лихорадка, зубы стучали, всё тело вздрагивало.

...А сверху доносились приятные звуки музыки, иногда где-то вдали хлопали двери, вырывался говор, шум, хохот. Там было так весело, весело... Рыжий прислушивался к этим звукам с каким-то удивлением, иногда приподнимал голову и боязливо оглядывался по сторонам.

— Хорошо там, тепло. Разве постучаться, может, пустят?.. — шептал он. — Нет, прогонят: там всё господа!..

Дремота смыкла покрасневшие от слёз глазёнки Рыжего. Он плотнее прижал свои охладевшие члены друг к другу и заснул. И снится Рыжему сон...

Снится Рыжему, что он идёт длинным-длинным коридором.

Где-то вдали раздаётся смех и весёлый хохот, слышатся приятные звуки музыки. Рыжий останавливается и прислушивается — тогда опять всё стихает. Вокруг темно, темнее даже, чем у них в подвале. Только как-то страшно: громкое эхо отвечает малейшему движению, стуку, кашлю Рыжего... Остановится Рыжий — тихо: ни звука, ни шороха; побежит — и впереди, где-то далеко-далеко, заиграет музыка, послышится весёлый смех, говор... Вот он слышит, как кто-то зовёт его:

— Рыжий! Рыжий, иди к нам! Иди скорей!

Рыжий бежит сильнее, долго бежит. Вот и конец коридору. Перед ним стеклянные двери с массивными медными ручками и прутьями, а за стёклами видна широкая, вверх поднимающаяся лестница. По обеим сторонам её всё цветы, словно в саду. Светло так.

— Рыжий, Рыжий, иди к нам! — раздаётся у него в ушах.

Рыжий робко берётся за ручку двери и с трудом отворяет её. Сверху отчётливо, громко несётся музыка, да так близко, близко! Словно над самым ухом Рыжего.

— Петрунька, иди же скорее! — слышит он знакомый голос.

Поднимает вверх голову и удивляется: это Анка зовёт его, перевесившись через перила лестницы. Только Анка — совсем другая. Его Анка — совсем не такая: она в лохмотьях, а эта — словно барышня, каких он часто на улицах да в церквях видел.

На Анке белое платье; чёрные волосы в косу заплетены, в косе — лента. Она — чистенькая и беленькая такая... А его Анка всегда чумазая и растрёпанная...

— Как же это так? Зачем же это Анка-то тут? — недоумевает Рыжий, не спуская глаз с барышни.

— Иди же, Петрунька! — опять раздаётся звонкий голос Анки.

— Я не смею! — бурчит Рыжий, понутив голову.

Анка быстро сбегает вниз по лестнице и, схватив его за грязную, мокрую руку, тащит с собой. «Бжз, джз, джз!!!» — булькает вода в башмаках Рыжего, и грязные следы тёмными пятнами остаются за ним на разостланных по лестнице дорогих коврах...



Вот он с Анкой входит в высокую, весёлую и большую комнату. По стенам — огни; пол — гладкий такой, блестящий... Его окружают толпы барчат — мальчиков, девочек. Целая стая собачонок суётся Рыжему под ноги: одни сердито ворчат, почуяв незнакомого, и хватают Рыжего за ноги, другие обнюхивают и приветливо виляют пушистыми хвостами; все собачата в ошейниках, все побрякивают привязанными к шее бубенчиками, колокольчиками, на спинах у них какие-то покрывала: красные, синие, чёрные... Рыжий теряет и робко переводит глаза то с барчат на собачат, то обратно...

Какой-то кудрявый мальчик берёт его за руку и начинает ему рассказывать про Фидельку и Бишку, как их кутятами ещё отняли у какого-то злого мужика, который нёс в кульке их, — утопить хотел...

А он с мамой гулял и увидел это; мама в полицию хотела его отправить: грех с животными так поступать, их тоже Боженька дал...

— Рыжий, давай играть с нами: догоняй нас! — кричат барчата, тормоза со всех сторон Петруньку.

— Не бойся, собачки не кусаются!

И он бежит с ними, ловит их, грубо хватая за что ни попало. И собачки бегают с ними, лают, визжат на разные голоса.

— Уф! Как устал, — как жарко! — шепчет прерывающимся голосом Рыжий, — дайте водицы испить!

Но воды ему не дают, говорят, — «простудишься», а суют всё разные булки, сайки, слойки, какие он часто видел в окнах булочных.

А есть Рыжему вовсе не хочется. Он сыт, так сыт, что и не глядел бы на эти булки. Ему хочется пить воды, холодной воды... Сердце так и колотится, в груди горит; кажется, все набранные 7 копеек отдал бы он за ковшик воды.

— Анка, дай же испить Христа ради!.. — едва может выговорить задыхающийся Рыжий.

Но Анка смеётся. Рыжий поднимает голову и видит не Анку, а злую Анкину мать. Все барчата с визгом и криком разбегаются в разные стороны. Рыжий начинает плакать.

— Вот ты где, Рыжий пёс! — кричит Анкина мамка и ударяет его клюкой в голову.

Рыжий вскрикивает от боли и... просыпается.

Выходивший из дома барин толкнул отворённой дверью Рыжего в голову, и он очнулся.

— Что ты тут делаешь? — сердито спросил барин Рыжего.

Рыжий растерялся, но скоро спохватился и начал плакать:

— Вот тут оброн-и-ил двухгри-и-и-венный у крыльца-а, домой боюсь идти, ма-а-мка побьё-ё-т!..

Барин пошарил в карманах и подал Рыжему две серебряные монеты:

— На, возьми, п-шёл!

Рыжий крепко сжал деньги в кулак и, словно боясь, как бы его не воротили назад и не отняли деньги, пустился бежать. У первого попавшегося фонаря Рыжий приостановился и, разжав кулак, увидел два пятиалтынных. Крепче прежнего сжал он их в своей окоченевшей руке и торопливо зашагал по направлению к своему подвалу.

Дождь лил как из ведра. Ветер выл так жалобно-жалобно, когда измученный и продрогший Рыжий шагал по пустынным улицам окраины города.

Но он не слышал унылого воя ветра, не замечал всё усиливающегося дождя. Теперь в его голове рисовался виденный им сон, в ушах раздавалась музыка, перед глазами вставали разряженные барчата и собачата, вспоминалась нарядная Анка; потом вдруг появилась злая Анкина мамка с клюкой, которая так больно ударила его, что и теперь ещё можно на затылке шишку ущупать...

«Как там весело у них, тепло... Только зачем же это Анка-то там?», — спрашивал себя мысленно Рыжий, спускаясь в своё под-земелье.

— Сколько набрал? — встретила его уже пьяная мамка.

Рыжий протянул вперёд и разжал свою руку. Но в ней ничего не было: он потерял деньги! Рыжий и сам ещё не верил, что в руке нет денег: он их так крепко держал, что и теперь словно они вот тут, в руке у него лежат... Приблизив к лицу свою руку, он начал было разглядывать. Но костлявая мамкина рука уже крепко впилась ему в волосы. И Рыжий снова очутился за дверью в тёмном углу, на грязном и холодном отрепье.

Рыжий не плакал. Он озлобился, и из ребяческих уст его одно за другим вылетали ругательства по адресу мамки:

— Ведьма, колдунья проклятая!.. Только и есть, что за волосы трепать, карга злая...

И долго в углу раздавались проклятия злой мамки долго сердце ребёнка выливалось злобу...

На колокольных часах пробило девять. Рыжий приутих. Много мыслей кружилось в мозгу, много вопросов вставало в его голове и, не находя ответа, больно отзывалось на сердце. Больше всего думал Рыжий о мамке — настоящей мамке — и о тятке. Ему рассказывала однажды Анка, подслушавшая разговор старух, что настоящая-то мамка бросила его в церкви, отдала подержать его теперешней мамке, да так и не взяла назад, ушла куда-то...

— Мамка, мамка! — шептали губы ребёнка, — зачем ты отдала меня этой злой старухе? Возьми меня от неё! Ты не стала бы меня бить, не гоняла бы в сени...

И ручонки ребёнка простирались вперёд и ловили тёмный призрак вставшей в его воображении мамки — и слёзы, одна за другой, скатывались с ресниц Рыжего.

— Где ты, мамка? Скажи мне — я уйду к тебе... Я и Анку возьму с собой, у неё тоже нет родной мамки! Отними нас, родная! — шептали губы Рыжего, и подступающие рыдания сдавливали ему горло...

Рыжий не слышал, как тихо-тихо скрипнула дверь и потом кто-то осторожно положил ему на плечо руку. Он опомнился только тогда, когда почувствовал на своей щеке тёплое прикосновение Анкиных губ.

— Петруня! Не плачь, милый... на вот хлебца!..

— Анка, это ты? — только и мог выговорить Рыжий, и подавляемые до сих пор рыдания хлынули целым потоком.

Голова его опустилась на Анкино плечо, и горячие слёзы зажгли ей щеку.



— Анка, убежим отсюда, далеко убежим! Найдём настоящую мамку!.. — всхлипывая, говорил Рыжий.

И Анка в ответ целовала его в грязную шею и гладила по мокрым волосам...

III

На другой день Рыжий не пошёл собирать Христа ради. Он лежал на полу в подвале и бредил.

Старухи ушли к обедне и оставили с ним Анку. Рыжий метался в жару и просил то и дело испить водицы. Изредка только к нему возвращалось сознание; тогда он тихо стонал и приподнимал свои красные глаза на Анку. Слабым, упавшим голосом Рыжий принимался рассказывать ей виденный сон. Но рассказ скоро обрывался, и губы Рыжего начинали шептать бессвязные отрывочные фразы.

— Анка, слышишь, в дудки играют? Пойдём туда... там весело! Не надо булки, дай мне водицы... Уф, как жарко!.. Устал я...

Тогда он не узнавал Анки и, широко раскрывая глаза, отмахивался от неё руками, начинал кричать и плакать:

— Мамка! Ей-богу потерял!

— Петруня! Это я, Анка, а не мамка; вот я тебя поцелую... — говорила готовая заплакать Анка.

И Рыжий опять приходил в себя, стонал, просил испить и уговаривал Анку убежать, когда он выздоровеет.

В подвале жалобно пел сверчок. Под полом пищали крысы. Анка сидела в ногах Рыжего и тихо плакала...

Выпал первый снег.

День был светлый, праздничный. Над городом стоял гул от сотни колоколов, оповещающих о времени наступления утренней молитвы. По улицам торопливо сновал рабочий люд, медленно тянулись разодетые барыни, важно выступали чиновные особы, взад и вперёд разъезжали извозчики.

Рыжий по-прежнему лежал в подвале.

Теперь он уже не приходил в сознание и вовсе не узнавал Анки. Напрасно она заботливо кутала его в своё тряпье и осведомлялась, не хочет ли он испить. Петрунька молчал и, не открывая глаз, сбрасывал с себя тряпье. Крупные капли пота не сходили с его лба, ручонки беспомощно лежали на груди и только изредка приподни-



мались, чтобы сбросить Анкину кофту, которой она его заботливо прикрывала. Рыжий не стонал, только часто-часто дышал и ворочал с боку на бок свою головёнку.

Мамки sprыскивали его с уголька, шептали над ним разные заклинания, но скоро отступились: ничего не помогает.

Рыжему становилось всё хуже и хуже. Поручив его попечение Анке, они, по обыкновению, уходили к ранней обедне, приходили домой пообедать, смотрели на Рыжего и иногда, распивши полбутылочки водки, слушали его бессмысленный бред и потешались, задавая ему разные вопросы, на которые он отвечал невпопад.

Сегодня мамки, по обыкновению, вышли на работу и оставили Рыжего с Анкой.

Раньше сердце Анки сжималось, когда Рыжий стонал или начал бредить. Теперь Анка успокоилась, думая, что Петруньке лучше, потому что он не стонал и не бредил. Анка не спала прошлую ночь, укутывая и подавая Петруньке воду. Сон клонил её голову, веки смыкались, сидеть становилось невмоготу. Прикрывши снова Петруньку сброшенной им кофтой и поцеловав его в горячую, как огонь, щёку, она прилегла в ногах у Рыжего и крепко заснула.

Когда Анка проснулась, Рыжего уже не было. Лежал только труп ребёнка-мученика, ещё тёплый, но уже безжизненный. Петрунькино лицо сложилось в улыбку, рот и глаза были полукоткрыты.

К обычному пению сверчка и писку крыс примешались рыдания Анки и заглушили их. Анка звала Петруньку, брала его захолодевшие уже руки и целовала в лобик.

Петрунька не откликался. Лицо его по-прежнему улыбалось Анке и словно говорило ей: «Убежим отсюда, Анка, дальше, дальше!»...

Возвратившиеся мамки оторвали Анку от трупа и послали её собирать на похороны.

Через два дня хромой капрал, приятель мамкин, свёз Рыжего на кладбище.

Никто не плакал о нём, кроме Анки, никто, кроме неё, не пожалел Рыжего...





КОЛЯ И КОЛЬКА

Однако мороз сердится не на шутку, разгуливая по снежному, пустынному полю. И небеса похожи на снежное поле. Куда ни погляди — везде бело: и внизу, и вверху, и впереди, и позади, и вправо, и влево... Всюду снег, снег, снег. Ветерок гуляет по полю, крутит снежной пылью и несётся по снежным целинам, как белый дымок...

Не было бы урагана!..

Жутко теперь ехать по полю одному... Зато как приятно делается вдруг, когда услышишь вдали заунывный колокольчик встречной тройки или нагонишь длинный-длинный скрипучий обоз, гуськом плетущийся по дороге. Как спокойно делается на душе, когда увидишь этот длинный обоз и рядом с ним мужиков в овчинных, туго опоясанных тулупах, с перевальцем шагающих возле своих побелевших от инея лошадок! Разноголосые бубенчики булькают и тенькают как-то удивительно мягко и красиво, словно рассказывают о чём-то грустном, милом сердцу... Мужики крепко похлопывают рукавицами, кряхтят, и время от времени раздаются их поощрительно-ласковые окрики:

— Ого-го-го!.. Родимая!

Как рад бываешь такой встрече и как хочется, чтобы этот обоз тянулся дольше-дольше, чтобы скрип саней-розвальней, бульканье разноголосых бубенчиков и ласковые «ого-го!» — не прекращались...

Не на шутку сердится мороз!..

Придорожные путеводители-вехи, там и сям торчащие вдоль дороги, он опустил снежными кристаллами; понурых лошадок принакрыл, словно шёлковой тканью, серебристой пылью, а на мордах, у глаз и губ, повесил ледяных сосулек; мужикам посеребрил бороды и сморозил им усы и бороды так, что трудно становится раскрыть



рот, чтобы засунуть туда трубку и подымить махоркой... Даже и на крестьянские сани набрасывается мороз; они то и дело пощёлкивают от холода и визжат по снегу...

Ух, как холодно! Хорошо бы теперь в тепло, к самоварчику!..

Вечереет. По снежной равнине трусит пара запряжённых гусем лошадок. Глухо дребезжат колокольчики, скрипят сани, обтянутые рогожей, фыркают лохматые лошадки... На облучке сидит ямщик лет тринадцати — Колька из села Ракова. На голове у него отцовская шапка необычайной величины, надвинутая до самых плеч. Эта шапка сползает на нос и закрывает Кольке глаза, и он то и дело поправляет её и бранится:

— На вот! Назола какая!

На руках у него большие рукавицы, а на ногах — громадные валяные сапоги, белые с горошком. Сидит он боком и держит в левой руке вожжи, а в правой кнут, длинный, похожий на змею...

А в санях, весь укутанный в шубы, одеяла и обложенный подушками, едет Коля, гимназист второго класса, возвращающийся на рождественские каникулы в родной помещичий дом, на хутор Отрадное.

Мороз беспокоит как Кольку, так и Колю... Колька раз двадцать ругнул уже его нехорошими словами, а он всё-таки не отстаёт и то щипнет Кольку за нос, то подует ледяным дыханием за валяный сапог, дёрнет за большой палец на руке или заберётся за шею и погладит по спине. На Колькины сапоги он надел снежные калоши, а выглядывающие из-под шапки волосы сделал седыми, как у старика...

Колю мороз беспокоит меньше. Однако и его не оставляет без внимания. Уж, кажется, что до Коли нет никакой возможности добраться — так нет тебе, отыщет где-нибудь скважину и начнёт в неё подувать...

— Колька!..

— Чаво ещё тебе?

— Подоткни мне сбоку... дует!..

— Тпру!..

Колька вскакивает с облучка, сдвигает с глаз шапку и идёт к саням. Сняв громадную рукавицу, Колька начинает подтыкать сбоку одеяла...

— Зяблый ты!.. Ладно, что ли?.. Промёрз?..



— Ну, поезжай!..

— Нос-то спрячь! Приедешь домой без носу... Вишь, какой он у тебя красный...

— Не твоё дело!.. Поезжай!..

Колька выбьет нос, наденет рукавицу, вскочит на облучок, хлопнет длинным кнутом и крикнет сиплым голосом:

— Н-но! Лихие!..

И опять дребезжат колокольчики и скрипят сани, а перед глазами Коли торчит Колька, очень похожий сзади на огородное тучело...

Коля боится шевельнуться: он чувствует, что, как только сделает это, — мороз отыщет себе сейчас же где-нибудь новую дырочку и начнёт опять надоедать и беспокоить. А Коле это будет очень неприятно. Теперь у него в голове всё такие весёлые, радостные мысли! Он думает о том, как лошади подъедут к воротам большого дома, как весь этот дом сразу засуетится, оживёт от Колина появления... В окнах замелькают детские головы, и маленькие руки застучат в стёкла; забегают по сеним, захлопают дверьми, на крыльцо выбежит Дуняша помогать ему вылезть из саней... Потом он увидит папу, милую мамочку, дядю Ваню и тётю Дуню, маленьких драчунов-братишек, Лёву и Борю, и черноглазую сестрёнку Сашурку!

Коля воображает, как все будут рады, довольны и счастливы!

— Как хорошо жить дома!.. Только ведь недолго жить-то: всего две недели. А потом опять — в город, в гимназию... Можно похврататься с недельку... только бы согласился папочка!..

Одно смутно беспокоит Колю: он везёт домой табель за вторую четверть, и там есть двойка из арифметики... Проклятая двойка!.. Если бы не эта двойка, Коля был бы совершенно счастлив!.. Как-нибудь обойдётся... Коля скажет, что он не виноват тут нисколько: у них очень строгий учитель по арифметике и не даёт хорошенько подумать, придирается...

И Коля сам начинает верить, что учитель напрасно поставил ему двойку. Потом двойка забывается; Коля начинает представлять, как будут рады подаркам, которые он везёт братишкам и сестрёнке на елку... Теперь уже наряжают ёлку... Какая нынче выйдет ёлка? Интересно!.. Мама писала, что купили граммофон!.. Господи, сколько интересного!..

А бестолковый Колька ничего не понимает. Коле кажется, что Колька ни о чём не думает, ничего не желает, что ему — всё равно... Выбьет нос, пощёлкает сапогом о сапог, похлопает рукавицами и гнусаво и хрипло закричит:

— Н-ну! Лихие...

А «лихие» еле тащатся и не обращают никакого внимания на маленького ямщика.

— Поезжай скорее! Вскачь! — сердито говорит Коля и тычет рукой Колькину спину.

Колька дёргает вожжами, хлопает в воздухе кнутом и опять ежится.

— Говорят тебе, скорей, — повторяет Коля.

— Поспеешь! Чай, не на пожар, — хладнокровно отвечает Колька. — Надо тоже и скотину пожалеть... Ты вот сидишь, а она тебя везёт... Вечор брёвна возили, сёдни тебя... Этак-то заморишь...

И Коля ничего не может возразить на доводы Кольки. Он только ещё больше сердится и на Кольку, и на лошадей. Коле кажется, что лошади чуть-чуть тащатся, ползут, как тараканы...

— Ну уж и лошади у тебя!.. У нас Савраска один перегонит твою пару...

— У вас — овёс жрёт, а у нас — сено... А овса-то дают только понюхать... — возражает Колька. — Ты вот тоже какой гладкий!.. Поди, всё сахар сосёшь?

Коля смеётся... Глупый Колька! Он думает, что вкуснее сахару ничего нет на свете!..

— Белу калабашку всё ешь...

Коля смеётся: губы смёрзлись, улыбка выходит какая-то странная...

— Ты читать умеешь? — спрашивает Коля.

— У-у!.. Читаю здорово!.. Мужики соберутся — всегда меня заставляют читать им...

— А писать?

— По-печатному умею... А тебе много ли годов учиться-то осталось?

— Семь лет в гимназии да пять в университете. Я буду доктором!

— У-у!.. Заучишься совсем!..

— А ты в городе был?..

— Не доводилось... Н-но! Лихие!..

Уже совершенно стемнело. Навстречу подувает резкий, режущий лицо ветер; твёрдые снежные крупинки бьют в щёки и колют их, как острые иголки.

У Коли уже течёт из носу и из глаз, начинают мёрзнуть и деревенеть ноги; он старается шевелить ими в валенках, отдёрнув ступни ног от подошв, — ничто не действует.



Колька спрыгнул с облучка, хлестнул коренного, потом гужевую и побежал рядом с санями. Лошади пошли под уклон вскачь; Колька быстро-быстро засеменял ногами, замахал в такт руками, стараясь не отставать. Но скоро всё-таки отстал, остался позади...

Коле это не нравится: он не любит, чтобы ямщики оставляли предназначенное для них место.

«Ах, да скоро ли Колька сядет на козлы!..»

Кольки нет... А мороз сердится всё сильнее. Гуляет он по чистому полю без пути, без дороги, носится злобным вихрем над снежными целинами: то поднимется снежной пылью высоко вверх, то опустится вниз и помчится по равнинам так, что только белый дым клубится у него под ногами...

Коле жутко. Того и гляди выскочит откуда-нибудь волк: загрызёт и лошадей, и Колю; а то какой-нибудь разбойник с ножом нападёт и убьёт его...

Коля озирается по сторонам и почти уверен, что где-нибудь близко непременно спрятался и караулит разбойник либо волк... Momentами Коле чудится, что у берёзы что-то шевелится. Коля закрывает глаза и думает: «Что будет, то и будет...»

— Н-но! Лихие!

Коля открывает глаза и видит, что Колька по-прежнему сидит на козлах.

«Слава Богу!» — мысленно произносит Коля и спрашивает:

— А ты не боишься?

— Чаво?

— Волк нападёт...

— Какие тут волки?.. Да коли он услышит колоколец, убежит, окаянный!..

— А может напасть разбойник?..

— Разбойник?! Какие тут разбойники!.. Тут всё хорошие люди проживают...

Небеса тёмные, облачные... Коля ничего не видит; впереди колышется тёмная спина Кольки, наверху, над глазами, торчит какой-то тёмный клин: должно быть, это кончик башлыка... Вот и всё, что может различить Колин глаз. Коле чудится, что он плывёт в каком-то тёмном пространстве: перед ним пропасть и всё — и сани, и Коля, и Колька, и лошади стремглав полетят вниз... Ух, страшно! Коля удивляется, как это Колька правит лошадьми. Как он ухитряется разглядывать в такую темноту дорогу, и как он может запомнить, что по этой именно дороге надо ехать в Отрадное? Вот молодец!

И недавняя пренебрежительность к Кольке смягчается; Коля мало-помалу начинает чувствовать к Кольке уважение — не уважение, а так, что-то в этом роде...

«Небось, с Колькой не заплутаешься, доведёт».

Впереди моргнул красноватый огонёк, другой, третий... Неужели это Отрадное?!

— Ямщик! Что это светит?.. — с замиранием сердца спрашивает Коля.

— Чаво?.. Известно, огонь! — не понимает бестолковый Колька.

— Я спрашиваю, какое село?..

— Не сяло... Оно это — Отрадное!..

Коля радостно вздрагивает; его сердце начинает беспокойно колотиться, и невольная улыбка шевелит ему застывшие губы... Коля смеётся сперва тихо, потом всё громче и громче... Теперь Коле уже не холодно, а жарко; он нетерпеливо ёрзает на месте, вытягивает шею и смотрит на подмигивающие огоньки. Один из этих огоньков непременно у них в доме... Коля смеётся громко-громко...

— Ты чаво?.. — обернувшись, спрашивает удивлённый Колька.

Коля смеётся ещё сильнее.

— Ничего, ничего! Поезжай скорей!..

— «Ничаво»-то у меня в кармане много... — серьёзно острит Колька и кричит тоже бодро и весело:

— Ух вы, лихие! Зажаривай!..

Вот и Отрадное. Знакомый овраг, мост... На мельнице огонек светит. А на горе — господский дом!.. Ворота распахнуты настежь, словно приготовлены для Колиной встречи. «Лихие» вбежали во двор, и как Коля рисовал себе картину своего приезда, так оно и вышло. По двору поднялась беготня: Гаврила, Михайла, Парашка бегают как угорелые и кричат что-то; они в одних рубахах, без шапок; у Гаврилы — фонарь в руке... Собаки визжат и лают от радости: и Полкан, и Шарик!.. На крыльцо выскочила Дуня со свечой в руках, но ветер задул свечку... А лошадки пофыркивают и побрякивают колокольчиками... В окнах дома бегают огонёк...

— Ну, вылазь!..

— Ой, ногу отсидел!..

Спустя минутку Коля — за круглым столом, на котором пытит громадный самовар, такой знакомый, родной, что обнять его хочется... Вокруг всё дорогие лица... Господи! Сколько радости, поцелуев, смеха, расспросов, новостей!.. Кажется, в целый год не перескажешь!



- Мамочка, я последнюю станцию с мальчишкой ехал!..
- Как с мальчишкой?.. А разве не с Никифором?
- С Колькой!..
- Да неужели?..
- Ей-богу!..

Папа рассердился на Никифора: как он смел отправить Колю с молокососом?..

— Где он?..

— На кухне, барин... Лошадям дал сена, а сам на кухне греется...

Отец пошёл в кухню, и за ним все ребятишки...

Колька разулся, распоясался и сидел за столом. Кухарка поила его чаем. Лицо у Кольки было красное, нос лупился, русые волосы лежали на большой голове на два ряда и были подстрижены в скобку... Как есть мужик!..

Отец спросил строго:

— Как же это тебя отпустили?.. Да много ли тебе лет?..

— Чай я не махонький! — ответил Колька, утирая нос указательным пальцем. — Я в Игумново езжу, а не то что досюда!..

— Мало ли что может случиться в дороге!.. Ты и с лошадьми-то не справишься...

— Я-то? — ухмыльнулся Колька. — На тройке могу, а не то что на паре!..

— Скажи, пожалуйста, какой молодец!..

Лёва, Боря и Сашурка смотрели на Кольку удивлёнными глазами и всё ближе и ближе подходили к нему, намереваясь заговорить...

— А у нас будет ёлка!.. — сказал наконец Боря.

— Уходите! Нечего вам тут делать! — сказал отец, и детишки нехотя пошли вон из кухни... Но как только отец ушёл в кабинет, Боря опять пробрался в кухню разговаривать с маленьким ямщиком.

— А у нас будет ёлка!.. — сказал Боря.

— Ну, пуцай будет!.. Скажи мамаше, чтобы прогоны прислала — рупь восемь гривен!..

Колька пил себе чай бесконечно... Он вспотел, ухал, смотрел в окошко и говорил:

— Эка непогодь! Придётся заночевать... Ты, чай, меня не прогонишь? — спросил Колька у кухарки.

— Колька у нас ночует! Колька ночует! — радостно щебетал детский голосок, и эта весть всполошила детские умы, как событие громадной важности...



— А ты где ляжешь? — спрашивал Лёва.

— На лавке...

— А на чём? — спрашивал Боря.

— На лавке, говорю!..

— А подушки у тебя нет? — осведомлялась Сашурка.

— А я валяны сапоги положу... Принесь-ка мне сахару, малец!
Я за твоё здоровье пососу... — попросил Кольку у Бори.

Боря где-то раздобыл сахару и принёс Кольке. А Лёва принёс грецкий орех, Сашурка — сломанную куклу.

В это время Коля возился уже с граммофоном, о котором много мечтал в городе и особенно дорогой. Наконец граммофон наладился и, шипя и постукивая, начал играть марш, петь песни и говорить...

— Коля, покажем Кольке...

— Мамочка, позволь привести Кольку.

— Зачем это?!

— Мы ему покажем граммофон!

Все ребята радостно захлопали в ладоши, когда мать скрепя сердце разрешила пустить Кольку в комнаты.

— Натопчет... Пусть снимет сапоги...

— У него валенки!.. Он снял их...

Коля пошёл за Колькой. Тот долго упирался и не шёл.

— Чаво я там не видал?! — говорил он, глядя исподлобья на гимназиста.

— А вот и не видал!.. Я тебе лешего покажу...

— Врёшь ты всё...

— А вот пойдём! Увидишь!

— Ну, айда! Пойдём, что ли...

Маленький ямщик пошёл следом за Колей. Когда дверь в столовую растворилась, Колька попятился назад: он увидел барыню...

— Ничего, ничего... Иди!

— Смотри: шкатулка с трубой, а в шкатулке сидит леший...

— Врёшь ты всё...

— Вру? Вру?.. — обиженно повторял Коля и, повозившись около граммофона, пустил его...

Колька вздрогнул и попятился: глухой, словно из шкатулки, голос запел вдруг прямо в ухо Кольке песню, и музыка заиграла...

— Фу ты, окаянная сила! — прошептал Колька, засматривая в трубу...



Все ребяташки засмеялись дружно и весело, а Колька стоял, разиня рот, и не отрывал удивлённого взора от ящика. На хохот ребят пришёл отец, потом — мать...

— Что такое?

— Колька, папа, боится...

— А вот и не боюсь... Машина это... Сказывали у нас про эту штуку-то!..

И Колька очистил нос с помощью пальцев.

Как только он это сделал, мама состроила гримасу, переглянулась с папой и сказала, тронув Кольку за плечи:

— Ну довольно! Иди, иди!..

— Мамочка, пусть побудет!.. Я ещё заведу граммофон.

— Он ничего не понимает... Всё равно ему...

Колька пошёл в кухню. На пороге столовой он обернулся и сказал:

— Барыня, а ты мне прогоны-то отдашь?..

— Конечно!..

— А ты теперь отдай, а то утресь чуть свет уеду, ты спать будешь...

— Иди, иди!.. Пришлю с кухаркой...

— А ты мне отдай: оно вернее... Чуть свет уеду. Отец наказывал не ночевать. И то ругаться будет...

В столовую вышел Боря.

— Прощай, барчук! — сказал Колька и протянул руку.

Боря протянул было свою, но раздумал и закинул за спину:

— С мужиками нельзя за руку... — сказал он, наклоня курчавую голову.

— А что же с ними, за ногу, что ли, надо? — тихо, с усмешкой спросил Колька.

— Ну будет тебе тут рассуждать! — строго сказала барыня. — Мужик — так мужик и есть! Невежа!.. Убирайся!!!

Колька, опустив голову, вышел из столовой.

— А, видно, барыня-то у вас злющая? — спросил он кухарку.

— А что?

— Зря ругается... Пёс с ней, мне бы только прогоны получить... Ты попроси прогоны-то у ней!..

Прогоны Колька получил, завязал их в тряпку, сунул в валяный сапог и успокоился. Растянувшись на лавке, он прикрылся тулупом и смотрел на кухарку, которая приготавливала господам ужин.

— Чаво поджариваешь?

— Зайца разогреваю...



— Они всё жрут... У нас барин голубей жрёт... Ей-богу!..

Когда господа поужинали, в комнатах заиграли на рояли. В кухню глухо доносились мягкие звуки вальса, и Колька слушал и удивлялся.

— Эк как зажаривают!.. Весело живут!.. Придёт время, и нам лучше будет!

— А кто знает! — сказала кухарка.

— Я тебе говорю!.. Помяни моё слово!

Долго звучала музыка, и под эту музыку Колька думал о господах, о господской жизни и о тяжёлой крестьянской доле. Кухарка погасила лампу...

— С ними и про лошадей-то забудешь... — неожиданно вымолвил Колька, заворочался, застучал по полу босыми ногами и забренчал вёдрами.

— Ты что там делаешь? — тревожно спросила кухарка.

— Лошадей надо попоить!..

— Вёдры-то эти у нас чисты!..

— Всё одно... Лошадь-то, чай, не заяц...

— Ну ладно, пусть пьёт себе... — зевнув, промолвила кухарка.

Колька надел валяные сапоги, вышел на двор, напоил лошадей, поговорил с ними, посмотрел на небо.



— Прояснят маленько... — промолвил он и похлопал лошадку по крупу.

Коля спал крепко в тёплой постели, когда Колька выезжал из ворот барского дома. Дом какой-то тёмный, сердитый; все ставни в его окнах были закрыты наглухо. Колька посмотрел на этот дом, вспомнил Колю, Борю, машину, и когда его воспоминания остановились на барыне, он крепко хлопнул кнутом, дёрнул вожжами и крикнул:

— Н-но! Лихие!..

И сани быстро покатались под горку и стушевались в сумерках. Только колокольчики долго ещё динькали в предрассветной тишине...





ПРО ОЛЮ И КОЛЮ

Для самых маленьких

Жили-были братец Коля
И сестрица его Оля.
Оля добрая была,
Братца Коленькой звала,

Когда с детками играла,
Никого не обижала,

Маму слушалась всегда,
Не шалила никогда.

Олю все очень любили,
Ей подарочки дарили,

Милой деткой называли,
Целовали и ласкали...

Ну, а Коля был шалун,
Озорник, драчун и лгун,

Сестру Олькой называл,
Постоянно обижал,

Отнимал у ней игрушки,
Грубил бабушке-старушке,

Сам обидит и ревёт,
К папе с жалобой идёт.



Врёт на бабушку и Олю,
Что они побили Колю.

В школе Коля забияка.
Там, где Коля, всегда драка,

Ссоры, крики, слёзы, вой...
Вот он Коленька какой!

Никто Колю не любил,
Потому что злой он был.

Оле куклу подарили.
Эта кукла говорила:

«Папа, мама!» — как живая!
Да красивая такая,

Как бывает только в сказке.
Закрывала даже глазки

И вертела головой...
Вот подарочек какой!

Оля рада, веселится.
Коля хмурится и злится:

Ему сделалось завидно
И досадно, и обидно.

Коля куколку схватил
И до тех пор колотил,

Пока кукла не сломалась.
Боже мой! Что с Олей случилось!

Плачет день и плачет ночь,
Кричит: «Дайте мою дочь!»

Когда куклу увидала,
Она с горя захворала...

Папа страшно рассердился,
Позвал Колю, а он скрылся.

Он на крышу сперва влез,
А потом умчался в лес.

Шёл и шёл он понемногу,
Потерял домой дорогу.

Солнце село. Ночь настала.
В лесу темно, страшно стало.

Коля стал кричать: «Спасите!
Съедят волки! Помогите!»

Но никто не отвечал,
Только лес шумел, ворчал.

Присел Коля на пенёк,
Вдруг заметил огонёк.

Подошёл, глядит: избушка,
У ворот стоит старушка:

Глаз — один, а нос крючком.
Изо рта же зуб торчком,

С костяной она ногой,
А зовут Бабой-ягой.

Она мальчика поймала,
Ногой стукнула, сказала:

«Ну-ка, миленький дружок,
Полезай сюда, в мешок.

Я давно детей не ела
И давно поесть хотела.

Ну, теперь ты, братец, мой!»
Принесла его домой.



Заперла его в чулан.
«Спи покуда, мальчуган!

Затоплю я завтра печь,
Чтоб тебя варить и печь...»

Перестала говорить,
Стала нож большой точить...

В уголок Коля забился,
Там он плакал и молился,

И просил, чтоб добрый Бог
Убежать ему помог,

Обещал хорошим быть,
Никого больше не бить,

Никогда больше не лгать
И сестру не обижать,

Старших слушаться всегда
И не бегать никуда...

Пожалел мальчишку Бог
И спастись ему помог.

Услыхал: мяучит кошка,
Посмотрел наверх — окошко!

В него вылезти легко,
Только больно высоко.

Ба! — да тут и стулик есть!
На него можно залезть.

И потом спрыгнуть в окошко,
Как спрыгнула сейчас кошка.

ПРО ОЛЮ И КОЛЮ

Так и сделал мальчик Коля,
Чтобы выбраться на волю.

Сбежал Коля снова в лес
И в лесу этом исчез...

Что есть мочи он бежал
И вдруг папу увидал:

На коне папа лихом
Искал Коленьку верхом.

К себе Колю посадил,
Лошадь кнутиком побил.

И помчались стрелой
Папа с Коленькой домой.

Дома все так рады были,
Что всё Коленьке простили.

А сам Коля добрым стал,
Озорничать перестал.

Не дерётся и не врёт,
В дружбе с детками живёт

И не вздорит больше с Олей.
Все довольны стали Колей.

«Славный мальчик!» — говорят
И подарочки дарят.



Содержание

Евгений Чириков – поэт страны детства	5
I. Сказочное путешествие	9
В царстве сказок	11
Мильда и Зойла	59
Лесные тайны	69
Зимняя сказка	119
II. Сказки о животных	125
Белая роза	127
Храбрый воробей	137
Моя жизнь	141
Хаврюша	181
III. Детские радости	203
Ранние всходы	205
Ссора	249
Соседка	253
Маленький грешник	265
Волшебник	275
Дуняшка	287
IV. Детские слезы	307
На пороге жизни	309
Единица	333
Предатель	339
Лошадка	349
Рыжий	363
Коля и Колька	377
Про Олю и Колю	393

Аудиорассказы и аудиосказки.

Читает Михаил Чириков



Про Олю и Колю



Белая роза



Ранние всходы



Коля и Колька



В царстве сказок



Дуняшка

Литературно-художественное издание

6+

Евгений Николаевич ЧИРИКОВ
ДЕТСКИЕ РАДОСТИ И ГОРЕСТИ

Художники-иллюстраторы:

*Я. Чахрова, В. Ткаченко,
С. Чагрова, А. Третьяков*

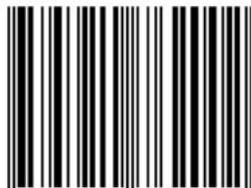
Дизайн — *С. Зеленина*

Вёрстка — *Л. Черных*

Корректурa — *И. Плотникова,*

М. Михайлова, А. Назарова

ISBN 978-5-91076-200-2



9 785910 762002

Издательство «Маматов»
190068, г. Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., 55а,
www.mamatov.ru

Подписано в печать 05.06.2019. Формат 70x100/16
Печать офсетная. Тираж 100 экз.